



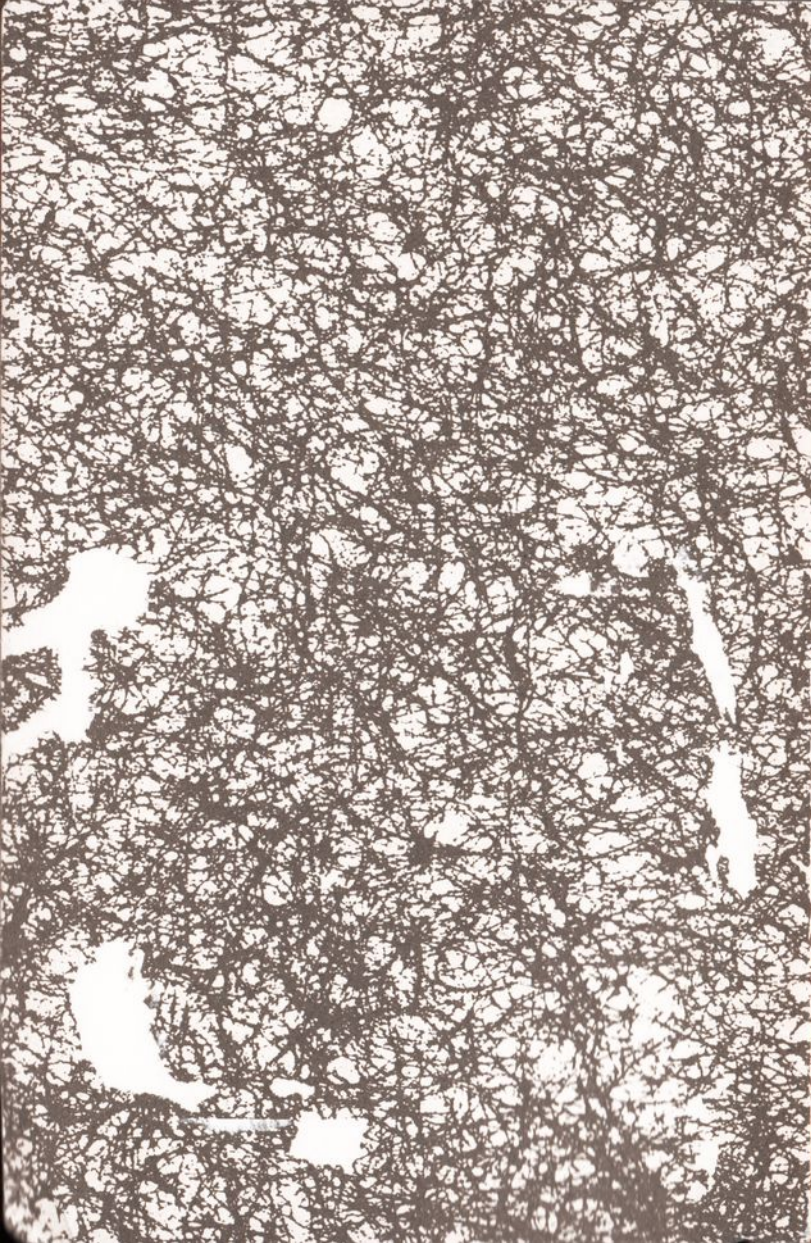
СЕРИЯ "КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА"

ФАНТАСТИКА

Станислав
ЛЕМ

**ВОЗВРАЩЕНИЕ
СО ЗВЕЗД**

ISBN
5-7312-
0002-5



Stanisław Lem

«Powrót z gwiazd», 1961

Станислав Лем

ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД

Фантастический роман

*Перевод с польского Г.А. Гудимовой,
В.М. Перельман*

**ДО «Глаголь»
1991**

**Производственно-издательская группа
"Белый отряд"**

**Объединенная редакция
серии "Карманная библиотека"**

**Ответственный редактор Илья Бродский
Художественное оформление серии Сергея Резникова
Иллюстрации Александра Шахгелдяна**

**Книга изготовлена с участием МП "КСАНТИППА",
При техническом содействии
МП "ИН-ФОЛИО"**

ISBN 5—7312—0002—5

**© by Stanisław Lem
«Powrót z gwiazd», 1961
с разрешения ЦСП «Восхождение»
© Издательство ДО «Глаголь», 1991
© С. Резников, обложка и оформление
© А. Шахгелдян, иллюстрации**

ЛЕМ О СЕБЕ

Научная фантастика была для меня не убежищем, не укрытием, но, напротив, областью моделирования явлений, которые я считал реальными, не дословно, но в их существе.

Можно было бы сказать, что я начал писать коммунистические утопии, такие, как "Астронавты", потому что так тогда было велено. Нет — просто, выходя из страшной, смертоносной зоны войны, я жил и хотел видеть мир лучшим и надеяться, что он будет лучше.

/.../ Кроме того, я верил в могущество науки и полагал, что она сумеет найти противоядие против всякой болезни. Оказалось, что множеством явлений мы не в состоянии овладеть, а множеством других не овладеем потому, что это побочные результаты нашей сознательной деятельности.

Mowi Lem. — Fantastyka, 1991, № 1.

Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнет изменять нас самих.

O sobie. — Polska, 1964, № 12.

*Впервые в России публикуется
в полном объеме*

I

У меня не было никаких вещей, даже плаща. Сказали — не нужно. Разрешили взять с собой только черный свитер. А рубашку я отвоевал. Заявил, что буду отвыкать постепенно. Мы стояли под фюзеляжем корабля, на самом проходе, всё нас задевали, Абс подал мне руку с заговорщической усмешкой:

— Только осторожно...

Я помнил об этом и легко пожал ему руку. Я был совершенно спокоен. Он подыскивал, что еще сказать. Я решил его не затруднять, отвернулся, как ни в чем не бывало, и поднялся по ступенькам внутрь. Стюардесса провела меня между рядами кресел в переднюю часть. Отдельного купе я не захотел. Интересно, предупреждена ли она. Кресло раздвинулось бесшумно. Она поправила спинку, улыбнулась мне и ушла. Я сел. Подушки, как и всюду, мягкие, словно пух. Спинки такие высокие, что остальных пассажиров едва видно. К разноцветью женских нарядов я уже привык. Но в мужчинах все еще подзревал ряженых и втайне надеялся увидеть на ком-нибудь нормальную одежду.

Жалкие надежды. Рассаживались быстро, багажа ни у кого не было. Ни портфелей, ни свертков. И у женщин тоже. Вроде бы их было больше. Передо мной — две мулатки в попугаевых шкурках, топорщивших перышки, такая уж, видно, была птичья мода. Дальше — какая-то супружеская пара с ребенком. После ярких селенофоров на перронах и в тоннелях, после невыносимо кричащей, самосветящейся растительности на улицах, свет сводчатого потолка казался тусклым. Не зная, куда деть руки, я положил их на колени. Все уже сидели. Восемь рядов серых кресел, дуновение пихтового аромата, тишина умолкающих разговоров. Я ждал предупреждения о старте, каких-нибудь сигналов, приказа пристегнуть ремни, но ничего не последовало. По матовому потолку побежали назад нечеткие тени, похожие на бумажных голубей. «Что за голуби, черт побери? — подумал я беспомощно. — Может, это что-нибудь значит?» Стараясь не допустить никакого промаха, я прямо одервенел от напряжения. И так — целых четыре дня.

С первой минуты. Я все время отставал от происходящего, и непрерывные попытки понять случайный разговор или ситуацию приводили меня в отчаяние. Я был убежден, что и остальные испытывают те же чувства, но мы не говорили об этом даже наедине. Просто подшучивали над своей силищей, нам и взаправду приходилось следить за собой — поначалу, собираясь встать, я подсказывал к потолку, а любая вещь, которую я брал в руки, производила впечатление сделанной из папье-маше. Но контролировать собственное тело я научился быстро. Здороваясь, осторожно пожимал руку. Это было делом простым. К сожалению, не самым важным.

Мой сосед слева, упитанный, загорелый, с чересчур блестящими глазами (может быть, из-за контактных линз) вдруг исчез: бока его кресла разрослись, поднялись вверх и сомкнулись, образовав нечто вроде яйцевидного кокона. Еще несколько человек пропало из виду в таких кабинах, напоминавших вспухшие саркофаги. Что они там в них делали? Но с непривычным я сталкивался на каждом шагу и старался не обращать внимания, если это меня не касалось. Те, кто разглядывал нас, как диковинку, были мне безразличны, хотя я сразу понял: они и не думали нами восхищаться. Антипатию вызывали скорее те, кто о нас заботился, — сотрудники Адапта. Пожалуй, самую острую — доктор Абс, ибо он относился ко мне, как врач к сумасшедшему, притворяясь (и довольно удачно), будто имеет дело с человеком вполне нормальным. Когда притворяться он уже не мог, то острил. Я был сыт по горло его непосредственностью и добродушием. Спросите любого прохожего (так по крайней мере считал я), и он скажет, что мы с Олафом — такие же, как он, необычны не мы, а выпавшая нам участь. Но доктор Абс, как и всякий сотрудник Адапта, осведомлен лучше, он знает — мы действительно другие. Это совсем не заслуга, а скорей помеха: ни с кем не поговоришь, никого не поймешь, да что там — даже дверь толком не откроешь, раз дверные ручки перестали существовать не то пятьдесят, не то шестьдесят лет назад.

Старт произошел неожиданно. Сила тяжести не изменилась ни на йоту, в герметически закрытое помещение не проник ни один звук, по потолку равномерно плы-

ли тени — может быть, многолетний навык, старый инстинкт подсказали мне не предположительно, а со всей уверенностью, что мы уже летим.

Но меня занимало другое. Я покоился полулежа, вытянув ноги, без движения. Мне слишком легко дали настоять на своем. Даже Освамм не слишком противился моему решению. Контраргументы, которые я услышал от него и Абса, были неубедительны — сам я придумал бы получше. Они настаивали лишь на одном: каждый из них должен лететь отдельно. Даже то, что я подбил Олафа (если бы не я, Олаф, несомненно, согласился бы остаться еще), не настроило их против меня. Это вызывало недоумение. Я ожидал осложнений, которые в последнюю минуту сорвут мои планы, но ничего не случилось, и вот я летел. Это последнее путешествие должно было завершиться через пятнадцать минут.

Совершенно ясно, что придуманный мною предлог для досрочного отъезда не застал их врасплох. Реакция подобного типа, вероятно, внесена в их каталог, это стереотип поведения таких молодцов, как я, он содержится в их психотехнических таблицах под соответствующим порядковым номером. Мне позволили лететь — почему? Потому что опыт подсказывал им: я не справлюсь? Но вся моя «самостоятельность» заключалась в том, чтобы перелетать с одного вокзала на другой, где меня должен был ждать кто-то из земного Адапта, а весь мой подвиг — найти этого человека в условленном месте!

Что-то случилось. До меня донеслись громкие голоса. Я высунулся из кресла. За несколько рядов от меня какая-то женщина оттолкнула стюардессу, и та, медленно, автоматически двигаясь, словно от этого — не такого уж сильного — толчка, отходила задом наперед между креслами, а женщина повторила: «Не позволю! Пусть это до меня не дотрагивается!» Лица кричавшей я не видел. Ее спутник тянул ее за руку, что-то объяснял, уговаривая. Что означала эта сцена? Остальные пассажиры не обратили на нее внимания. Мною снова овладело чувство невероятной отчужденности. Я взглянул на стюардессу, которая остановилась возле меня, улыбаясь, как прежде. Это не была просто любезная улыбка, скрывающая нервозность, вызванную инцидентом. Стюардесса не при-

творялась спокойной, она действительно была спокойна.

— Хотите чего-нибудь выпить? Есть прум, экстран, морр, сидр.

Голос мелодичный. Я отрицательно покачал головой. Хотелось сказать ей что-то приятное, но я сумел только задать банальный вопрос:

— Когда прибудем?

— Через шесть минут. Хотите покушать? Не торопитесь. Можно задержаться после посадки.

— Спасибо, не хочется.

Она ушла. В воздухе, прямо перед моим лицом, на фоне спинки расположенного впереди кресла, вспыхнула будто начертанная искоркой тлеющей папирсы надпись СТРАТО. Я наклонился посмотреть, как возникла эта надпись, и вздрогнул. Кресло потянулось за моей спиной и мягко обняло ее. Я знал, что мебель откликается на каждую перемену положения, но все время забывал об этом. Не очень-то приятно — словно кто-то следит за каждым моим движением. Я хотел принять прежнее положение, но, видно, перестарался. Кресло меня не поняло и раскрылось почти как раскладушка. Я вскочил. Что за идиотизм! Надо держать себя в руках. В конце концов я сел. Буквы розового СТРАТО задрожали и перетекли в другие: ТЕРМИНАЛ. Никакого толчка, предупреждения, свиста. Ничего. Раздался далекий звук, напоминавший рожок почтальона, четыре овальных люка в конце проходов между сиденьями раскрылись, снаружи ворвался глухой, всеобъемлющий шум, похожий на морской. Голоса встававших со своих мест пассажиров утонули в нем. Я продолжал сидеть, а пассажиры выходили, их фигуры мелькали вереницей на фоне горевших снаружи огней, отливая зеленым, лиловым, пурпурным — бал-маскарад, да и только. Но вот все выпли. Я встал. Машинально поправил свитер. Как-то глупо — вот так с пустыми руками. Из открытого люка тянуло холодком. Я обернулся. Стюардесса стояла у переборки, не касаясь ее спиной. На ее лице блуждала все та же спокойная улыбка, обращенная к рядам пустых кресел, которые теперь начали медленно сворачиваться, складываться, словно чудовищные цветы, одни быстрее, дру-

гие чуть медленнее — единственное движение в заполняющем все, льющемся в овальные отверстия, непрерывном шуме, напоминающем об открытом море. «Не хочу, чтобы это до меня дотрагивалось!» Я вдруг разглядел в ее улыбке что-то неестественное. У выхода я сказал:

— До свиданья...

— К вашим услугам.

Я не сразу осознал, как странно прозвучали эти слова из уст молодой миловидной женщины, потому что они донеслись до меня, когда, уже отвернувшись от нее, я выглянул из люка. Я собирался поставить ногу на ступень, но ее не было. Между металлическим корпусом и краем перрона зияла метровая щель. Теряя равновесие от неожиданности при виде такой ловушки, я неуклюже прыгнул и, уже в воздухе, почувствовал, как невидимая сила словно подхватила меня снизу и, плавно пронеся над пустотой, мягко поставила на упругую белую поверхность. Вероятно, у меня был довольно глупый вид — я перехватил несколько смеющихся взглядов, так мне, по крайней мере, показалось, круто повернулся и пошел вдоль перрона. Снаряд, которым я прибыл, покоился в глубокой выемке, отделенный от края перронов ничем не огороженной пустотой. Как бы нечаянно я приблизился к ней и вновь ощутил невидимую упругость, которая не дала мне шагнуть за белый предел. Мне хотелось найти источник этой необычной силы, но вдруг я будто очнулся: я — на Земле.

Волна идущих захлестнула меня: меня толкали, зажатый в толпе, я двинулся вперед. Прошло некоторое время, прежде чем я заметил, как огромен этот зал. Впрочем, был ли это один зал? Никаких стен: белый, поблескивающий, остановленный в высоте взрыв невероятных крыльев, между ними колонны, построенные не из какого-либо материала, а из головокружительного движения. Гигантские фонтаны, просвечиваемые изнутри цветными прожекторами? Нет. Стекланные, вертикальные тоннели, по которым мелькали вверх вереницы расплывчатых теней? Я уже ничего не понимал. Меня совсем затолкали в торопливом муравейнике толпы, я пытался найти укромный уголок, но таких здесь не было. Я видел, что опустевший снаряд снаряд отдаляется, — нет,

это мы плыли вперед вместе со всем перроном. В высоте вспыхивали огни, в их свете толпа искрилась и переливалась. Теперь плоскость, на которой мы столпились, начала подниматься, и я увидел уже далеко внизу двойные белые полосы, заполненные людьми, с зияющими чернотой щелями вдоль обессилевших туш — ибо кораблей, подобных нашему, были десятки — движущийся перрон поворачивал, ускоряя свой бег, взбирался на верхние ярусы. Хлопая на ветру, взлохмачивая поднятым вихрем волосы стоявших, по ним, как по невероятным — без всякой опоры — виадукам, пролетели обтекаемые, вибрирующие от высокой скорости механизмы, с расплывающимися в яркие полосы сигнальными огнями; потом несшая нас поверхность стала делиться, расходиться по невидимым швам, моя полоса двигалась сквозь помещения, полные стоявших и сидевших людей, вокруг них вспыхивали мириады искр, словно люди пускали цветные бенгальские огни.

Я не знал, куда смотреть. Передо мной стоял мужчина в чем-то пушистом, как мех, а на свету мерцавшем, как металл. Под руку он держал женщину в багрянице с узором «павлиний глаз», эти «глаза» мигали. То был не обман зрения, «глаза» на ее одежде действительно открывались и закрывались. Тротуар, на котором я стоял за этой парой, среди десятка других людей, еще прибавил скорость. Между бело-дымчатыми стекловидными плоскостями открывались цветные, освещенные проходы с прозрачными сводами, по которым неумолимо шагали сотни ног на следующем, верхнем ярусе; всеобъемлющий шум то разливался, то входил в берега, когда тысячи голосов и звуков, для меня непонятных, а для них что-то означавших, подавлял очередной тоннель этого неизвестно куда направленного путешествия. В глубине, на дальнем плане, пространство пронзали беспрестанно проносившиеся полосы неизвестных мне средств сообщения — может быть, летающих, ибо иногда они двигались наискось вверх или вниз, ввинчиваясь штопором ввысь, так что я невольно ожидал чудовищного столкновения, не видя никаких направляющих или рельсов, на этой, как я полагал, дороге. Когда смутные, разогнавшиеся вихри прерывались хоть на миг, становились вид-

ны величественно скользившие огромные платформы, полные людей, что-то вроде летучих пристаней, направленные в разные стороны, минующие друг друга, поднимающиеся и, казалось, проникающие одна в другую (такова была иллюзия перспективы). Трудно было задержать взгляд на чем-нибудь неподвижном, ибо вся окружающая архитектура, казалось, слагалась именно из движения, изменения, и даже то, что я принял за крыловидный свод, было лишь висячими этажами, теперь уступившими место иным, еще более высоким. Вдруг тяжелый пурпурный отблеск, профильтрованный сквозь стекловидный материал сводов и загадочных колонн, отраженный от серебряных плоскостей, озарил все закоулки и проходы, мимо которых мы скользили, все человеческие лица. Казалось, где-то далеко, в самом сердце многомильного сооружения, запылал атомный костер. Зелень беспрерывно скачущих неоновых огней потускнела, млечность параболических контрфорсов начала розоветь. Воздух порыжел столь внезапно, что я воспринял это как предвестие катастрофы, но никто не обратил на такую перемену ни малейшего внимания. Не помню, когда все это кончилось.

Когда у краев нашего тротуара появлялись вращающиеся зеленые крути, похожие на висящие в воздухе неоновые обручи, тогда часть людей сходила на придвинувшееся ответвление другого тротуара или пандуса; я заметил, что светящиеся зеленые линии можно было пересекать беспрепятственно — они были неосязаемы.

Какое-то время я безвольно давал белому тротуару уносить себя, пока мне не пришло в голову, что, возможно, я уже за пределами вокзала, а невероятный пейзаж стекловидных изгибов, все время словно рвущийся в полет, и есть город, а тот, который я покинул, существует теперь лишь в моей памяти.

— Простите, — тронул я за руку мужчину в пушистой одежде, — где мы находимся?

И он, и его спутница посмотрели на меня с изумлением. У меня была слабая надежда, что только из-за моего роста.

— На полидуке, — сказал мужчина. — Какой у вас контакт?

Я ничего не понял.

— Мы... еще на вокзале?

— Конечно, — ответил он, чуть помедлив.

— А... где Внутренний Круг?

— Вы его уже проехали. Вам придется продублировать.

— Удобнее будет раст из Мерида, — вставила женщина. Все глаза на ее одеянии, казалось, вглядывались в меня изумленно и недоверчиво.

— Раст?... — беспомощно переспросил я.

— Вон там, — показала она видневшееся сквозь подплывающий зеленый круг пустое возвышение с черно-серебристыми, полосатыми боками — точь-в-точь остов странно раскрашенного, лежащего на боку судна. Я поблагодарил и сошел с тротуара, но, видимо, не совсем удачно, и у меня подкосились ноги. Равновесие я удержал, но меня закружило так, что я не знал, в какую сторону идти. Пока я размышлял, что делать, место моей пересадки значительно удалилось от этого черно-серебристого возвышения, которое показала мне женщина, и я уже не мог его найти. Поскольку большинство стоящих возле меня переходило на наклонную плоскость, скользившую вверх, я сделал то же самое. Уже на этой плоскости я заметил огромную, неподвижно горящую в воздухе надпись ДУК ЦЕНТР — остальные буквы с обеих сторон не попадали в поле зрения из-за своей необъятной величины. Меня бесшумно внесло на перрон длиной с километр, от которого как раз оторвался веретенообразный корабль — при подъеме стало видно его продырявленное сигнальными огнями днище. А может, именно эта китообразная туша и была перроном, а я очутился на «расте» — некого было даже спросить, вокруг пустота. Наверное я не туда попал. Часть моего «перрона» была застроена сплюснутыми помещениями без передних стен. Приблизившись, я заметил что-то вроде слабо освещенных, низких боксов, в которых рядами покоились черные машины. Я принял их за автомобили. Но когда две ближайшие выскользнули и прежде, чем я успел попятиться, промчались мимо меня, сразу взяв большую скорость, я увидел, раньше чем они скрылись в перспективе параболических откосов, что у них нет ни колес, ни

окошек, ни дверцы; их обтекаемая форма делала их похожими на огромные черные капли. «Автомобили — не автомобили, — подумал я, — но во всяком случае здесь, пожалуй, какая-то стоянка. Может, тех самых «рас-тов»?» Я счел, что лучше всего подождать, пока кто-нибудь придет, и поехать с ним, или по крайней мере хоть что-нибудь узнать. Однако мой перрон, легко паривший в воздухе, словно крыло немислимого самолета, по-прежнему был пуст, лишь черные машины выскальзывали поодиночке или сразу по нескольку из своих металлических нор и мчались, всегда в одну и ту же сторону. Я направился к самому краю перрона, но тут вновь напомнила о себе невидимая, упругая сила, обеспечившая безопасность. Перрон действительно висел в воздухе, ни на что не опираясь. Подняв голову, я увидел много ему подобных, так же, как он, паривших в воздухе неподвижно, с погашенными прожекторами; на других прожекторы горели, туда причаливали корабли. Однако это были не ракеты и даже не такие снаряды, как тот, который привез меня с Луны.

Я стоял долго и вдруг заметил на фоне каких-то следующих залов — я не знал, впрочем, зеркальное ли это отражение моего зала или настоящего помещения — размеренно движущиеся в воздухе огненные буквы: СОАМО, СОАМО, СОАМО, перерыв, голубая вспышка и НЕОНАКС, НЕОНАКС, НЕОНАКС, возможно, названия станций, а может, реклама продуктов. Эти слова мне ничего не говорили.

Давно пора уже отыскать этого типа, подумал я, повернулся крутом и, найдя движущийся в обратном направлении тротуар, спустился на нем вниз. Оказалось, что это не тот ярус и даже не тот зал, из которого я поднялся: здесь не было тех огромных колонн. А может, колонны сами убрались куда-нибудь...

Я очутился среди целого леса фонтанов; дальше я наткнулся на бело-розовый зал, в нем было полным-полно женщин. Проходя, я безо всякой цели протянул руку к подсвеченной струе фонтана, может быть, потому, что приятно было найти нечто хоть чуть-чуть знакомое. Однако я ничего не почувствовал, воды в фонтане не было. В следующий миг мне почудился цветочный запах. Я под-

нес руку к носу. Она благоухала, как целый склад туалетного мыла. Я невольно стал обтирать ее о брюки. Тут я и очутился перед залом, где находились только одни женщины. На холл перед туалетами не похоже, но ручаться в конце концов нельзя. Предпочитая не пускаться в расспросы, я повернул назад. Молодой человек в отливавшем ртутью одеянии с буфами на плечах разговаривал со светловолосой девушкой, прислонившейся к чаше фонтана. Девушка, в светлом платице, совсем обыкновенном, что придавало мне бодрости, держала букет бледно-розовых цветов и, пряча в них лицо, глазами улыбалась собеседнику. В последний момент, когда я уже остановился возле них и открыл рот, я увидел, что она ест цветы, — и у меня язык прилип к гортани. Она спокойно жевала нежные лепестки. Подняла на меня глаза. И уже не могла их отвести. Но к таким вещам я уже привык. Я спросил, где Внутренний Круг.

Парень, как мне показалось, был неприятно удивлен или даже рассержен, что кто-то посмел помешать этому тет-а-тет. Видимо, я поступил бестактно. Сначала он посмотрел вверх, потом опустил глаза, словно ожидал увидеть какие-то ходули, благодаря которым я был такой высокий. И даже не отозвался.

— Вон там, — воскликнула девушка, — раст до ВК, ваш раст, вы успеете, скорей!

Я бросился бежать в указанную сторону, не зная, куда бегу, — я ведь по-прежнему не имел понятия, как выглядит этот раст, будь он неладен. Пробежав шагов десять, я увидел серебристую воронку, опускавшуюся с высоты, служившей основанием одной из огромных колонн, так удививших меня перед этим, — может, это были летающие колонны? — люди спешили туда с разных сторон, неожиданно я с кем-то столкнулся. Я даже не покачнулся и только остановился, как вкопанный, а тот, низкорослый человечек в оранжевом одеянии, упал и с ним произошло нечто невероятное: его меха увяли на глазах, сморщились, как проколотый воздушный шар! Остолбенеv, я даже не смог пробормотать извинения. Он встал, посмотрел на меня исподлобья, и ушел размашистыми шагами, возясь с чем-то на груди, — а его одеяние расцвело снова...

На месте, указанном девушкой, уже никого не было. После этого приключения я окончательно отказался разыскивать расты, Внутренний Круг, дуки, контакты и решил выбраться из здания вокзала. Мне уже не хотелось расспрашивать прохожих, поэтому я поехал наугад, как показывала голубая стрела, — наискосок и вверх, без особых ощущений проникнув сквозь две поочередные, светившиеся в воздухе надписи: МЕСТНЫЕ СОБЩЕНИЯ. Я попал на довольно многолюдный эскалатор. Следующий ярус был выдержан в тонах потускневшей бронзы, испещренной золотистыми прожилками. Плавные переходы перекрытий в вогнутые стены. Коридоры без потолков, словно погруженные в светящийся пух. Я как будто приближался к каким-то жилым пространствам, напоминавшим гигантские гостиничные холлы: оконца, никелевые трубы вдоль стен, ниши с какими-то служащими, может, это были разменные конторы, а может, почта; я шел дальше. Я был уже почти уверен, что таким путем к выходу не попаду и что нахожусь (я оценил это по длительности езды вверх) в воздушной части вокзала, но придерживался того же направления. Неожиданная пустота, малиновые, с искрящимися звездочками, плиты облицовки, ряд дверей. Ближайшая дверь была приоткрыта. Я заглянул внутрь. Какой-то большой, плечистый человек в тот же миг сделал то же самое навстречу мне. Я сам в зеркале во всю стену. Я открыл дверь пошире. Фарфор, серебряные трубы, никель. Туалеты.

Мне стало немножко смешно, но, в общем-то, я уже плохо соображал. Я быстро повернул назад — другой коридор, белые как молоко полосы, плывущие вниз. Поручни эскалатора были мягкие, теплые, я не считал уходящих этажей, людей становилось все больше, они задерживались у эмалированных ящиков, на каждом шагу выступавших из стены, одно прикосновение пальца, что-то падало в руку, они клали это в карман и шли дальше. Сам не знаю, почему я поступил точно так же, как человек в свободном фиолетовом одеянии впереди меня; клавиша с маленьким углублением для кончика пальца, нажим, прямо на мою подставленную ладонь упала цветная, полупрозрачная трубочка, словно бы по-

догретая. Я потряс ее, поднес к глазам — может, таблетки? Нет. Пробка? Пробки не было, не было и никакой крышки. Для чего это? Что делали другие? Клали в карман. Надпись на автомате: ЛАРГАН. Я стоял, меня толкали. И вдруг я сам себе показался обезьяной, которой дали вечное перо или зажигалку, на долю секунды меня охватило слепое бешенство; я стиснул зубы, сощурился и, чуть сутулясь, включился в поток идущих. Коридор расширился, был уже залом. Огненные буквы: РЕАЛЬ АММО РЕАЛЬ АММО.

Сквозь реку спешивших, над их головами, я издали заметил окно. Первое окно. Панорамическое, огромное.

Словно все звездные ночные небосводды брошены на плоскость. До разгоревшейся мглы на горизонте — разноцветные галактики площадей, созвездия спиральных огней, зарева, мерцающие над небоскребами, улицы: ползанье, перистальтическое движение огоньков-бусинок, а надо всем этим, вертикально, кипение неона, султаны и молнии колеса, самолеты, бутылки из огня, красные одуванчики сигнальных фонарей на шпильях, вспыхивающие на секунду солнечные диски и автоматически взрывающиеся кровотоечения реклам. Я стоял и смотрел, слыша за своей спиной равномерное шуршание сотен подошв. Вдруг город исчез и появилось гигантское, трехметровое лицо.

— Мы передавали подборку хроники семидесятых годов из цикла «Видения старых столиц». Сейчас трансформатор переключается на учебный центр космолитов...

Я чуть не бросился бежать. Это вовсе не окно. Телевизор какой-то. Прибавив шаг, я почувствовал, что меня даже в пот бросило.

Вниз. Скорее. Золотые квадраты светильников. Внутри толпы, пена на стаканах, почти черная жидкость, но не пиво — отлив ядовито-зеленый, и молодежь, парни и девушки в обнимку, группами по шесть-восемь человек, загораживая всю ширину прохода, шли на меня, расступались передо мной. Меня потрянуло. Сам того не замечая, я ступил на движущийся тротуар. Совсем близко мелькнули изумленные глаза — прелестная темнокожая девушка в чем-то блестящем, как металл. Ткань плотно обтягивала ее, девушка казалась обнаженной. Белые,

желтые лица, несколько высоких чернокожих, но я по-прежнему был выше всех. Передо мной расступались. Наверху, за выпуклыми стеклами, мчались расплывчатые тени, играли невидимые оркестры, и здесь происходил необыкновенный променад, в темных проходах — плохо различимые фигуры женщин; пух на их плечах светился, открытые шеи сияли, как странные белые стебли, волосы были покрыты светящейся пудрой. Узкий проход ввел меня в анфиладу гротескных — передвижных, скорее даже, двигающихся самостоятельно — статуй; нечто вроде широкой, приподнятой по краям улицы, гремело от смеха, здесь веселились. Что их так веселило — эти статуи?

Огромные фигуры в конусах рефлекторов; от них лился свет — рубиновый, медовый, густой как сироп, необычайно насыщенного цвета. Я шел машинально, щуря глаза, растворяясь в окружающем. Круто идущий вверх зеленый пассаж, гротескные павильоны, пагоды, в которые входили по мостикам, полно маленьких ресторанчиков, запах жареного, острый, навязчивый, ряды газовых горелок за стеклами, звон стекла, повторяющиеся непонятные металлические звуки. Толпа, которая внесла меня сюда, столкнулась с другой, потом стало свободнее, все садилось в открытый со всех сторон вагон, нет, не открытый, а прозрачный, будто отлитый из стекла, даже сиденья словно стеклянные, хоть мягкие. Я и оглянуться не успел, как очутился внутри, — мы ехали. Вагон мчался, люди перекрикивали репродуктор, повторяющий: «Ярус Меридионал, ярус Меридионал, контакты на Спиро, Блекк, Фросом». Весь вагон как бы таял, пронзаемый снопами света, стены пролетали полосами пламени и красок, параболические арки, белые перроны, «Фортеран, Фортеран, контакты Галее, контакты внешних растов, Макра», — бормотал репродуктор, вагон останавливался и мчался дальше; я обнаружил удивительную вещь: торможение и ускорение не ощущались, словно была отменена инерция. Как это достигалось? Я проверил, чуть подгибая колени, на трех остановках подряд. На выражах тоже ничего. Люди выходили, входили, на передней площадке стояла женщина с собакой; таких собак я никогда не видел, она была огромная, с шарооб-

разной головой, очень некрасивая, в ее ореховых спокойных глазах отражались мчавшиеся в обратную сторону, уменьшенные гирлянды огней. РАМБРЕНТ РАМБРЕНТ. Заполоскались в воздухе белые и голубоватые газосветные трубки, ступени из кристаллического блеска, черные фронтоны, блеск медленно каменел, вагон стоял. Я вышел и остолбенел. Над напоминающей амфитеатр площадкой остановки возвышалась многоярусная, знаковая конструкция; я все еще был на вокзале, в другом месте того же гигантского зала, раздутого белыми размахами плоскостей. Я направился к краю этой геометрически правильной раковины — вагон уже ушел — и снова ошибка: я не был внизу, как мне показалось, а находился как раз высоко, этажей на сорок выше ленточек видневшихся в бездне тротуаров, серебряных палуб мерно парящих перронов, между ними появлялись длинные, беззвучные туши, люди выбирались из них через ряды люков, словно эти чудовища, эти хромированные рыбы откладывали с равномерными интервалами кучки черной и цветной икры. Надо всем этим, вдали, сквозь легкий туман расстояния, я видел движущиеся по невидимому канату слова:

ГЛЕНИАНА РУН ВОЗВРАЩАЕТСЯ. СЕГОДНЯ В ЗАПИСИ МИМОРИФИЧЕСКОГО РЕАЛЯ ВОЗДАЕТ В ОПЕРАТОРИИ ДОЛГ ПАМЯТИ РАППЕРА КЕРКСА ПОЛИТРЫ. ТЕРМИНАЛ ЕЖЕДНЕВНИК СООБЩАЕТ: СЕГОДНЯ В АММОНЛИ ПТИФАРГ ВПЕРВЫЕ СИСТОЛИЗИРОВАЛ ОНЗОМ ГОЛОС ЗНАМЕНИТОГО ГРАВИСТИКА МЫ ПЕРЕДАДИМ В ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЧАСОВ. ПЕРЕВЕС АРРАКЕРА АРРАКЕР ПОВТОРИЛ СВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ОБЛИТЕРИСТА НА ТРАНСВААЛЬСКОМ СТАДИОНЕ.

Я отошел. И так, даже счет времени изменился. Попадая под свет огромных букв, мчавшихся подобно рядам пылающих канатоходцев над морем голов, металлические ткани женских платьев мигали неожиданными огоньками. Я шел машинально, а что-то во мне повторяло без устали: «Даже время изменилось». Это окончательно добило меня. Я ничего не замечал. Хотелось лишь одного: выйти отсюда, выбраться из этого проклятого

вокзала, оказаться под открытым небом, на воздухе, увидеть звезды, ощутить ветер.

Меня привлекла аллея продолговатых светильников; в просвечивающем камне сводов что-то писало (буквы вычерчивал заключенный в алебастр резкий язычок пламени): ТЕЛЕТРАНС — ТЕЛЕПОРТ — ТЕЛЕТОН; сквозь остроконечную арку дверей (арка была немыслимая, сдвинутая с опоры, некий негатив носа ракеты) я попал в зал, охваченный заледеневшим золотым пожаром. В нишах — сотни кабин, люди вбегали в них, выбегали впопыхах, бросали на пол порванные полоски, не телеграфные ленты, а что-то другое, с вытесненными бугорками, другие шли по этим обрывкам. Я хотел выйти, но по ошибке вошел в темное нутро кабинки, прежде чем я успел отступить, что-то зажжужало, вспышка словно бы фотоблица, и из щели, окаймленной металлом, как из почтового ящика, выскользнул сложенный пополам листок блестящей бумаги. Я взял его, раскрыл, оттуда высунулась человеческая голова: искривленный полуоткрытый узкогубый рот, прищуренные глаза, разглядывающие меня, — это был я сам! Я сложил бумажку пополам, и художественное привидение исчезло. Я медленно раздвинул края, ничего, чуть пошире — появилось снова, словно выскочило из ниоткуда: отделенная от туловища, реющая над листком голова, физиономия не слишком умная. Посмотрев в лицо самому себе — что это, объемная фотография? — я сунул листок в карман и вышел. Золотое пекло, казалось, опадает на головы толпы, потолок — из огненной магмы, нереальной, но дышащей настоящим пожаром, и никто не смотрел на него, страшно занятые люди бегали от одной кабинки к другой, зеленые буквы скакали в глубине, колонки цифр ползли сверху вниз на узких экранах, еще кабинки, вместо дверей — шторы, молниеносно взрывающиеся при чем-либо приближении; наконец я нашел выход.

Коридор, изогнутый, с наклонным полом, как иногда в театре, из стен расцветали стилизованные морские раковины, наверху мчались слова ИНФОР ИНФОР ИНФОР, без конца.

В первый раз я увидел Инфор на Луне и принял его за искусственный цветок.

Я склонился к бледно-зеленой чаше, которая тут же, прежде чем я успел открыть рот, застыла в ожидании.

— Как мне выйти? — довольно бестолково спросил я.

— Куда? — тут же откликнулся теплый альт.

— В город.

— В какой район?

— Все равно.

— На какой уровень?

— Все равно, я хочу уйти с вокзала.

— Меридионал, расты: сто шесть, сто семнадцать, ноль восемь, ноль два. Придук, уровень А, А, А, окружной уровень митов, двенадцать и шестнадцать, уровень надир ведет в любом южном направлении. Центральный уровень — глайдеров, красный местный, белый дальний. А, В и W. Уровень ульдеров, прямого сообщения, все эскалы третьего вверх... — напевно декламировал женский голос.

Мне хотелось вырвать из стены микрофон, так заботливо тянувшийся к моему лицу. Я отошел. «Идиот! Идиот!» — перемальвалось во мне в такт шагам. ЭКЗ ЭКЗ ЭКЗ, повторяла скользившая над головой надпись, окаймленная лимонного цвета туманом. Может быть, это экзит? Выход?

Огромная надпись ЭКЗОТАЛ. Я попал в такой мощный поток теплого воздуха, что у меня захлопали штанины. И очутился под открытым небом. Но темнота ночи отхлынула вдаль, отброшенная роем огней. Огромный ресторан: столики, поверхность которых светилась разным цветом, над ними лица, непривычно освещенные снизу, иссеченные глубокими тенями. Низкие кресла, черная жидкость с зеленой пеной в стаканах, цветные фонарики, с которых сыпались искорки, нет, пожалуй, светлячки, что-то вроде облака пылающих ночных бабочек. Хаос огней затмевал звезды. Подняв голову, я увидел лишь черную пустоту. Но, как ни странно, в тот момент ее слепое присутствие подбодрило меня. Я стоял и смотрел. Кто-то легко задел меня, проходя, повеяло ароматом духов, резким и нежным одновременно, прошла пара, девушка обернулась к мужчине, ее плечи и грудь утопали в пушистом облаке, он крепко держал ее в объятиях, они танцевали. «Еще танцуют, — подумал я. — И это

хорошо». Пара сделала несколько шагов, бледный ртутный круг подхватил ее вместе с другими парами, их темно-красные тени двигались под его огромной плитой, вращавшейся медленно, как грампластинка; плита ни на что не опиралась, у нее не было даже оси, она вращалась в воздухе под звуки музыки. Я пошел между столиками. Мягкий пластик, по которому я ступал, кончился, он примыкал к шероховатой скале. Сквозь световой занавес я вошел внутрь и очутился в каменном гроте. Он выглядел как десяток или даже полсотни готических нефов, воздвигнутых из сталактитов, жиловидные натеки жемчужно поблескивающих минералов, окаймляли входы в пещеры, в пещерах сидели люди, опустив ноги в пустоту, между коленями у них горели дрожащие огоньки пламени, а внизу расстиралось незамутненно черное зеркало озера, отражая уходящие в него скалы. Там, на сколоченных кое-как плотиках, тоже отдыхали люди, лица у всех были обращены в одну сторону. Спустившись к самой воде, я увидел на другой стороне, на песке, танцовщицу. Она показалась мне обнаженной, но белизна ее тела выглядела неестественной. Мелкими неуверенными шажками она сбегала к воде и, отразившись в ней, вдруг развела руки, склонила голову — финал, но никто не аплодировал, танцовщица замерла на несколько секунд, потом медленно пошла по берегу, обходя по его неровной линии озеро. Она была шагах в тридцати от меня, когда с ней что-то случилось. Какой-то миг мне было видно ее улыбающееся, утомленное лицо, вдруг что-то его заслонило, ее фигура задрожала и исчезла.

— Не желаете ли жемчужемы? — раздался любезный голос позади меня. Я обернулся, никого, лишь обтекаемой формы столик, шагающий на смешно подогнутых ножках; он двигался, рюмки с пенящимся напитком, расставленные рядами на боковых подносах, подрагивали — одна механическая рука любезно подавала мне напиток, другая уже брала тарелочку с отверстием для пальца, похожую на маленькую вогнутую палитру — это был автомат, я видел тлеющий за центральным окошечком жар его транзисторного сердца.

Уклонившись от столь верноподданно тянувшихся ко мне паучьих лапок, нагруженных лакомствами, которые-

ми я пренебрег, я быстро вышел из грота, стиснув зубы, словно меня чем-то оскорбили. Огибая столики, я пересек всю террасу, украшенную гирляндами цветных фонариков; на меня сыпалась невесомая пыль распадающихся догорающих светлячков, черных и золотых. У самого края, выложенного камнем, старым, словно затуманившимся от желтоватого лишайника, меня наконец овеял настоящий ветер, чистый и холодный. Рядом оказался свободный столик. Я сел неловко, спиной к людям, глядя в ночь. Внизу раскинулась темнота, бесформенная и неожиданная, только в самой дали, на ее границах тлели тоненькие, колеблющиеся лучики, такие неуверенные, словно не электрические, а еще дальше к небу поднимались холодными тонкими клинками световые полосы, я не знал, дома ли это, или столбы, их можно было принять и за лучи прожекторов, если бы не еле заметная сеточка, — так мог бы выглядеть вбитый основанием в землю стеклянный цилиндр, достающий до облаков, заполненный попеременно вогнутыми и выпуклыми линзами. Видимо, они были невероятно высокими, вокруг них мерцали огоньки; их окаймляло то оранжевое, то почти белое свечение. Вот и все, вот так и выглядел город; я пытался различить улицы, догадаться, где они, но внизу расстиралось во все стороны, темное, словно бы мертвое пространство, не освещенное ни малейшей искоркой.

— Друг? — услышал я, пожалуй, уже не раз повторенное; сначала я подумал, что обращаются не ко мне. Не успел я повернуться, как кресло сделало это за меня. Передо мной стояла девушка лет двадцати, в голубом одеянии, которое облегло ее так плотно, словно приросло к коже, плечи и грудь терялись в темно-синем пуху, который к низу становился все прозрачнее. Ее подтянутый, красивый живот был подобен изваянию из ожившего металла. В ушах у нее светилось что-то, целиком заслонявшее ушную раковину, маленькие, неуверенно улыбавшиеся губы — подкрашены, ноздри внутри тоже красные, — я заметил, что так красится большинство женщин. Она взялась обеими руками за спинку кресла, что стояло напротив меня, и спросила:

— Как у тебя дела, друг?

Девушка села.

У меня было впечатление, что она под хмельком.

— Скучно здесь, — продолжала она немного погодя. — Нет? Возьмемся куда-нибудь, друж?

— Я не друж... — начал я. Девушка облокотилась о столик и водила ладонью над налитой до половины рюмкой, конец золотой цепочки, обернутой вокруг пальцев, опустился в жидкость. При этом она наклонялась все больше. Я ощутил ее дыхание. Если она и была под хмельком, то не от алкоголя.

— Как это? — спросила она. — Ты — друж. Иначе быть не может. Каждый — друж. Хочешь? Возьмемся?

Знать бы, по крайней мере, что это значит.

— Хорошо, — согласился я.

Она встала. Встал и я со своего ужасно низкого кресла.

— Как ты это делаешь? — спросила она.

— Что?

Девушка посмотрела на мои ноги.

— Я думала, ты встал на цыпочки.

Я молча усмехнулся. Она подошла ко мне, взяла меня под руку и опять удивилась.

— Что у тебя там?

— Где? Здесь? Ничего.

— Поешь, — сказала она и легонько потянула меня. Мы пошли между столиками, а я раздумывал, что может означать «поешь», может, «врешь»?

Девушка подвела меня к темно-зеленой стене, туда, где светился знак, немного похожий на скрипичный ключ. Когда мы оказались около стены, она раздвинулась. Я почувствовал дуновение горячего воздуха.

Узкий, серебристый эскалатор скользил вниз. Мы стояли рядом. Девушка не доставала мне до плеча. У нее была кошачья головка, иссиня-черные волосы, может быть, слишком острый профиль, но она была хорошенькая. Вот только пурпурные ноздри... Она крепко держала меня тонкой рукой, зеленые ноготки впивались в толстый свитер. Я невольно улыбнулся уголками губ, вспомнив, где довелось побывать свитеру и как мало общего у него с женскими пальцами. Под круглым сводом, дышавшим огнями — от розового к карминовому, от кармино-

вого к розовому — мы вышли на улицу. Вернее, я подумал, что мы на улице, но темнота над нами то и дело рассеивалась, словно от внезапных рассветов. Мимо нас скользили вдали длинные низкие силуэты, вроде бы автомобили, но я уже знал, что автомобилей нет. Видимо, что-то другое. Если бы я был один, я пошел бы по этой широкой магистрали, потому что вдали сияли буквы К ЦЕНТРУ, но они вполне могли и не означать центр города. Впрочем, я позволил себя вести. Как бы ни кончилось это приключение, я нашел проводника и подумал — теперь уже без гнева — о том несчастном, который сейчас, спустя три часа после моего прибытия, наверняка ищет меня с помощью всех Инфоров этого вокзала-города.

Мы миновали несколько пустеющих ресторанчиков, витрины, в которых группы манекенов разбрызгивали одну и ту же сценку, я охотно остановился бы посмотреть, что они делают, но девушка шла быстро, постукивая каблучками, пока не воскликнула при виде смешно облизывающейся неоновой физиономии, пышущей румянцем:

— О, бонсы. Хочешь бонс?

— А ты? — спросил я.

— По-моему, хочу.

Мы вошли в небольшое блестящее помещение. Вместо потолка длинными рядами сверкали язычки пламени, похожие на газовые; сверху дохнуло теплом, пожалуй, это и взаправду был газ. В стенах виднелись небольшие ниши с металлическими столиками; когда мы подошли к одной из них, с обеих сторон из стен выдвинулись сиденья; выглядело это так, как будто из стен проросли сначала неразвернувшиеся почки, потом почки расплощились в воздухе и, приобретя нужную форму, неподвижно застыли. Мы сели друг против друга, девушка стукнула двумя пальцами по металлической крышке столика, из стены выскочила никелированная лапка, бросила перед каждым из нас по маленькой тарелочке и двумя молниеносными движениями швырнула на обе по порции белесой массы, которая, вспенившись, стала коричневой и застыла, одновременно потемнели и сами тарелочки. Девушка свернула свою — это была вовсе не тарелочка — наподобие блинчика и стала есть.

— Ох, — проговорила она с полным ртом, — даже и не знала, какая я голодная!

Я сделал точно так же. Бонс по вкусу не был похож ни на что из знакомой мне еды. Он похрустывал на зубах, как свежая булочка, но тут же рассыпался и таял на языке; коричневая масса, служившая начинкой, была приправлена чем-то острым. Я подумал, что бонсы я люблю.

— Еще? — спросил я, когда она съела свой. Девушка улыбнулась, покачав головой. Выходя, она мимоходом вложила обе ладони в маленькое углубление, выложенное кафелем, — в нем что-то шумело. Я поступил так же. Щекоцущий вихрь овеял мои пальцы; когда я вынул руки, они были уже сухие и чистые. Потом мы поднялись на широком эскалаторе наверх. Я не знал, не находимся ли мы все еще на вокзале, но предпочитал не спрашивать. Девушка ввела меня в маленькую кабину в стене. Там было мало света, пол дрожал, казалось, над нами проносятся поезда. На мгновение стало темно, что-то мощно дохнуло под нами, словно металлическое чудовище выпустило воздух из легких, посветлело, девушка толкнула дверь. Это, пожалуй, и вправду была улица. Мы находились на ней в полном одиночестве. По обе стороны тротуара рос невысокий подстриженный кустарник; чуть подальше стояли вплотную одна к другой плоские черные машины, какой-то человек вышел из тени, скрылся за одной из машин, — я не видел, чтобы он открывал дверцу, просто он вдруг исчез, а машина рванулась с места так резко, что его, наверное, расплющило на сиденье; не было никаких домов, виднелась лишь ровная, как стол, проезжая часть, покрытая полосами матового металла; над перекрестками двигались подвешенные над мостовой щелевидные фонари, оранжевые и красные, напоминавшие макеты войсковых прожекторов.

— Куда направимся? — спросила девушка. Она все держала меня за руку. Замедлила шаг. Красный свет скользнул по ее лицу.

— Куда хочешь.

— Тогда пойдем ко мне. Не стоит брать глайдер. Здесь близко.

Мы пошли. Домов по-прежнему не было видно, а ветер, долетавший из темноты, из-за кустов, дул явно из открытого пространства, которое раскинулось вокруг вокзала, прямо в центре. Странно. Ветер приносил слабый аромат цветов, который я жадно вдыхал. Черемуха? Нет, не черемуха.

Потом мы попали на движущийся тротуар; мы были необычной парой, фонари проплывали мимо, иногда мелькало средство передвижения, отлитое из одной глыбы черного металла, без окошечек, без колес, даже без сигнальных огней; они мчались вслепую, с необыкновенной скоростью. Движущийся свет лился из узких вертикальных щелей, подвешенных невысоко над землей. Я не мог понять, связаны они каким-нибудь образом с уличным движением и его регулировкой.

Иногда в невидимом небе высоко над ними раздавался жалобный свист. Девушка вдруг сошла с движущейся полосы и перешла на другую, которая помчалась круто вверх. Я вдруг взлетел вверх, воздушная поездка длилась, может, с полминуты и закончилась на площадке, заполненной слабо пахнувшими цветами — мы попали на террасу или балкон погруженного в темноту дома, видимо, поднявшись на приставленном к стене транспорте. Девушка вошла в глубь этой лоджии, мои глаза уже привыкли к темноте, и я различал во мраке громады соседних домов, безоконные, черные, словно вымершие, ведь не только не было ни огонька, не доносилось и ни звука, кроме резкого шипения проносившихся черных машин; после неоновой оргии вокзала отсутствие рекламных вывесок, такое, видимо, подчеркнутое затемнение меня удивило, но мои размышления были прерваны.

— Иди сюда, где же ты? — донесся до меня шепот.

Я видел лишь бледное пятно ее лица. Она приложила руку к двери, дверь открылась, но мы не вошли в комнату, пол мягко поплыл вместе с нами, — да тут шагу нельзя ступить, странно, что у них еще сохранились ноги, с насмешкой подумал я. Моя банальная ирония была вызвана чувством бесконечного изумления и растерянности, ощущением нереальности происходящего со мной вот уже несколько часов.

Мы находились не то в просторной прихожей, не то в

коридоре — широком, почти темном; виднелись только углы стен, окрашенные светящейся краской. В самом темном месте девушка приложила ладонь к металлической табличке на двери и вошла первой. Я зажмурился; холл, ярко освещенный, был почти пуст — девушка направилась к следующей двери, когда я приблизился к стене, та вдруг раздвинулась, открывая внутреннее пространство, заполненное какими-то металлическими бутылочками. Все произошло так неожиданно, что я невольно остановился.

— Не пугай мой шкаф, — предупредила девушка уже из другой комнаты.

Я вошел вслед за ней.

Мебель казалась отлитой из стекловидной массы: креслица, низенький диванчик, маленькие столики. В полупрозрачном материале, из которого их сделали, медленно кружились рои светлячков, иногда они распались, потом снова сливались в ручейки, и тогда внутри мебели как бы текла бледно-зеленая, перемешанная с розовыми искорками, светящаяся кровь.

— Почему ты не садишься?

Девушка стояла в глубине комнаты. Кресло раскрылось, желая принять меня. Мне стало не по себе. Стекло оказалось вовсе не стеклом; впечатление было такое: я сижу на надувных подушках. Сквозь изогнутое, толстое сиденье я мог разглядеть пол.

Когда я вошел, мне показалось, что противоположная стена — стеклянная и сквозь нее видна другая комната, заполненная людьми, будто там какой-то прием, но люди эти были сверхестественного роста, и я вдруг понял, что передо мной телевизионный экран во всю стену. Звук был выключен; теперь, сидя, я видел огромное женское лицо, казалось, что темнокожая великанша заглядывает сквозь окно в комнату, губы ее шевелились, она говорила, а драгоценности, закрывавшие ушные раковины, величиной со щит, сверкали и переливались как бриллианты.

Я уселся в кресле поудобнее. Девушка внимательно смотрела на меня, проводя рукой по бедру — живот ее был будто выточенным из лазурного металла.

— Как тебя зовут?

— Брегг. Гэл Брегг. А тебя?

— Наис. Сколько тебе лет?

Странные нравы, подумал я. Ну что же, видно, так принято.

— Сорок. А что?

— Ничего. Я думала, тебе сто.

Я усмехнулся.

— Допустим, сто, если тебе так хочется.

Самое смешное, что это правда, подумал я.

— Что тебе дать? — спросила девушка.

— Выпить? Спасибо, ничего не надо.

— Как хочешь.

Девушка подошла к стене, открылось что-то вроде маленького бара. Она заслонила собой полки. Когда она повернулась, в руках у нее был небольшой поднос с кружками и двумя бутылками. Слегка сжимая бутылку, она налила мне до краев, — жидкость выглядела совсем как молоко.

— Спасибо, — поблагодарил я, — мне не хочется...

— Я же тебе ничего не даю, — удивилась Наис.

Видя, что ошибся, хотя понятия не имел, в чем именно, я пробормотал что-то и взял кружку. Себе она налила из другой бутылки. Жидкость была маслянистая, бесцветная, она слегка пузырилась и одновременно темнела, словно от соприкосновения с воздухом. Наис села, и касаясь губами края кружки, спросила как бы мимоходом:

— Ты кто?

— Друз, — ответил я, поднимая кружку, будто бы для того, чтобы рассмотреть ее, это молоко совсем не пахло, я к нему не притронулся.

— Нет, серьезно, — сказала она. — Ты подумал, что я нечисто транслирую, да? С чего бы? Просто это был кальс. Я была со своей шестеркой, понимаешь, но меня одолела непроходимая тоска. Вся вспашка ни к чему и вообще... я уже собралась уходить, когда ты сел ко мне.

Кое-что мне понять удалось: видимо, я нечаянно сел за столик Наис, когда ее не было, может, она танцевала? Я дипломатично молчал.

— Издали ты выглядел так... — она не могла подобрать подходящего слова.

— Солидно? — подсказал я. Ее веки дрогнули. Неужели и на них металлическая пленка? Нет, это, пожалуй, грим. Наис подняла голову.

— Что это значит?

— Ну... э-э-э... заслуживаю доверия...

— Странно ты говоришь. Ты откуда?

— Издалека.

— С Марса?

— Еще дальше.

— Летаешь?

— Летал.

— А теперь?

— Ничего не делаю. Я вернулся.

— Но опять будешь летать?

— Не знаю. Пожалуй, не буду.

Разговор не клеился — мне показалось, девушка уже немного жалела о своем легкомысленном приглашении, и мне хотелось облегчить ее затруднительное положение.

— Может, мне уйти? — спросил я, продолжал держать кружку с нетронутым напитком.

— Почему? — удивилась она.

— Я думал, тебе так... хочется.

— Нет, — возразила девушка, — ты думал... нет, отчего же... Почему ты не пьешь?

— Я пью.

Все-таки это было молоко. В такое время, при таких обстоятельствах! Она не могла не заметить моего изумления.

— Что, невкусно?

— Это... молоко... — заметил я. Мина у меня, видимо, была идиотская.

— С чего ты взял? Какое молоко? Это брит...

Я вздохнул.

— Послушай, Наис... Я, пожалуй, все-таки пойду. Правда. Так будет лучше.

— Зачем же ты пил? — спросила она.

Я молча посмотрел на нее. Слова были знакомые, но я ничего не понимал. Ничего. Так они изменились.

— Как хочешь, — сказала в конце концов девушка. — Я тебя не держу. Но теперь это... — она смутилась. Выпи-

ла свой лимонад, — так я мысленно называл ее шипучку, — а я опять не знал, что ей сказать. Как все трудно.

— Расскажи мне о себе, — предложил я, — хочешь?

— Хорошо. А ты мне потом расскажешь?

— Да.

— Я в Кавуте второй год. Последнее время я ленилась, нерегулярно пластировала, и... так как-то. Шестерка моя неинтересная. Правду сказать, у меня... никого нет. Странно...

— Что странно?

— Что у меня никого нет...

И опять полный мрак. О ком она говорит? Кого у нее не было? Родителей? Любowników? Знакомых? А все-таки Абс был прав, сказав, что необходимо пробыть месяцев восемь в Адапте, иначе мне не справиться. Но теперь, раскаявшись, мне тем более не хотелось возвращаться в подготовительный класс.

— И что дальше? — спросил я и сделал глоток из кружки, которую по-прежнему держал в руке. Глаза Наис расширились от удивления. По ее губам мелькнуло что-то вроде насмешливой улыбки. Она осушила свою кружку до дна, взялась за край своего пушистого одеяния, закрывавшего плечи, и разорвала его — не растегнула, не раздвинула, а именно разорвала, отбросив обрывки, как мусор.

— В конце концов мы мало знакомы, — проговорила девушка. Держалась она уже свободнее. Улыбалась. Иногда она становилась даже хорошенькой, особенно когда щурилась, а нижняя губка открывала блестящие зубы. В лице ее было что-то египетское. Египетская кошка. Волосы — чернее черного, а когда она сорвала пушистую одежду с плеч и груди, я увидел, что она вовсе не так худощава, как мне казалось. Но почему она сорвала? Это что-нибудь означало?

— Ты хотел что-то сказать? — спросила она, глядя на меня поверх кружки.

— Да, — ответил я и заволновался, словно от моих слов все зависело. — Я... я был пилотом. Последний раз я был здесь... только не пугайся!

— Не испугаюсь. Говори!

Глаза у нее были внимательные, блестящие.

— Сто двадцать семь лет тому назад. Мне было тридцать. Экспедиция... я был пилотом экспедиции на Фомальгаут. Двадцать три световых года. Мы летели, в ту сторону и обратно, сто двадцать семь лет земного времени и десять лет бортового. Четыре дня тому назад... «Прометей» — мой корабль — остался на Луне. Я прибыл только сегодня. Вот и все.

Она смотрела на меня молча. Губы ее шевельнулись, раскрылись, сомкнулись. Что было в ее глазах? Изумление? Восхищение? Страх?

— Почему ты ничего не говоришь? — спросил я, откашливаясь.

— Так... сколько же тебе лет на самом деле?

Я невольно усмехнулся; усмешка получилась горькой.

— Что значит «на самом деле»? Биологических сорок, а по земному времени — сто пятьдесят семь...

Долгое молчание и вдруг:

— А женщины там были?

— Подожди, — перебил я. — У тебя найдется выпить?

— Как это?

— Что-нибудь одуряющее. Крепкое. Спиртное... или его уже не пьют?

— Очень редко... — ответила девушка совсем тихо, словно думая о чем-то другом. Ее руки медленно опустились, коснулись металлической лазури платья.

— Дам тебе... ангеена, хочешь? Правда, ты не знаешь, что это такое.

— Конечно, не знаю, — неожиданно рассердился я. Она пошла к бару и вернулась с маленькой пузатой бутылочкой. Налила мне. Нечто спиртное — очень немного, с какой-то добавкой — необычный, терпкий вкус.

— Не сердись, — попросил я, осушив кружку, и налил себе еще.

— Я не сержусь. Ты не ответил, может, не хочешь говорить.

— Почему же? Могу рассказать. Всего нас было двадцать три человека, на двух кораблях. Второй — «Улисс». По пять пилотов, а остальные — ученые. Женщин не было.

— Почему?

— Из-за детей, — объяснил я. — Детям нельзя нахо-

диться на таких кораблях, а если и можно, никто не захочет. До тридцати в полет не попадешь. Надо закончить два факультета плюс четыре года тренировок, в сумме двенадцать лет. Короче, у тридцатилетних женщин обычно есть дети. Были и... другие соображения.

— А у тебя? — спросила Наис.

— Я был один. Выбирали одиноких. То есть добровольцев.

— Ты хотел...

— Да. Разумеется.

— И не...

Она оборвала. Я догадывался, что она хотела сказать, но промолчал.

— Должно быть, это жутко... так вернуться... — содрогнувшись, проговорила она почти шепотом. Потом взглянула на меня, и лицо ее залилось краской.

— Послушай, я просто пошутила, — произнесла она.

— Насчет ста лет?

— Я просто так сказала, это не должно было...

— Перестань, — буркнул я. — Еще немного, и я действительно почувствую себя столетним.

Наис молчала. Я заставил себя не смотреть на нее. В глубине, во второй, несуществующей комнате за стеклом огромная мужская голова беззвучно пела, мне были видны вибрирующие от напряжения темно-красная глотка, лоснящиеся щеки, все лицо подрагивало в неслышном ритме.

— Что ты будешь делать?

— Не знаю. Пока не знаю.

— У тебя нет никаких планов?

— Нет. Я располагаю небольшой... видишь ли, премией. За все это время. Когда мы стартовали, ее поместили в банк, на мое имя, — не знаю даже, сколько там. Ничего не знаю. Послушай, а что такое Кавут?

— Кавута? — поправила она. — Ну... школа такая, пластирование, само по себе ничего особенного, но иногда можно попасть в реаль...

— Подожди-ка... что, собственно, ты делаешь?

— Пласт... Разве ты не знаешь, что это такое?

— Не представляю.

— Как бы тебе... ну, просто делаю платья, вообще одежду — всё...

— Портниха?

— Что это значит?

— Шьешь что-нибудь?

— Не понимаю.

— О небеса, черные и голубые! Ты проектируешь модели платьев?

— Ну да... в некотором смысле, да. Не проектирую, а делаю...

Я оставил эту тему.

— А что такое реаль?

Мой вопрос совсем ее добил. Впервые она посмотрела на меня, как на существо из другого мира.

— Реаль это... реаль, — беспомощно пролепетала она.

— Это... такие... истории, их смотрят...

— Это? — показал я на стеклянную стену.

— Да нет, это же телевизор...

— А что же? Кино? Театр?

— Нет. Театр я знаю, он был давно. Мне известно — там были настоящие люди. Реаль искусственный, но отличить нельзя. Разве что войти туда, к ним...

— Войти?..

Исполинская голова вращала глазами, качалась, смотрела на меня, словно исполина развлекала эта сцена.

— Послушай, Наис, — вдруг начал я, — или я уйду, ведь уже очень поздно, или...

— Я предпочла бы второе.

— Я же не сказал...

— Так скажи.

— Ладно. Я хотел у тебя кое-что спросить. О великом, самом важном я немного знаю: я четыре дня проторчал в Адапте, на Луне. Но там все было торжественно. Что вы делаете в свободное от работы время?

— Можно делать многое, — ответила Наис. — Можно путешествовать, на самом деле или мутом. Можно развлекаться, ходить в реаль, танцевать, играть в терео, заниматься спортом, плавать, летать — все что угодно.

— Что такое мут?

— Вроде реалья, но все можно потрогать. Там ходишь

по горам, всюду — сам увидишь, об этом не рассказывать. Но мне кажется, ты хотел спросить о чем-то другом?

— Ты правильно меня поняла. Как у вас — между женщинами и мужчинами?

Веки у нее дрогнули.

— Наверное, так же. Что могло измениться?

— Все. Когда я улетал, — ты только не сердись, — такие девушки, как ты, не приглашали к себе в такую пору.

— Правда? Почему?

— Потому что в этом был бы определенный смысл.

Наис помолчала.

— А откуда ты знаешь, что его не было?

Она развеселилась, увидев, какую мину я состроил. Я не сводил с нее глаз; она перестала улыбаться.

— Наис... как это... — еле выговорил я, — берешь совершенно чужого типа и...

Она молчала.

— Почему ты не отвечаешь?

— Потому что ты ничего не понимаешь. Не знаю, как тебе объяснить. Тут ничего такого, понимаешь...

— Ага. Ничего такого, — передразнил я. Не в силах усидеть на месте, я встал. Забывшись, чуть не подскочил; девушка вздрогнула.

— Извини, — буркнул я и стал ходить. За стеклом расстился парк, залитый утренним солнцем, среди деревьев с бледно-розовыми листьями шли трое мальчиков в рубашках, блестевших как латы.

— Есть ли у вас супружеские пары?

— Естественно.

— Ничего не понимаю! Объясни мне. Расскажи. Ты видишь мужчину, который тебе подходит и, не зная его, прямо так...

— Да что тут рассказывать? — неохотно проговорила она. — Это правда, что тогда, в твоё время, девушка не могла пригласить к себе ни одного мужчину?

— Могла, конечно, и даже с такой мыслью, но не через пять минут после первого взгляда...

— А через сколько?

Я взглянул на нее. Она спросила совершенно серьезно. Ну да, откуда ей знать; я пожал плечами.

— Не во времени дело, просто — просто она должна была сначала что-то... увидеть в нем, познакомиться с ним, почувствовать к нему расположение, сначала они ходили...

— Подожди, — перебила Наис. — Кажется, ты... ничего не понимаешь. Я же дала тебе брит.

— Какой брит? А, молоко? Ну и что?

— Как «ну и что»? Разве у вас... не было брита?

Наис расхохоталась, она хохотала до упаду. И вдруг остановилась, посмотрела на меня и вся залилась краской.

— Так ты думал... думал, что я... нет!!

Я сел. Пальцы меня плохо слушались, нужно было что-нибудь взять в руки. Я вытащил из кармана сигарету, закурил. Наис широко раскрыла глаза.

— Что это такое?

— Сигарета. Разве вы не курите?

— Первый раз в жизни вижу... Так выглядит сигарета? Как ты можешь втягивать дым? Нет, подожди — то важнее. Брит вовсе не молоко. Не знаю, что там, но мало-знакомому всегда дают брит.

— Мужчине?

— Да.

— И что из этого?

— А то, что он... он хорошо себя ведет. Понимаешь... может, тебе кто-нибудь из биологов объяснит.

— К чертям биологов. Это значит, что мужчина, которому ты дала брит, ничего не может?

— Естественно.

— А если он не захочет его пить?

— Как же он может не захотеть?

Это было выше моего понимания.

— Ведь ты не можешь его заставить? — терпеливо продолжил я.

— Сумасшедший мог бы не выпить, — медленно говорила она, — но я ни разу о таком не слышала...

— Это обычай такой?

— Не знаю, что тебе сказать. Тебе обычай не разрешает ходишь нагишом?

— Ага. Ну, в некотором смысле — обычай. Но на пляже можно раздеться.

— Донага? — вдруг заинтересовалась девушка.

— Нет. Купальный костюм... но были группы людей, в мое время, они назывались нудисты...

— Знаю. Но это другое, я думала, вы все...

— Нет. Итак, пить брит — все равно что носить одежду? Так же необходимо?

— Да. Когда — двое.

— Ну а дальше?

— Что значит дальше?

— Во второй раз?

Разговор был идиотский, и я чувствовал себя ужасно, но нужно же в конце концов узнать.

— Потом? Всякое бывает. Некоторым... всегда дают брит...

— Гарбуза! — вырвалось у меня.

— Что это значит?

— Ничего, ничего. А если девушка идет к кому-нибудь, что тогда?

— Тогда он пьет у себя.

Она смотрела на меня почти что с жалостью. Но я был упрям.

— А если у него нет?

— Брита? Что значит — нет?

— Ну, кончился. Или... он же может соврать.

Наис рассмеялась.

— Ведь... ты думаешь, что все эти бутылки я держу здесь, где живу?

— Не здесь? А где же?

— Не знаю даже, откуда они берутся. В твоё время был водопровод?

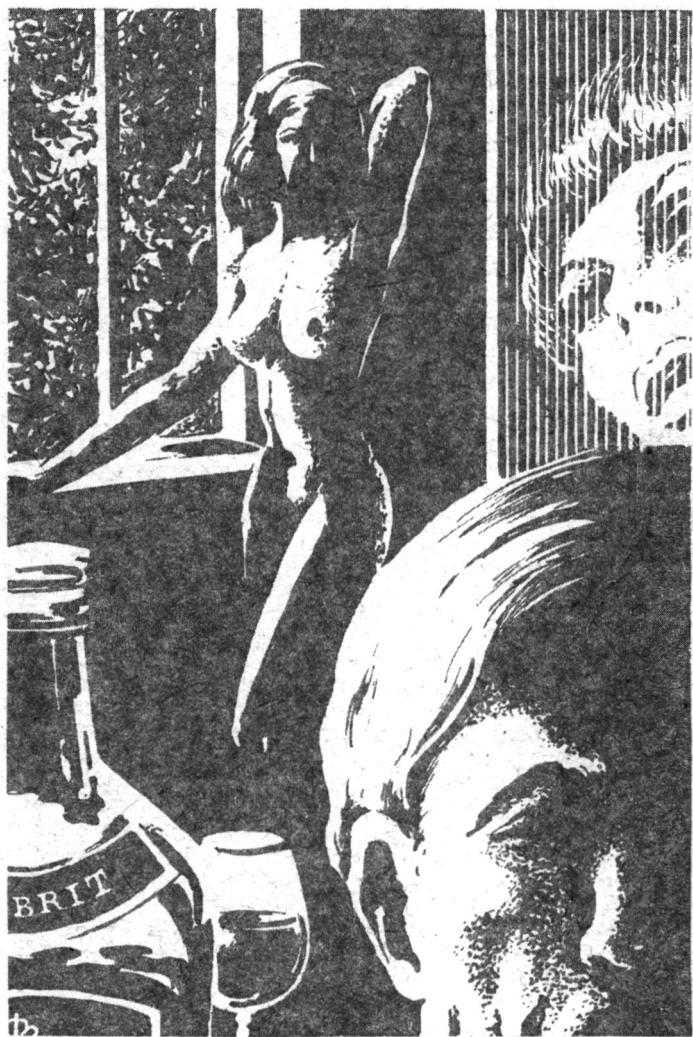
— Был, — угрюмо ответил я. — Не везде, конечно. — Я мог забраться в ракету прямо из лесной чащи. Меня охватило бешенство, но я заставил себя успокоиться, в конце концов она же не виновата.

— Вот видишь — разве ты знал, где протекает вода, прежде чем...

— Понимаю, не объясняй. Хорошо. Значит, это такая мера предосторожности? Очень странно.

— По-моему, ничего странного, — возразила Наис, — что у тебя там, такое белое, под одеждой?

— Рубашка.



— Что это такое?

— Ты не видела рубашек? Ну... белье. Нейлоновое. Я засучил рукав свитера и показал ей.

— Интересно, — сказала она.

— Такой обычай... — беспомощно проговорил я. Действительно, мне советовали в Адапте не одеваться так, как сто лет назад; я не послушался. Но я не мог не согласиться с Наис: брит был для меня тем же, что для нее рубашка. Никто ведь не заставлял людей носить рубашки, а тем не менее все носили. Видимо, с бритом было то же самое.

— Сколько времени действует брит? — спросил я.

Щеки Наис слегка порозовели.

— Как ты торопишься. Еще ничего не известно.

— Я ничего плохого не сказал, — извинился я, — я просто хотел знать, почему ты так смотришь? Что с тобой? Наис!

Девушка медленно поднялась. Встала за креслом.

— Сколько лет тому, сказал ты? Сто двадцать?

— Сто двадцать семь. И что из этого?

— А был ли... ты... бетризирован?

— А что это такое?

— Не был!?

— Я же не знаю, что это значит. Наис, да что с тобой? Я хотел подойти к ней. Она подняла руки.

— Не подходи! Нет! Нет! Умоляю!

Она отступала к стене.

— Ты же сама говорила, что брит... Ну, я сажусь. Сижу, видишь? Успокойся. Так в чем дело с этим бе... Как его там?

— Не знаю точно. Но... каждого бетризируют. Как только родится.

— А что это такое?

— Кажется, что-то вводят в кровь.

— Всем?

— Да. А... брит... не действует без этого. Не шевелись!

— Деточка, не смей меня

Я погасил сигарету.

— Я же не дикий зверь... Не сердись, но... мне кажется, что вы все немножко не в своем уме. Ваш брит... это же значит, что всем следует надеть наручники, а то вдруг

кто-то окажется воров. Можно же... немного доверять.

— Хорош же ты, — она немного успокоилась, но по-прежнему стояла. — Тогда почему же ты так возмущался, что я привожу в дом посторонних?

— Это совсем другое дело.

— Не вижу разницы. Тебя точно не бетризировали?

— Точно.

— А может, теперь? Когда ты вернулся?

— Не знаю, какие-то уколы делали. Разве это имеет значение?

— Имеет. Делали? Хорошо.

Она села.

— У меня к тебе просьба, — сказал я как можно спокойнее. — Ты должна мне объяснить...

— Что?

— Почему ты так испугалась? Ты боялась, что я на тебя брошусь? Или еще чего-нибудь? Это же чепуха!

— Нет. Если подумать, то ерунда, но все это очень сильно подействовало, понимаешь ли. Прямо шок. Я никогда не видела человека, которого не...

— Но ведь этого нельзя узнать.

— Можно. Еще как можно!

— Как?

Она молчала.

— Наис...

— Но я... мне...

— Что?

— Страшно...

— Сказать? Но почему?

— Ты бы понял, если бы я тебе сказала. Видишь ли, бетризуют не бритом. Брит — побочный эффект... Дело совсем в другом...

Она побледила. Губы ее дрожали. Что за мир, думал я, что за мир!

— Не могу. Я ужасно боюсь.

— Меня?

— Да.

— Клянусь тебе, что...

— Нет, нет, я тебе верю. да только... нет. Этого ты понять не в силах.

— И ты мне не скажешь?

В моем голосе прозвучало, видимо, нечто, заставившее ее перебороть себя. Лицо ее стало суровым. По ее глазам я видел, каких усилий все это ей стоило.

— Это затем, чтобы... не убивать.

— Не может быть! Человека?

— Никого...

— И животных?

— И животных. Никого...

Наис переплетала и расплетала пальцы, не сводя с меня глаз, — как будто этими словами спустила меня с невидимой цепи, как будто вложила мне в руки нож, который я мог в нее вонзить.

— Наис, — произнес я совсем тихо. — Наис, не бойся. Правда... тебе некого бояться.

Она попыталась улыбнуться.

— Слушай...

— Да?

— Когда я это сказала...

— Да?

— Ты ничего не почувствовал?

— А что я должен почувствовать?

— Представь, что ты делаешь то, о чем я тебе сказала...

— Что я убиваю? Мне надо представить себе это?

Наис содрогнулась.

— Да...

— Ну и что?

— И ничего не чувствуешь?

— Ничего. Но ведь я просто подумал, я вовсе не собираюсь...

— Но ты можешь? Да? Действительно можешь? Нет, — шепнула она почти беззвучно, словно самой себе, — тебя не бетризировали...

Только теперь до меня дошло, о чем идет речь, я понял, что даже просто мысль об этом была для нее потрясением.

— Это большое дело, — буркнул я. И, помолчав, добавил: — Но, может, было бы лучше, если бы люди отвыкли от этого... без искусственных средств...

— Не знаю. Может быть, — ответила Наис и перевела дыхание. — Теперь понимаешь, почему я испугалась?

— Правду говоря, не совсем. Кое-что, возможно, понимаю. Но не думала же ты, что я тебя...

— Какой ты странный! Прямо словно ты и не... — осеклась она.

— Словно я и не человек?

Наис часто-часто заморгала.

— Я не хотела тебя обидеть, но, видишь ли, если известно, что никто не может — знаешь ли — даже подумать об этом, никогда, — и вдруг появляется кто-то вроде тебя, то даже возможность... то, что он такой...

— Невероятно, чтобы все были — как это? а, бетризированы...

— Почему? Все, говорю тебе!

— Нет, не может быть, — упрямылся я. — А люди опасных профессий? Они ведь должны...

— Нет опасных профессий.

— Что ты говоришь, Наис? А пилоты? А разные спасатели? А те, что воюют с огнем, с водой...

— Таких нет, — сказала Наис. Мне показалось, что я ослышался.

— Что-о-о?

— Таких нет, — повторила она. — Это делают роботы.

Наступило молчание. Я подумал, что мне нелегко будет освоить новый мир. И вдруг мне в голову пришла удивительная мысль, — до этого я никогда не мог бы додуматься, если бы кто-нибудь представил мне такую ситуацию лишь как теоретическую возможность — уничтожить с помощью подобной процедуры убийцу в человеке, значит... искалечить его.

— Наис, — заговорил я, — уже очень поздно. Пожалуй, я пойду.

— Куда?

— Не знаю. Правда! На вокзале меня должен был встречать кто-то из Адапта. Я совсем забыл! Знаешь, я не смог его найти. Ну, тогда... поищу гостиницу. Наверное, они есть?

— Есть. Ты откуда?

— Из этого города. Здесь родился.

После этих слов вернулось ощущение нереальности всего, и я уже не был уверен, существовал ли город, живущий теперь лишь во мне, явь ли этот призрачный мир

с комнатами, в которые заглядывают головы исполинов; какое-то мгновение я думал, не нахожусь ли я на борту космического корабля и не снится ли мне еще один, особенно отчетливый кошмар о возвращении.

— Брегг, — донесся до меня словно издалека ее голос. Я вздрогнул. Я совершенно забыл о ней.

— Да... Слушаю?

— Останься.

— Что?

Наис молчала.

— Ты хочешь, чтобы я остался?

Молчание. Я подошел к ней, наклонясь над креслом, обнял ее холодные плечи, приподнял девушку. Она безвольно встала. Голова ее запрокинулась назад, блеснули зубы, я не хотел ее, я хотел только сказать ей: ты же боишься, — и чтобы она ответила: нет. И больше ничего. Глаза Наис были закрыты, сквозь ресницы вдруг показались белки, я склонился к ее лицу, заглянул в ее остекленевшие глаза, словно желая понять ее страх, разделить его. Наис вырывалась, задыхаясь, но я не чувствовал этого, только когда она застонала: нет! нет! — я разжал объятия. Наис чуть не упала. Она стояла у стены, заслоняя часть гигантского толстощекого лица, которое там, за стеклом, без остановки говорило что-то, слишком старательно шевеля огромными губами и толстым языком.

— Наис... — сказал я тихо, опустив руки.

— Не подходи!

— Ты же сама сказала...

Глаза у нее были безумные.

Я прошелся по комнате. Она не сводила с меня глаз, словно я был... словно она стояла в клетке...

— Я пойду, — заговорил я. Наис молчала. Я хотел что-нибудь добавить — пару слов извинений, благодарности, чтобы не уходить просто так, но не смог. Если бы она боялась меня, как женщина боится мужчину, чужого, пусть даже опасного, неизвестного — ну, что поделаешь. Но это было другое. Я взглянул на нее и почувствовал, что меня охватывает гнев. Схватить за эти белые обнаженные плечи, встряхнуть...

Я отвернулся и вышел; наружная дверь поддалась,

когда я толкнул ее, в большом коридоре было довольно темно. Я не знал, как выйти на террасу, но наткнулся на полные разреженного синеватого света цилиндры — шахты лифтов. Тот, к которому я подошел, уже поднимался ко мне; может, достаточно было ступить на порог. Опускался лифт долго. Попеременно виднелись пласты темноты и сечения сводов; белые, с красноватой серединой, как слои жира в мясе, они уходили вверх, я потерял им счет, лифт все опускался и опускался, это напоминало путешествие на дно, словно меня запустили внутрь стерильного канала и огромное, погруженное в сон и безопасность здание избавлялось от меня; часть прозрачного цилиндра открылась, я пошел куда глаза глядят.

Руки в карманах, темнота, твердый, широкий шаг, я жадно вдыхал холодный воздух, чувствуя, как у меня на вдохе раздуваются ноздри, как сердце размеренно работает, перегоняя кровь, огни моргали в низких щелях мостовой, заслоняемые беззвучными машинами, не было ни одного прохожего. Между черными силуэтами сияло зарево, я подумал, может, там гостиница. Но это был просто освещенный тротуар. Я поехал на нем. Надо мной проплывали белесые фермы каких-то конструкций, где-то далеко, над черными краями зданий, размеренно скользили буквы световых газет, неожиданно тротуар вынес меня в освещенное помещение и кончился.

Широкие ступени плыли вниз, серебрясь как застывший водопад. Меня удивляла пустота; с тех пор как я покинул Наис, мне не встретился ни один прохожий. Эскалатор был очень длинный. Внизу светилась широкая улица, по обеим сторонам в домах расположились пассажи, под деревом с голубыми листьями — но оно могло быть не настоящее — я увидел людей, направился к ним, но повернул назад. Они целовались. Я пошел на приглушенные звуки музыки, какой-то ночной ресторан или бар, ничем не отделенный от улицы. Там сидело несколько человек. Я хотел войти и спросить про гостиницу. Вдруг я налетел всем телом на невидимое препятствие. Это было стекло, абсолютно прозрачное. Вход был рядом. Внутри кто-то засмеялся, показал на меня другим. Я вошел. Мужчина в черном трикотажном костюме, даже немного похожем на мой свитер, но с очень пышным,

словно надувным, воротником, сидел боком у столика, со стаканом в руке, и смотрел на меня. Я остановился перед ним. Смех застыл у него на губах. Я стоял. Воцарилась тишина. Только музыка играла, как бы за стеной. Какая-то женщина странно, слабо вскрикнула, я обвел взглядом застывшие лица и вышел. Лишь на улице я вспомнил, что хотел спросить про гостиницу.

Я вошел в пассаж. Кругом витрины. Бюро путешествий, спорттовары, манекены в разных позах. Правда, витринами их вряд ли можно назвать — все стояло и лежало на улице, по обе стороны приподнятого тротуара, проходившего посередине. Несколько раз я принимал движущиеся в глубине фигуры за человеческие. Но они оказывались рекламными куклами, повторяющими без конца одно и то же движение. Одна — чуть ли не с меня ростом — с карикатурно раздутыми щеками, играла на флейте, — я рассматривал ее довольно долго. Кукла играла так хорошо, что мне хотелось заговорить с ней. Дальше были залы для каких-то игр, там вращались большие радужные колеса, свободно висящие под толчком серебряные трубки, звеня, как бубенчики, ударялись друг о друга, поблескивали призматические зеркала, но никого не было. В самом конце пассажа вспыхнула надпись: ТУТ ХА ХА ХА. Погасла. Я пошел туда. Снова засияло: ТУТ ХА ХА ХА. И пропало, словно кто-то дунул. При следующей вспышке я разглядел вход. Оттуда слышались голоса. Я прошел сквозь завесу теплого воздуха.

В глубине стояли два бесколесных авто, светило несколько ламп, под ними трое оживленно жестикулировали будто споря. Я подошел к ним.

— Алло, господа!

Они даже не оглянулись. Продолжали говорить, быстро, я их почти не понимал. «Ну, так сопн, ну, так сопн», — повторял визгливо низенький, с животиком, в высокой фуражке на голове.

— Господа, я ищу гостиницу. Где здесь...

Спорщики не обращали на меня внимание, словно я не существовал. Я пришел в бешенство и, уже ни слова не говоря, шагнул внутрь их кружка. Тот, что был ближе

всех, — я видел глуповатый блеск глазных белков и прыгающие губы, — зашепелявил:

— Шо мне сопеть? Сам сопн!

Казалось, что он говорит мне.

— Почему вы притворяетесь глухими? — спросил я, и вдруг с того места, где я стоял, — словно из меня, из моей груди, — раздался визгливый крик:

— Я тебе! Я тебе сейчас!

Я отскочил и увидел обладателя голоса, толстяка в фуражке. Я хотел схватить его за плечо, пальцы прошли насквозь и сомкнулись в воздухе. Я остолбенел, а они продолжали болтать; тут мне показалось, что сверху, из темноты над автомобилями кто-то на меня смотрит; приблизившись к границе света, я разглядел смутные пятна лиц, там наверху было что-то вроде балкона. Слепленный светом, я не мог детально рассмотреть его, но все же понял, какого дурака сваял. Я убежал, словно за мной гнались. Следующая улица шла в гору и заканчивалась у эскалатора. Подумав, что там, возможно, найду какой-нибудь Инфор, я стал подниматься на бледно-золотой движущейся лестнице. Я попал на круглую, не очень большую площадь. Посреди нее стояла колонна, высокая, прозрачная, как стекло, в ней танцевало что-то, пурпурные, коричневые, фиолетовые формы, ни на что не похожие, как ожившие скульптуры абстракционистов, но очень смешные. То один, то другой цвет сгущался, концентрировался, принимал комичнейшие очертания; сражение форм, хоть и безликих, безголовых, безруких, безногих выражало нечто человеческое, даже смешное. Вскоре я понял, что фиолетовый цвет — комик-буфф, самонадеянный, хвастливый и вместе с тем трусоватый; когда он рассыпался миллионом танцующих пузырьков, в дело вступал голубой цвет. Он был словно ангелочек, такой скромный, сосредоточенный, но чуточку ханжа, будто сам на себя молился. Не знаю, сколько времени я смотрел. Ничего подобного я ни разу в жизни не видел. Кроме меня, никого, — лишь движение черных автомобилей стало интенсивнее. Я не знал даже, есть ли там пассажиры, ведь машины были без оконшек. От круглой площади, пожалуй, на мили тонкая мозаика разноцветных огоньков намечала шесть улиц, од-

ни вели вверх, другие вниз. И ни одного Инфора. Я порядком устал, и не только физически, — я ощущал, что переполнен впечатлениями. Иногда я просто отключался, конечно, не засыпал на ходу; не помню, как и когда я попал на широкий проспект; задержавшись у перекрестка и подняв голову, я увидел на облаках городское зарево и удивился: я-то думал, что нахожусь под землей. Теперь я опять шел в море движущихся огней, витрин без стекла, среди жестикულიрующих, вертящихся, как белка в колесе, без усталости повторяющих акробатические трюки манекенов; манекены подавали друг другу что-то блестящее, что-то надували, — но я даже не смотрел в их сторону. Вдали от меня шли несколько человек, но я не мог поручиться, что это не куклы, а догонять их мне не хотелось. Дома расступились, стала видна большая надпись: ПАРК ТЕРМИНАЛ и светящаяся зеленая стрелка.

Эскалатор начинался в проходе между домами, сразу же попадал в тоннель — серебряный, с золотым пульсом в стенах, казалось под ртутной пленкой стен действительно тек благородный металл; я ощутил горячее дуновение, все погасло, я стоял в стеклянном павильоне. Он был в форме раковины, складчатый свод тлел еле заметным зеленым светом тончайших прожилок, словно люминесцировал один увеличенный трепещущий лист; со всех сторон были двери, за ними — темнота и мелкие, скользящие вдоль дороги буковки: ПАРК ТЕРМИНАЛ, ПАРК ТЕРМИНАЛ.

Я пошел туда. Действительно, парк. Протяжно шумели деревья, невидимые во тьме, ветра я не чувствовал, наверное, дул верховой. Шелест листвы, мерный, торжественный, окружал меня незримым сводом. Впервые возникло чувство одиночества, приятное чувство, не такое, как в толпе. В парке, очевидно, было немало людей, я слышал шепот, иногда неясно белело чье-то лицо, один раз я даже чуть не задел кого-то. Кроны деревьев смыкались, звезды виднелись только в их просветах. Мне вспомнилось, что к парку я поднимался вверх, а ведь там, на площади с пляшущими красками и улицах с витринами надо мной было небо, кстати, хмурое; как же могло случиться, что здесь, на один ярус выше, я вижу небо, к тому же звездное. Я ничего не мог понять.

Деревья расступились, я еще не увидел озера, но уже уловил запах воды и ила, благоухание прелой травы, намокших листьев; я замер.

Заросли черным крутом опоясывали озеро. Шуршали камыши и тростник — а вдали, с другой стороны, вздымался — одиноким колоссом — массив стеклянисто сверкавших скал, полупрозрачная гора над равнинами ночи, призрачное сияние, бледное, голубоватое, изливали отвесные обрывы; бастионы на бастионах, хрустальные зубцы стен, пропасти — и отражение сияющего исполина в черных водах озера. Я стоял, ошеломленный и восхищенный, ветер приносил совсем слабые, прерывающиеся отголоски музыки; напрягая зрение, я разглядел гигантские этажи и горизонтальные террасы, и вдруг меня осенило: да ведь я второй раз вижу вокзал, исполинский Терминал, где я блуждал днем, и, может быть, смотрю со дна темной пропасти, так меня поразившей, на то место, где встретил Наис.

Была ли это еще архитектура или уже возведение гор? Они, очевидно, поняли, что, выходя за определенные границы, надо отказаться от симметрии, от правильных форм и учиться у самого великого, — понятливые ученики планеты!

Я обошел озеро. Колосс словно вел меня своим неподвижно светящимся взлетом. Да, нужна была отвага задумать такие очертания, придать им жесткость пропастей, беспощадность и неприглаженность обрывов и пиков, не ударяясь в механическое копирование, ничего не упустить, не фальсифицировать. Я вернулся к стене деревьев. Бледная, возносившаяся в черное небо голубизна Терминала еще просвечивала сквозь ветви, потом погасла, исчезла за чащей. Я раздвигал руками гибкие ветви, шипы ловили меня за свитер, цеплялись за брюки, роса сверху дождем падала мне на лицо, я положил в рот пару листиков, пожевал, они были молодые, горькие; впервые после возвращения я испытал такое: я уже ничего не хотел искать, ни в чем не нуждался, достаточно было идти в темноте, в шелесте лесной чащи, вслепую, прямо вперед. Так ли я себе все это представлял долгие десять лет?

Кусты расступились. Извилистая аллея. Мелкий

гравий хрустел под ногами, слабо светился, я предпочел бы темноту, но шел дальше, прямо туда, где у каменного круга виднелась человеческая фигура. Не знаю, откуда брался свет, заливавший ее, людей не было, вокруг какие-то лавочки, креслица, перевернутый столик, песок, сыпучий и глубокий, я ощущал, как ноги погружаются в него и какой он теплый, несмотря на ночную прохладу.

Под сводом, покоившемся на потрескавшихся, крошащихся колоннах, стояла женщина и, казалось, ждала меня. Я уже видел ее лицо, переливающиеся искорки в алмазных пластинках, закрывавших ее уши, белое, серебрившееся в тени платье. Невозможно! Сон? До нее оставалось несколько десятков шагов, и тут она запела. Среди невидимых деревьев голос ее звучал слабо, почти по-детски, слов я не понимал, да может, их и не было, — рот ее был полукруглым, словно она пила, на лице никакого напряжения, — только самозабвение, будто она видела нечто незримое и именно о нем пела. Боясь, как бы она не заметила меня, я шел все медленнее. На меня уже падало сияние, окружавшее каменный круг. Голос ее окреп, она звала темноту, заклинала ее, стоя неподвижно, уронив руки, словно забыв, что они есть у нее, словно у нее не осталось ничего, кроме голоса, за которым шла и в котором растворялась; казалось, она освобождалась от всего, и отдавала все, и прощалась, зная, что с последним, замирающим звуком закончится не только пение. Я не представлял, что такое возможно. Женщина умолкла, а я еще слышал ее голос, вдруг за мной застучали легкие шаги, какая-то девушка бежала к стоявшей, кто-то ее догонял, с коротким горловым смехом она промчалась по ступенькам, пробежала сквозь певичу и понеслась дальше, догонявший девушку мелькнул темным силуэтом прямо рядом со мной; они исчезли, я во второй раз услышал манящий смех девушки. Я стоял, как вкопанный, не зная, плакать или смеяться; несуществующая певича начала что-то тихонько напевать. Слушать я не захотел. С окаменевшим лицом ушел я в темноту, словно ребенок, которому объяснили, что сказка — ложь. Все это было профанацией. Я шел, а голос преследовал меня. Я свернул, аллея вела дальше, я увидел слабый блеск живых изгородей, листья мокрыми фестона-

ми нависли над металлической калиткой. Я открыл ее. Там, казалось, было чуть светлее. Живая изгородь заканчивалась широким вольером, из травы торчали валуны, один шевельнулся, выпрос, я заглянул в два бледных огонька глаз. И замер. Это был лев. Он встал, тяжело поднявшись, сначала на передние лапы, он был теперь в пяти шагах от меня, я отчетливо видел его редкую, спутанную гриву, он потянулся, раз, другой, под шкурой медленно перекачивались мускулы, лев бесшумно подошел ко мне. Я уже успокоился.

— Ну, ну, не пугай, — сказал я.

Лев не мог быть настоящим — фантом, вроде той певички, вроде тех, там, внизу, возле черных автомобилей, — лев зевнул, в шаге от меня, в темной бездне сверкнули клыки, пасть закрылась с лязгом железного засова, я ощутил зловонное дыхание, что...

Он фыркнул. В меня попали брызги его слюны. Я испугаться-то не успел, а он ткнулся огромной головой мне в бедро и с урчанием стал тереться об меня, в груди у меня по-идиотски защекотало...

Зверь подставлял мне горло, обвисшую тяжелую шкуру. В полуобморочном состоянии я стал почесывать, трепать его, он урчал все громче, за ним блеснула вторая пара глаз, второй лев, нет, львица, толкнула его боком. В глотке у него загремело, так он громко мурлыкал, а не рычал. Львица наступала. Лев ударил ее лапой. Она в ярости фыркнула.

Это может плохо кончиться, подумал я. Оружия у меня нет, а львы ведь настоящие, живые, живее и не придумаешь. Я стоял в удушливом смраде их тел. Львица все фыркала; вдруг лев вырвал свои жесткие патлы у меня из рук, повернул к ней огромную голову и загремел; львица, распластавшись, припала к земле.

— Мне уже пора, — беззвучно, одними губами произнес я и стал медленно пятиться к калитке, минута была не из приятных, но лев, кажется, вообще меня уже не замечал. Он тяжело улегся и опять стал напоминать продолговатый валун, львица стояла над ним, толкая его мордой.

Закрыв за собой калитку, я еле удержался, чтобы не броситься бежать. Ноги подо мной подгибались, в горле

пересохло, а покашливание вдруг перешло в дикий смех, я вспомнил, как говорил льву: «Ну, ну не пугай!..», убежденный, что он всего лишь обман зрения...

Кроны деревьев четче вырисовывались на небе; светало. Меня это радовало, ведь я не знал, как выбраться из почти опустевшего парка. Пройдя мимо каменного круга, где мне прежде явилась певича, я наткнулся в следующей аллейке на робота, подстригавшего газон. О гостинице он ничего не знал, но объяснил мне, как дойти до ближайшего эскалатора. Я спустился вниз, видимо, на несколько ярусов, и, выйдя на улицу нижнего уровня, изумился, снова увидев над собой небо. Но и способность удивляться у меня почти иссякла. Все, хватит. Некоторое время я шел, потом, помнится, сидел у фонтана, а может, это был не фонтан, потом шел дальше при все более ярком свете нового дня, пока не очнулся прямо перед большими сияющими стеклами с огненными буквами: **ОТЕЛЬ АЛЬКАРОН.**

В белом вестибюле, напоминающем перевернутую ванну великана, сидел красиво стилизованный, полупрозрачный робот с длинными тонкими руками. Ни о чем не спрашивая, он подал мне книгу, я записался в нее и с маленьким треугольным значком поехал наверх. Кто-то — право, не знаю, кто, — помог мне открыть дверь, точнее, открыл за меня. Стены изо льда; в них — круженье огоньков, под окном, когда я подошел к нему, вдруг откуда-то выскочило креслице, подошло ко мне, сверху уже опускалась плоскость, образуя нечто вроде столика, но мне нужна была кровать. Найти ее я не мог, впрочем, и не пытался. Улегся на упругий пенопластовый ковер и тут же заснул. В комнате не было окон, она освещалась искусственно. Сначала, правда, я принял за окно телевизор. Я погружался в беспмятство, сквозь сон сознавая, что оттуда, из-за стекла, чье-то огромное лицо гримасничает мне, задумывается надо мной, смеется, болтает, ворчит... Меня освободил сон, подобный смерти; даже время в нем остановилось.

II

Я дотронулся, еще с закрытыми глазами, до груди, на мне был свитер; раз я спал не раздеваясь, значит, была моя вахта; Олаф! — хотел позвать я и вдруг сел.

Это была гостиница, а не «Прометей». Я вспомнил все: лабиринты вокзала, девушку, посвящение в тайну, ее страх, голубую скалу Терминала над черным озером, певцу, львов...

В поисках ванной комнаты я случайно нашел кровать, она помещалась в стене и, если что-то там нажать, опускалась перламутровым пухлым квадратом. В ванной комнате не было ни ванны, ни кранов — ничего, кроме блестящих плиток в потолке и небольшого углубления для ног, выложенного губчатым пластиком. На душ, по-моему, тоже не походило. Я почувствовал себя неандертальцем. Быстро разделся и остался с вещами в руках — вешалок не было, зато в стене — маленький шкафчик, туда я все и кинул. Рядом — три кнопки: голубая, красная и белая. Нажал белую. Погас свет. Красную. Зашумело, но это была не вода, а сильный, дохнувший озоном и еще чем-то вихрь; он овеял всего меня, на коже оседали частые, блестящие капли и шипя улетучивались, я даже не чувствовал влаги, а ощущал мириады мягких электрических иголок, массировавших мышцы. Я попробовал нажать голубую кнопку, и вихрь изменился — теперь он как бы пронизывал меня, очень странное ощущение. Я подумал: если привыкнуть, то же будет приятно. В Адапте на Луне такого не было — там были обычные ванные комнаты. Не знаю, почему. Кровь живее бежала по жилам, чувствовал я себя замечательно, не знал только, чем и как почистить зубы. В конце концов решил их не чистить. В стене были еще одни дверцы с надписью: «Купальные халаты». Я заглянул внутрь. Никаких халатов, три металлических бутылки, немного похожих на сифоны. Но я и так совсем обсох и не собирался вытираться.

Я открыл шкафчик, куда убрал одежду, и остолбенел: он был пуст. Хорошо, что хоть плавки я положил сверху на шкафчик. Вернувшись в плавках в комнату, я стал искать телефон, чтобы узнать, куда исчезла моя

одежда. Поиск — утомительное дело. Телефон я в конце концов обнаружил у окна, — как я мысленно продолжал называть телеэкран, — телефон выскочил из стены, когда я стал громко ругаться; видимо, он реагировал на голос. Идиотская мания все прятать в стены. Отозвалась администрация. Я спросил про одежду.

— Вы вложили ее в чист, — сказал мягкий баритон. — Она будет через пять минут.

И то хорошо! — подумал я, усаживаясь у письменного стола, плоскость которого усердно подвинулась мне под локти, едва я наклонился. Как это делалось? Не надо интересоваться такими вещами; большинство людей пользуется достижениями своей цивилизации, не разбираясь в них.

Я сидел голышом, в плавках, и взвешивал различные возможности. Я мог пойти в Адапт. Если бы мне надо было ознакомиться лишь с техникой и обычаями, я бы долго не размышлял, но еще на Луне я заметил, что одновременно мне стараются прививать определенный подход, даже определенную оценку явлений, то есть представляют мне готовую шкалу ценностей, а если их не принимаешь, то объясняют это неприятие — и вообще все — консерватизмом, подсознательным сопротивлением, рутиной старых навыков и так далее. Я вовсе не собирался отказываться от таких навыков и сопротивления, пока не приду к убеждению, что мне преподносят нечто лучшее, а уроки минувшей ночи ничуть не поколебали моего решения. Мне не хотелось, чтобы меня школили, приспособляли к жизни, а во всяком случае — так любезно и в таком объеме. Интересно, почему меня не подвергли этой их бетризации. Надо будет узнать.

Я мог бы отыскать кого-нибудь из своих; Олафа, например. Но тогда я бы нарушил рекомендации Адапта. О нет, там ничего не приказывали, все время повторяли, что действуют в моих интересах, я могу делать все, что хочу, даже перескочить с Луны прямо на Землю (это — остроумный доктор Абс), если мне уж так не терпится. Я не боялся Адапта, но Олафу это могло не понравиться. Но все же я решил написать ему. Адрес у меня был.

Работа. Искать работу? Какую? Пилота? И что же,

придется летать курсом Марс — Земля — Марс? Это я умел, но...

Вдруг я вспомнил, что у меня есть деньги. Собственно говоря, это были не деньги, они назывались как-то иначе, но я не понимал, в чем разница, если за них можно было все получить. Я попросил соединить меня с городом. В трубке пульсировало далекое пение. На телефонном аппарате не было ни цифр, ни диска, может, требовалось произнести название банка? Оно было записано на листке, а листок остался в одежде. Я заглянул в ванную; одежда уже лежала в шкафчике и выглядела свежеевыстиранной; все мои мелочи и тот листок лежали в карманах.

Банк не был банком. Он назывался Омнилокс. Я произнес название, и тут же, словно он только и ждал моих слов, откликнулся грубый голос:

— Омнилокс слушает.

— Меня зовут Брегг, — сказал я. — Гэл Брегг. Кажется, у вас открыт на мое имя счет... Хотелось бы знать, сколько там.

Что-то щелкнуло, и другой голос, повыше, переспросил:

— Гэл Брегг?

— Да.

— Кто открыл счет?

— Косплав — Космическое Плавание, по поручению Планетологического института и Космической Комиссии ООН, но это было сто двадцать семь лет тому назад...

— У вас есть какое-нибудь удостоверение?

— Ничего, кроме записки из Адапта на Луне от директора Освамма...

— Все в порядке. У вас на счету двадцать шесть тысяч четыреста семь итов.

— Итов?

— Да. Что вам еще угодно?

— Я хотел бы взять немного де..., то есть итов.

— В какой форме? Не угодно ли кальстер?

— Что это такое? Чековая книжка?

— Нет. Вы сможете платить сразу наличными.

— Да? Хорошо.

— На какую сумму открыть вам кальстер?

— Не знаю... Тысяч на пять...
— Пять тысяч. Хорошо. Прислать в гостиницу?
— Да. Минуточку — я забыл, как она называется.
— Вы будете в другой гостинице?
— Нет, в этой.
— «Алькарон». Мы вышлем вам сейчас же. Только одно: ваша правая рука не изменилась?
— Нет... А что?
— Ничего. Иначе нам пришлось бы менять кальстер. Сейчас вы его получите.
— Спасибо. — Я положил трубку. Двадцать шесть тысяч, много ли это? Я понятия не имел. Что-то замурлыкало. Радио? Телефон. Я поднял трубку.
— Брегг?
— Да, — сказал я. Сердце стукнуло сильнее, только один раз. Я узнал ее голос. — Как ты узнала, где я? — спросил я, потому что она не сразу откликнулась.
— В Инфоре. Брегг... Гэл... слушай, я хотела тебе объяснить...
— Ничего не надо объяснять, Наис.
— Ты сердисься. Но пойми...
— Я не сержусь.
— Гэл, правда. Приходи ко мне сегодня. Придешь?
— Нет, Наис. Скажи, пожалуйста, сколько это — двадцать с чем-то тысяч итов?
— Как сколько? Гэл... ты должен прийти.
— Ну... сколько времени можно на них прожить?
— Сколько хочешь, ведь живешь бесплатно. Но сейчас не об этом. Гэл, если ты захочешь...
— Подожди. Сколько итов ты тратишь в месяц?
— По-разному. Иногда двадцать, иногда пять или вообще нисколько.
— А-а-а. Спасибо.
— Гэл! Послушай!
— Слушаю.
— Не нужно такого конца...
— Нет никакого конца, — сказал я, — потому что не было никакого начала. Спасибо тебе за все, Наис.
Я положил трубку. Что такое: жить бесплатно? Вот что меня интересовало в данный момент больше всего.

Значит ли это, что есть какие-то вещи, какие-то услуги задаром?

Опять замурылкал телефон.

— Брегг слушает.

— Администрация. Господин Брегг, Омнилокс прислал ваш кальстер. Отправляю его наверх.

— Спасибо. Алло!

— Нужно ли платить за номер?

— Нет. К вашим услугам.

— Совсем ничего?

— Совсем ничего. К вашим услугам.

— А есть ли в гостинице... ресторан?

— Да, четыре ресторана. Вам угодно завтрак в номер?

— Хорошо. А... за еду я должен платить?

— Нет. К вашим услугам. Кальстер уже у вас. Сию минуту будет завтрак.

Робот отключился, и я не успел спросить, где искать этот самый кальстер. Встав из-за письменного стола, — он, покинутый, тут же уменьшился и увял, — я увидел нечто вроде пюпитра, выраставшего возле двери, из стены; там лежал, обернутый в прозрачный пластик, плоский предмет, похожий на маленький портсигар. С одной стороны был ряд окошечек, в них виднелась цифра 1100, 1000. Внизу — две крошечных кнопочки, единица и ноль. Растерявшись, я смотрел на них, пока вдруг не понял, что сумма 5000 занесена на счет по двоичной системе. Я нажал на единицу, и на мою ладонь выпал маленький пластмассовый треугольник с цифрой 1. Значит, это было печатное или штампованное устройство, изготавливающее деньги на сумму, указанную в окошечках, — цифра наверху уменьшилась на единицу.

Одевшись и уже собиравшись уходить, я вспомнил про Адапт. Протелефонировав, объяснил, что не смог найти их человека в Терминале.

— Мы уже беспокоились о вас, — произнес женский голос, — но утром узнали, что вы поселились в Алькароне...

Они узнали, где я! Почему же не отыскиали меня на вокзале? Конечно, нарочно: я должен был заблудиться, чтобы осознать, сколь неуместен был мой «бунт» на Луне.

— У вас отличная информация, — любезно ответил

я. — Пока что я осматриваю город. К вам прибуду позже.

Я вышел из комнаты; коридоры, серебряные и движущиеся, скользили вместе со стенами, — это было для меня новостью. Я спустился на эскалаторе, минуя на очередных этажах бары, один — зеленый, словно погруженный в воду, на каждом ярусе преобладал какой-нибудь один цвет; серебряный, золотой, мне это уже надоело до смерти. Но ведь прошел один день! А им нравится. Забавно! Странные вкусы. Я вспомнил ночной вид на Терминал.

Нужно немножко привести себя в порядок, решил я, выходя на улицу. День был облачный, но облака — светлые, высокие, сквозь них иногда проглядывало солнце. Только теперь я увидел — с бульвара, посреди которого тянулся двойной ряд огромных пальм с розовыми, как языки, листьями — панораму города. Здания стояли отдельными островами, кое-где в небо упирались острокопечные башни, такие застывшие извращения строительного материала неправдоподобной высоты. Наверняка они насчитывали несколько километров. Я знал, — кто-то говорил мне еще на Луне, — что теперь таких уже не строят и стремление ввысь умерло естественной смертью сразу же после их сооружения. Они были просто памятником архитектурной эпохи, ведь, кроме высоты, смягчаемой лишь их стройностью, они ничем не радовали взор. Они походили на темно-коричнево-золотые, белочерные, в поперечную полоску или серебряные трубы, которые должны были не то подпирать, не то ловить лучи, а установленные на них посадочные площадки на фоне неба напоминали этажерки.

Несравненно приятнее выглядели новые дома, без окон, с разукрашенными стенами. Здесь город казался гигантской художественной выставкой, смотром мастеров цвета и формы. Не могу сказать, что мне нравилось все, украшавшее эти двадцати- и тридцатипятиэтажные сооружения, но мое восприятие, вкус стопятидесятилетнего зрителя, не было таким уж консервативным. Особенно мне понравились дома, разделенные пополам садами (а может, оранжереями с пальмами) таким образом, что здание было посередине разрезано и как бы подвешено на воздушной подушке (стены высотных зимних садов были стеклянные), приятные своей нечеткостью полосы

буйной зелени пересекали строение, создавая впечатление легкости.

По бульварам, вдоль рядов тех мясистых пальм, которые мне очень не нравились, двигались два потока черных автомобилей. Я уже знал, что они называются глайдеры. Над домами появлялись летающие машины — не вертолеты и не самолеты, — машины, похожие на очиненные с обоих концов карандаши.

На тротуарах было немного народу, гораздо меньше, чем сто лет назад. Движение стало значительно менее интенсивным, особенно пешеходное, вероятно, благодаря множеству уровней, ведь под городом, который я видел, простирались его другие, нижние, подземные этажи с улицами, площадями, магазинами, — только что Инфор на углу сообщил мне: покупки лучше всего делать на уровне Сереан. Инфор был просто гениальный, а может, я немного подучился объясняться, во всяком случае Инфор дал мне пластиковую книжечку с четырьмя раскладными страничками, где были схемы маршрутов городского транспорта. Когда я хотел куда-нибудь попасть, я касался напечатанного серебром названия и на плане загорались линии всех нужных мне средств сообщения. Я мог поехать на глайдере. Или на расте. И наконец — идти пешком; поэтому и были четыре карты. Однако я понял уже, что пешеходные путешествия (даже по передвижным тротуарам и эскалаторам) отнимают подчас очень много времени.

Сереан был вроде бы на третьем уровне. И опять вид города поразил меня: выйдя из туннеля, я попал не в подземелье, а на улицу под небом, залитую солнцем, посреди площади росли высокие пинии, вдали голубели полосатые «остроконечники», а на противоположной стороне, за маленьким бассейном, в котором плескались дети, разъезжая по воде на разноцветных велосипедках, стояло пересеченное полосами зеленых пальм белое многоэтажное здание с преувеличительным, блестящим, как стекло, колпаком наверху. Жаль, не у кого было объяснить эту загадку. Но тут я вспомнил, — а точнее, мне напомнил желудок, — что остался без завтрака, совсем упустив из виду, что завтракать я должен был в номере

гостиницы и не дождался. Может быть, робот из администрации что-нибудь напутал.

Значит, нужно обратиться к Инфору; теперь я ничего не делал, не разузнав сперва поподробнее, что и как; кстати, Инфор мог и глайдер заказать, но попросить об этом я пока не решался, ибо не знал, как в него сесть и что потом делать; время у меня еще было.

В ресторане, едва бросив взгляд на меню, я убедился, что оно для меня — китайская грамота, и твердо потребовал подать завтрак: обычный завтрак.

— Озот, кресс, черма?

Если бы официант был человеком, я сказал бы, что-бы он принес то, что предпочитает сам, но он был роботом. Ему было все равно.

— А кофе нет? — забеспокоился я.

— Есть. Кресс, озот, черма?

— Кофе и... как его, ну, что лучше всего с кофе, этот... э-э-э...

— Озот, — заключил он и ушел.

Фокус удался.

Видно, у него все уже было приготовлено, потому что он тотчас же вернулся с подносом, таким полным, что я готов был заподозрить какой-то обман или розыгрыш. Но вид этого подноса заставил меня ощутить со всей остротой, что, кроме вчерашнего бонса и кружки пресловутого брита, у меня с самого приезда во рту не было ни крошки.

Знаком мне с виду был лишь кофе, напоминавший хорошо прокипяченную смолу. Сливки в голубую крапинку наверняка не из коровьего молока. Жаль, что я не мог подсмотреть, как все это едят, но время завтрака, видимо, уже прошло, я был один. Серповидные тарелочки с дымящейся массой, из которой торчали какие-то палочки, в середине нечто вроде печеного яблока; конечно, не яблоко и не спички, а то, что я принял за овсянку, стало подниматься, едва я коснулся кушанья ложечкой. Я съел все, оказывается, я был невероятно голоден. О хлебе (которого не было и следа) я вспомнил с сожалением только потом, когда робот появился, ожидая в некотором отдалении.

— Сколько я должен? — спросил я его.

— Спасибо, несколько, — ответил робот, похожий на какой-то механизм. У него был один хрустальный круглый глаз. В глубине что-то двигалось, но заглянуть туда я не решился. Даже на чай дать некому. Неизвестно, поймет ли он меня, если попросить газету. Может, их уже нет. И я отправился за покупками. Но первым мне попало бюро путешествий. Меня осенило. Я вошел внутрь.

В большом зале, серебряном с изумрудными консолями (меня от этих красок уже с души воротило), было почти пусто. Матовые оконные стекла, огромные цветные фотоснимки каньона Колорадо, кратеров Архимеда, круга Деймоса, Палм-Бич, Флориды, — сделано все так, что смотрящий видел глубину, даже морские волны двигались, словно это не фотографии, а открытые окна, выходящие на реальную местность. Я подошел к окошечку с надписью: ЗЕМЛЯ.

Там, конечно, сидел робот. На сей раз — золотой. А точнее, припудренный золотом.

— Чем можем вам служить? — спросил он глубоким голосом. С закрытыми глазами я поклялся бы, что говорит немолодой грузный мужчина.

— Мне хотелось бы чего-нибудь примитивного, — сказал я. — Я только что возвратился из далекого путешествия — из очень далекого. Чрезмерного комфорта не нужно. Покой, вода, деревья, возможно, горы. Примитив, старина. Как сто лет назад. Найдется что-нибудь такое?

— Если вам так угодно, должно найтись. Скалистые горы, форт Плумм. Майорка. Антильские острова.

— Поближе, — сказал я. — Так... в радиусе тысячи километров. Как?

— Клавестра.

— Где это?

Я уже заметил, что с роботами разговоры мне отлично удаются, поскольку те абсолютно ничему не удивляются. Не могут. Весьма разумно придумано.

— Старый горняцкий поселок у Тихого океана. Копи не разрабатываются почти четыреста лет. Интересные экскурсии по штрекам. Удобное сообщение ульдерами и глайдерами. Дома отдыха с врачебной помощью, виллы внаем с садами, бассейны, климатическая стабилиза-

ция, местный отдел нашего бюро организует всякого рода развлечения, экскурсии, игры, вечера. На месте имеется реал, мут и стереон.

— Да, это могло бы мне подойти, — сказала я. — Вилла с садом. И чтобы была вода. Бассейн, да?

— Естественно. Бассейн с трамплинами, есть также искусственные озера с подводными гротами, отличная база подводного плавания, подводные представления...

— Представления меня не интересуют. Сколько это стоит?

— Сто двадцать итов в месяц. А если с кем-нибудь вместе, то всего сорок.

— Вместе?

— Виллы весьма просторны, позволю заметить. От двенадцати до восемнадцати помещений. Автоматическое обслуживание, своя кухня, местная или экзотическая, — на выбор.

— Так. Может, действительно... Хорошо, меня зовут Брегг. Я согласен. Как называется местность? Клавестра? Платить сразу?

— Как вам угодно.

Я подал кальстер.

Оказалось (о чем я не знал), что включить его могу только я, но и этой моей неосведомленности робот не удивился. Мне все больше нравились роботы. Он показал мне, как сделать, чтобы из кальстера выпал только один жетон с нужной цифрой. Настолько же уменьшится цифра в окошечках наверху, показывающая, сколько осталось на моем счету.

— Когда я смогу туда поехать?

— Когда вам угодно. В любой момент.

— Одну минутку — а с кем я должен делить виллу?

— Маджеры. Он и она.

— Можно узнать, кто они такие?

— Могу сказать только, что это молодые супруги.

— Гм. А я им не помешаю?

— Нет, раз полвиллы сдается, целый этаж будет исключительно в вашем распоряжении.

— Хорошо. Как мне туда добраться?

— Лучше всего на ульдере.

— Как это сделать?

— Подам вам ульдер в тот день и час, который вы назначите.

— Я позвоню из гостиницы. Можно?

— Пожалуйста. Плата будет начисляться с момента вашего приезда на виллу.

Когда я вышел, у меня уже вырисовывался план. Накуплю книжек и немного спортивных принадлежностей. Но самое важное все-таки книги. Нужно выписать кое-какие специальные журналы. По социологии, по физике. Несомненно они сделали множество вещей за сто с лишним лет. Да, надо и одежду какую-нибудь купить.

Но мои планы опять были спутаны. За углом, не веря собственным глазам, я увидел автомобиль. Настоящий автомобиль. Может, не совсем такой, какие помнил я, — кузов был смоделирован из одних острых углов. И все-таки это был настоящий автомобиль, с пневматическими шинами, дверцами, рулем, — за ним стояли другие. За большой витриной; на ней крупными буквами: АНТИ-КВАРИАТ. Я вошел внутрь. Владелец — или продавец — был человеком. Жаль, подумал я.

— Можно ли купить автомобиль?

— Конечно. Какой вы хотите?

— А сколько они стоят?

— От четырехсот до восьмисот итов.

Ничего себе, подумал я. Впрочем, за древности надо платить.

— А можно ли в нем ездить?

— Разумеется. Не всюду, правда, есть местные запреты, но вообще-то можно.

— А как с горючим? — спросил я осторожно, ибо понятия не имел, что скрывается под капотом.

— С этим трудностей не будет. Одной заправки хватит на всю жизнь автомобиля. Включая, естественно, парастаты.

— Хорошо, — сказал я — Я хотел бы покрепче, прочнее. Не обязательно большой, но скоростной.

— Тогда я посоветовал бы вам вот этот джабиле или вон ту модель...

Продавец повел меня в глубину большого зала, вдоль машин, сверкавших как новенькие.

— Разумеется, — продолжал продавец, — с глайдера-

ми померяться они не могут, но ведь автомобиль сегодня не средство сообщения...

А что он такое? — хотел я спросить, но промолчал.

— Хорошо... Сколько стоит эта машина? — показал я на бледно-голубой лимузин с глубоко посаженными серебряными рефлекторами.

— Четыреста восемьдесят итов.

— Но я хотел бы пользоваться им в Клавестере, — заметил я. — у меня там снята вилла. Точный адрес может дать бюро путешествий, здесь, на этой улице...

— Отлично. Можно отправить ульдером, это ничего не будет стоить.

— Ах так? Я должен ехать туда на ульдере...

— Прошу вас в таком случае сообщить только дату, доставим в ваш ульдер, это будет проще всего. Разве что вам будет угодно...

— Нет, нет. Можно и так, как вы говорите.

Я заплатил за автомобиль — с кальстером у меня получалось уже совсем неплохо — и покинул антиквариат, пропитанный запахом лака и резины. Запах этот показался мне изумительным.

С одеждой получилось совсем плохо. Почти ничего из того, что я знал, не существовало. Кстати, выяснилась тайна загадочных бутылочек в гостиничном шкафчике с надписью «Купальные халаты». Не только такой халат, но и одежда, чулки, свитеры, белье — все распылялось из бутылочек. Понятно, женщинам это должно было очень нравиться: действуя полудесятком или даже дюжиной бутылочек, извергающих жидкость, тут же застывающую в ткани гладкой или шероховатой структуры, вроде бархата, меха или эластичного металла, можно было каждый раз создавать новый роскошный наряд, только на один выход. Конечно, не каждая женщина сама делала это, были специальные салоны пластирования (вот чем занималась Наис!), но проистекавшая из такого занятия облегающая мода не очень мне подходила. И вообще мне показалось слишком неудобно одеваться с помощью бутылочек-распылителей. Было немного готовых вещей, но те мне негодились; самые большие оказывались малы размера на четыре. В конце концов я решил обзавестись бельем в бутылочках, видя,

что моя рубашка долго не выдержит. Я мог, конечно, забрать свои вещи с «Прометей», но и там не было костюмов и белых рубашек: в окрестностях созвездия Фомальгаут они ни к чему. Я взял еще несколько пар штанов из ткани вроде тика, для работы в саду, лишь у них были довольно широкие штанины, и их можно было отпустить. За все вместе я заплатил один ит — столько стоили штаны. Остальное — даром. Распорядившись прислать отобранные вещи в гостиницу, я поддался уговорам и посетил салон моды, просто из любопытства. Меня принял тип с миной художника-живописца, сначала осмотрел меня, согласился, что мне следует носить скорее свободные вещи; заметно было, что я ему не очень понравился. Он мне тоже. Дело кончилось несколькими свитерами, которые он сделал тут же, при мне. Я стоял, подняв руки, а он лихорадочно работал, действуя около меня сразу четырьмя распылителями. Жидкость, пенившаяся в воздухе, застывала почти моментально. Из нее получились свитеры разных цветов, один — черный, с красной полосой на груди; самое трудное, как я заметил, — отделка воротника и рукавов. Тут действительно требовалось большое умение.

Потом я очутился на улице, под ярким солнцем полудня. Глайдеров было немного меньше, зато над крышами — множество сигарообразных машин. Толпы текли по эскалаторам на нижние ярусы, все торопились, только у меня было время. Я погрелся часок на солнышке под рододендроном с одеревеневшими чешуйками от опавших листьев, потом вернулся в гостиницу. В вестибюле на первом этаже взял электробритву; принявшись в ванной за бритье, заметил, что приходится немного наклоняться к зеркалу, хотя раньше мне помнилось, я смотрелся в зеркало, стоя прямо. Разница была минимальная, но еще раньше, снимая рубашку, я заметил нечто необычное: рубашка стала короче. словно бы села. Теперь я присмотрелся к ней внимательно. Ни рукава, ни воротничок не изменились. Я положил ее на стол. Она была точь-в-точь такая, как прежде, и все-таки, когда я ее надел, доставала мне лишь немного ниже пояса. Это я изменился, а не она. Я вырос.

Мысль была дикая, тем не менее она меня встрево-

жила. Я связался с гостиничным Инфором и попросил дать адрес специалиста по космической медицине. После короткого молчания — автомат словно бы колебался с ответом — я услышал адрес. Врач жил на той же улице, несколькими домами дальше. Я пошел к нему. Робот провел меня в большую, затемненную пустую комнату.

Вскоре появился врач. Выглядел он так, словно сошел с семейной фотографии в кабинете моего отца. Маленького роста, но не миниатюрный, седой, с небольшой бородкой, в золотых очках — первых очках, увиденных мной с момента приезда. Звали его доктор Жюффон.

— Гэл Брегг? — спросил он. — Это вы?

— Да.

Он долго молчал, глядя на меня.

— Что вас беспокоит?

— Собственно говоря, ничего, доктор, кроме... — Я сообщил о своих странных наблюдениях.

Он молча открыл мне дверь. Я прошел в небольшой кабинет.

— Разденьтесь, пожалуйста.

— Совсем? — спросил я, раздевшись до пояса.

— Да.

Он осмотрел меня с ног до головы.

— Нет уже таких мужчин, — заметил он негромко, словно говорил сам с собой. Он выслушал мое сердце, прикладывая мне к груди холодный стетоскоп. И через тысячу лет будет точно так же, подумал я, и от этой мысли почему-то стало приятно. Врач измерил мой рост, потом велел лечь. Осмотрел внимательно шрам под правой ключицей, но ничего не сказал. Обследовал он меня почти час.

Рефлексы, объем легких, электрокардиограмма — все. Когда я оделся, врач сел за маленький черный письменный стол. Ящик стола заскрипел, когда врач в поисках чего-то выдвинул его. После всей этой мебели, которая скакала вокруг меня как одержимая, старый письменный стол мне очень понравился.

— Сколько вам лет?

Я объяснил ему все.

— У вас организм мужчины, которому за тридцать, — заявил врач. — Вас замораживали?

- Да.
- Надолго?
- На год.
- Почему?
- Мы возвращались на увеличенной тяге. Пришлось лечь в воду. Амортизация, понимаете, доктор, а поскольку трудно год лежать в воде, бодрствуя...
- Конечно. Я думал, вас замораживали на больший срок. Этот год вы спокойно можете не считать. Не сорок лет, а тридцать девять.
- А... что?
- Ничего страшного, Брегг. Сколько было?
- Ускорение? Два g.
- Вот видите. Вы думали, что растете? Ничуть вы не растете. Просто межпозвоночные диски. Знаете, что это такое?
- Знаю, такие хрящи в позвоночнике.
- Вот-вот. Теперь, когда вы избавились от этого пресса, они расправляются. Какого вы роста?
- Когда улетел, было сто девяносто семь.
- А потом?
- Не знаю. Я не измерял, было много других дел, знаете ли.
- Теперь — два метра два.
- Хорошенькое дело, — сказал я — И долго еще так?
- Нет. По-видимому, уже все... Как вы себя чувствуете?
- Хорошо.
- Все кажется слишком легким, да?
- Уже меньше. В Адапте, на Луне, мне дали такие пилюли, чтобы уменьшить мышечное напряжение.
- Вас дегравитировали?
- Да. Первые три дня. Говорили, что этого слишком мало после столько лет, а с другой стороны, не хотели нас после всего, что было, опять долго держать взаперти...
- А как с самоощущением?
- Ну... — я колебался, — иногда... у меня бывает впечатление, будто я — неандерталец, которого привезли в город...
- Что вы собираетесь делать?

Я сказал ему про виллу.

— Может, это и неплохо, — заметил он, — но...

— В Адапте было бы лучше?

— Я так не говорю. Вы... я вас помню, знаете ли...

— Как так? Не могли же вы...

— Не мог. Но я слышал о вас от отца. Мне тогда было двенадцать лет.

— Ох, это происходило, видимо, много лет спустя после нашего старта? — спросил я. — И о нас еще помнили? Странно.

— Я так не считаю. Странно, что о вас забыли. Вы же знали, как будет выглядеть возвращение, хоть и не могли, конечно, себе этого представить?

— Знал.

— Кто вас направил ко мне?

— Никто. То есть... Инфор в гостинице. А что?

— Забавно, — заметил мой собеседник. — Я ведь, собственно, не врач.

— Да?

— Я не практикую уже сорок лет. Занимаюсь историей космической медицины: она уже стала историей, Брегг, и кроме Адапта специалистам работать уже негде.

— Простите, я не знал...

— Чепуха. Я должен быть вам благодарен. Вы — живое опровержение тезисов школы Мильмана о вредном влиянии увеличенного тяготения на организм. У вас нет даже гипертрофии левого желудочка и ни следа эмфиземы... у вас отличное сердце. Да вы об этом знаете?

— Знаю.

— Как врач я вам больше ничего не могу сказать, Брегг, но в остальном...

Он явно колебался.

— Да?

— Как вы ориентируетесь в нашей... современной жизни?

— Туманно.

— У вас седые волосы, Брегг.

— А это имеет какое-нибудь значение?

— Да. Седина означает старость. Никто теперь не седеет раньше восьмидесяти, да и то редко.

Я сообразил, что и правда, почти совсем не видел старых людей.

— Почему? — спросил я.

— Есть соответствующие препараты, лекарства, оттаивающие поседение. Можно также восстановить цвет волос, но это несколько сложнее.

— Ну хорошо, — заявил я, — но почему вы мне все это говорите?

Он замялся. Потом ответил кратко:

— Женщины, Брегг...

Я вздрогнул.

— Я выгляжу стариком?

— Не стариком, а атлетом... но вы же прогуливаетесь не нагишом. Особенно, когда вы сидите, у вас такой вид... обычный человек примет вас за омоложенного старика. После рювенияльного, гормонального и тому подобного лечения.

— Что поделать, — произнес я. Не знаю, почему я так неуютно чувствовал себя под его спокойным взглядом. Врач снял очки и положил их на письменный стол. У него были голубые, чуть слезящиеся глаза.

— Вы многого не понимаете, Брегг. Если бы вы собирались до конца дней своих отречься от нормальной жизни, ваше «что поделать», возможно, и было бы уместно, но... наше общество не испытывает особого энтузиазма от дела, которому вы отдали нечто большее, чем жизнь.

— Не надо так, доктор.

— Я говорю так, ибо я так думаю. Отдать только жизнь, ну и что? Люди поступали так из века в век... Но пожертвовать всеми друзьями, родителями, родными, знакомыми, женщинами, — ведь вы жертвовали ими, Брегг!

— Доктор...

Слова застряли у меня в горле. Я облокотился о старый письменный стол.

— Кроме горстки специалистов все это никого не интересует, Брегг. Вы знаете об этом?

— Да. Мне сказали на Луне, в тамошнем Адапте... только... выразились... мягче.

Мы долго молчали.

— Общество, в которое вы вернулись, стабилизировано. Оно живет спокойно. Вы понимаете? Романтизм раннего периода астронавтики прошел. Тут некая аналогия с историей Колумба. Его экспедиция была чем-то необыкновенным, но кто интересовался двести лет спустя капитанами парусников? О вашем возвращении было краткое сообщение в реале.

— Доктор, ведь это не имеет никакого значения, — возразил я. Его сочувствие начинало раздражать меня больше, чем равнодушие других. Но этого я ему сказать не мог.

— Имеет, Брегг, хотя вы и не хотите допустить такой мысли. Если бы вы были кем-нибудь другим, я промолчал бы, но вам следует знать правду. Вы — один-единственный. Человек не может жить один. То, чем вы интересуетесь, то, с чем вы вернулись, — капля в море невежества. Сомневаюсь, чтобы многие захотели слушать то, что вы собираетесь рассказать. Я отношусь к таким людям, но мне восемьдесят девять...

— Мне нечего рассказывать, — возразил я со злостью. — Во всяком случае у меня нет никаких сенсаций. Мы не открыли никакой галактической цивилизации, а я вообще был просто пилотом. Я вел корабль. Кто-то должен был это делать.

— Да? — тихо произнес врач, поднимая белые брови.

Внешне я был бесстрастен, но во мне поднималась злость.

— Да! Тысячу раз да! А нынешнее равнодушие, если уж вы хотите знать, задевает потому, что многие вообще не вернулись...

— А кто не вернулся? — совершенно спокойно спросил врач.

Я несколько успокоился.

— Многие. Ардер, Вентури, Эннесон. Доктор, зачем...

— Я спрашиваю не из простого любопытства. То была — поверьте, — и я не люблю высокопарных слов, — как бы моя собственная молодость. Из-за вас я посвятил себя этой научной проблеме. Мы уравнины нашей бесполезностью. Естественно, мы можете не признавать этого. Не буду настаивать. Но мне хотелось бы знать, что стряслось с Ардером?

— Точно не известно, — ответил я. Мне вдруг все стало безразлично. В конце концов, почему бы и не рассказать? Я смотрел на потрескавшуюся палитру письменного стола. Никогда не думал, что все это будет выглядеть именно так.

— Мы вели два зонда над Арктуром. Я потерял с ним связь. Не мог его найти. Молчало его радио, а не мое. Когда у меня подошел к концу кислород, я вернулся.

— Вы ждали?

— Да. То есть, я летал вокруг Арктура. Шесть дней. Если точно, то сто пятьдесят шесть часов.

— Один?

— Да. Мне не повезло, на Арктуре появились новые пятна, полностью нарушилась связь с «Прометеем». С моим кораблем. Помехи. Он сам, без радио, не мог вернуться. Ардер, я о нем говорю. В зондах телеран курса связан с радио. Ардер не мог вернуться без меня и не вернулся. Джимма вызвал меня. Он был прав, я потом — от нечего делать — подсчитал, какова была вероятность обнаружить Ардера на экране радара: не помню точно, кажется, один к триллиону. Надеюсь, он сделал то же, что и Арне Эннессон.

— А что делал Арне Эннессон?

— Он потерял фокусировку луча. У него стала слабеть тяга. Он удержался бы на орбите какие-нибудь сутки, вращаясь по спирали и в конце концов упал бы на Арктур. Вот он и предпочел сразу войти в протуберанец. Он сгорел у меня на глазах.

— Сколько было пилотов, кроме вас?

— На «Прометее» пятеро.

— Сколько вернулось?

— Олаф Стаавс и я. Энаю, доктор, вы думаете: героизм. Я тоже когда-то так думал, читая книги о таких людях. Неправда. Слышите? Если бы я мог, я бросил бы этого Ардера и вернулся бы сразу, но я не мог. Ардер тоже бы не вернулся на моем месте. И никто не вернулся бы. Джимма тоже...

— Почему вы так... от этого отрекаетесь?

— Потому что есть разница между героизмом и необходимостью. Я сделал то, что сделал бы каждый. Доктор, чтобы понять, надо там побывать. Человек — просто

пузырек в потоке. Достаточно нарушения фокусировки или размагничивания поля, начинается вибрация и моментально сворачивается кровь. Обратите внимание, я говорю не о внешних причинах, таких, как например, метеоры, а говорю о последствиях дефектов. Достаточно любой пакости, любого перегоревшего проводочка в аппаратах связи — и конец. Если бы и люди подводили в таких условиях, экспедиции были бы самоубийством, понимаете? — Я на секунду закрыл глаза. — Доктор, неужели теперь не летают? Как это могло случиться?

— Вы полетели бы?

— Нет.

— Почему?

— Я вам скажу. Ни один из нас по полетел бы, если бы знал, каково там. Этого никто не знает. Никто из тех, кто там не бывал. Мы были кучкой смертельно перепуганных, загнанных в ловушку животных.

— Как все это у вас согласуется с тем, что вы сказали минуту назад?

— Никак. Так было. Мы боялись. Доктор, ведь я, когда ждал Ардера, облетая вокруг солнца, понавыдумывал себе разных людей и беседовал с ними, говорил за себя и за них и в конце концов поверил, что они находятся со мной. Каждый спасался как мог. Подумайте, доктор. Я сижу здесь перед вами, я снял виллу, купил старый автомобиль, хочу учиться, читать, плавать в бассейне, но то, все то, во мне. То пространство, та тишина, и Вентури — он кричал, чтобы ему помогли, а я дал полный назад!

— Почему?

— Я управлял «Прометеем»; у Вентури отказал реактор. Он мог разнести нас вдребезги. Реактор не взорвался; он не разнес бы нас. Может, мы успели бы его вытащить, но я не имел права рисковать. Тогда, в случае с Ардером, было наоборот. Я хотел спасти его, а Джимма вернул меня: он боялся, что погибнем мы оба.

— Брегг... скажите мне, чего вы ждали от нас? От Земли?

— Понятия не имею. Никогда об этом не думал. Было так, словно кто-то говорил, что загробная жизнь или рай — будет, но вообразить их никто не мог. Доктор, хва-

тит. Не надо об этом. Мне хотелось, бы у вас спросить еще об одном. Как обстоит дело с этой бетризацией?

— А что вы о ней знаете?

Я сказал ему. Но не сообщил, при каких обстоятельствах и от кого узнал.

— Так, — произнес врач. — В общем, дело обстоит приблизительно так.

— А я?

— Закон делает для вас исключение, потому что бетризация взрослых небезвредна для их здоровья и даже опасна. Кроме того, считается, не без основания, полагая, что вы прошли проверку... морального облика. К тому же вас... немного.

— Доктор, еще один вопрос. Вы говорили о женщинах. Почему вы мне это сказали? Простите, я отнимаю у вас время?

— Нет, не отнимаете. Почему я сказал? У человека есть близкие. Родители. Дети. Друзья. Женщины. Родителей и детей у вас нет. Друзей у вас быть не может..

— Почему?

— Я не имею в виду ваших товарищей, хотя не знаю, захочется ли вам постоянно быть в их кругу, вспоминать...

— О небеса, с какой стати! Ни за что в жизни!

— Вот видите. Вам знакомы две эпохи. В одной вы провели молодость, с другой вы сразу познакомитесь. Если добавить ваши десять лет, никто из ровесников по своему опыту не сравнится с вами. Значит, они не могут быть равноценны вам в общении. Не среди стариков же вам жить? Остаются женщины, Брегг. Только женщины.

— Может, все-таки одна женщина? — буркнул я.

— Одна — это сейчас затруднительно.

— Как?

— Эпоха благосостояния. В отношении эротических проблем эпоха безжалостная. Поскольку ни любви, ни женщин нельзя... раздобыть за деньги. Материальных проблем здесь больше нет...

— И это вы называете безжалостным? Доктор!

— Да. Вы думаете, видимо, — раз я сказал о купленной любви, — что речь идет о проституции, скрытой или явной. Нет. То давно отошло в прошлое. Раньше женщину

привлекал успех. Мужчина импонировал ей высоким заработком, профессиональной квалификацией, общественным положением. В обществе полного равенства такое невозможно. За немногими исключениями. Вот если бы вы были, например, реалистом...

— Я реалист.

Доктор улыбнулся.

— У этого слова теперь другое значение. Так называют актера, выступающего в реале. Вы уже были в реале?

— Нет.

— Посмотрите пару мелодрам, и вы поймете, каковы сегодня критерии эротического подбора. Самый важный — молодость. Поэтому все так за нее борются. Морщины, седина, особенно ранняя, производят почти такое впечатление, как в древности — проказа...

— Почему?

— Вам это трудно понять. Аргументы разума бессильны перед господствующей моралью. Вы просто не отдаете себе отчета, как много факторов, прежде решающих в эротической сфере, теперь исчезло. Природа не терпит пустоты, их должны были заменить другие факторы. Или взять явление, с которым вы так сжились, что перестали замечать его исключительность: риск. Его больше нет, Брегг. Мужчина не может произвести на женщину впечатление удалью, безрассудством, а ведь литература, искусство, вся культура веками основывалась на этой теме: любовь у последней черты. Орфей сошел за Эвридикой в Аид, Отелло от любви убил. Трагизм Ромео и Джульетты... Сегодня трагедий уже нет. Нет даже ее возможности. Мы ликвидировали ад страстей, а оказалось, что заодно и небо перестало существовать. Все теперь чуть тепленькое, Брегг.

— Чуть тепленькое?

— Да. Знаете, что делают даже самые несчастные любовники? Ведут себя благоразумно. Никаких порывов, никакого соперничества...

— Вы... хотите сказать, что все это... исчезло? — спросил я. И впервые почувствовал какой-то суеверный ужас перед этим миром. Старый врач молчал.

— Доктор, такое невозможно. Неужели это правда?

— Да. Именно так. И вы, Брегг, должны воспринять

это, как воду и воздух. Я говорил, что трудно иметь дело с единственной женщиной. Всю жизнь почти невозможно. В среднем связь длится около семи лет. И это — прогресс. Полвека тому назад средняя продолжительность едва достигала четырех...

— Доктор, мне не хочется отнимать у вас время. Что вы мне посоветуете?

— То, о чем я уже упоминал: восстановить первоначальный цвет волос... Звучит тривиально, конечно. Но это важно. Мне стыдно давать вам такой совет. Не за себя стыдно. Но что я могу...

— Спасибо вам. Правда, спасибо. И последнее. Скажите мне... Как я выгляжу... на улице? В глазах прохожих? Что во мне такого...

— Брегг, вы другой. Во-первых, ваши размеры. Вы словно персонаж из «Илиады». Пропорции из глубокой древности... Они могут даже давать некоторый шанс, хотя вы знаете, какова судьба тех, кто чересчур отличается.

— Знаю.

— Вы немножко великоваты, Брегг. Я не помню таких даже во время моей молодости. Сейчас вы выглядите, как очень высокий и скверно одетый человек. Но дело не в том, что одежда плохо на вас сидит, дело в вашей неслыханной мускулатуре. Перед полетом вы выглядели так же?

— Нет, доктор. Двойная сила тяжести, знаете ли.

— Возможно...

— Семь лет. Семь лет двойного тяготения. Мышцы не могли не увеличиться — дыхательные, брюшные, я знаю, какой у меня загрибок. Но иначе я задохнулся бы там, как крыса. Мышцы работали, даже когда я спал. Даже когда меня заморозили. Все весило вдвое больше. Вот в чем дело.

— А у других? Простите, что спрашиваю, это любопытство медика... Таких долгих экспедиций никогда не было, знаете...

— Знаю. У других? У Олафа почти как у меня. Наверное, зависит от скелета, я всегда был широк в кости. Ардер был крупнее меня. Выше двух метров. Да, Ардер... Что я говорил? Другие, — так вот, я был моложе всех и поз-

тому лучше всех адаптировался. Так, по крайней мере, утверждал Вентури. Знакомы ли вам работы Янсена?

— Знакомы ли? Это наша классика, Брегг.

— Да? Смешно. Он был такой суетливый человек... Я выдержал у него семьдесят девять g в течение полутора секунд, знаете ли.

— Что вы говорите?

— У меня есть письменное подтверждение. Но это было сто тридцать лет назад. Теперь для меня и сорок слишком много.

— Брегг, сегодня и двадцати никто не выдержит!

— Почему? Может, из-за бетризации?

Врач молчал. Мне показалось, он что-то не договаривает. Я встал.

— Брегг, — заговорил врач, — раз уж мы коснулись этого: будьте осторожны.

— С чем?

— С собой и с другими. Прогресс никогда не проходит даром. Мы избавились от многих тысяч опасностей и конфликтов, но за это надо было платить. Общество стало мягче, а вы... вы можете проявить... твердость. Вы понимаете?

— Понимаю, — сказал я, думая о человеке, смеявшемся в ресторане и замолчавшем, когда я к нему подошел.

— Доктор, — окликнул я вдруг, — правда... я ночью встретил льва. И даже двух. Почему они меня не тронули?..

— Хищников больше нет, Брегг... Бетризация... Вы встретили их ночью? И что вы сделали?

— Стал чесать им шею, — сообщил я и показал, как. — Но «Илиада», доктор, это преувеличение. Я порядком перепугался. Сколько я вам должен?

— Прошу вас об этом даже не думать. И если вам когда-нибудь захочется...

— Спасибо.

— Только не откладывайте в долгий ящик, — добавил он, когда я уходил. Лишь на эскалаторе я понял, что это означало: врачу ведь было почти девяносто лет.

Я вернулся в гостиницу. В вестибюле был парикмахер. Разумеется, робот. Я велел подстричь меня. Оброс я изрядно — прямо грива на голове. Больше всего седины

было на висках. Когда стрижка закончилась, мне показалось, что теперь я выгляжу не так дико. Робот мелодичным голосом спросил, не подкрасить ли.

— Нет, — сказал я.

— Апрекс?

— Что это такое?

— Против морщин.

Я колебался, чувствуя себя ужасно глупо, но доктор, возможно, был прав.

— Хорошо, — согласился я. Он покрыл мне лицо слоем резко пахнущего желатина, который застыл маской. Потом я лежал с компрессами, радуясь, что мое лицо закрыто.

Я поехал наверх; в номере уже лежали свертки с жидким бельем; я сбросил одежду и вошел в ванную. Там было зеркало.

Да. Напугать я мог. Я не знал, что выгляжу как ярмарочный силач. Бутристые мышцы, коренастый торс, и вообще я напоминал какую-то корягу. Когда я поднял руку и под кожей вздулась мышца, стал виден шрам шириной в ладонь. Я попробовал рассмотреть второй, у лопатки; тогда меня назвали счастливчиком: пройди осколок на три сантиметра левее, он перебил бы мне позвоночник. Я ударил себя кулаком в твердый, как доска, живот.

— Ах ты, скотина, — сказал я в зеркало. Мне хотелось принять ванну, настоящую ванну, а не озоновый вихрь, и меня обрадовала мысль о бассейне при вилле. Я хотел надеть что-нибудь новое, но не мог почему-то расстаться с брюками. Поэтому я надел только белый свитер, хотя мой старый, черный, протертый на локтях, нравился мне гораздо больше, и отправился в ресторан.

Половина столиков была занята. Через три зала я прошел на террасу: оттуда были видны широкие бульвары с бесконечными потоками глайдеров; под облаками, как горный массив, голубел в воздухе вокзал Терминал.

Я заказал обед.

— Какой? — спросил робот. Он собирался подать мне меню.

— Все равно, — сказал я. — Обычный обед.

Только начав есть, я заметил, что столики вокруг ме-

ня пусты. Совершенно бессознательно, не отдавая себе в этом отчета, я искал уединения. Я понятия не имел, что я ем. Уверенность, что мой замысел хорош, покинула меня. Каникулы, словно сам себя вознаграждаю, раз никто об этом не подумал. Бесшумно приблизился официант.

— Вы Брегг, не правда ли?

— Да.

— У вас в номере гость.

— Гость?

Я сразу подумал о Наис. Допив темную, шипучую жидкость, я встал, спиной чувствуя сопровождавшие меня взгляды. Хорошо бы укоротить себя сантиметров на десять. В номере сидела молодая женщина — я видел ее впервые в жизни. Серое пушистое платье, фантастическая красная отделка на плечах.

— Я из Адапта, — отрекомендовалась она. — Мы с вами сегодня разговаривали.

— А, это были вы?

Я насторожился. Зачем я им опять понадобился?

Она села. Я тоже.

— Как вы себя чувствуете?

— Прекрасно. Сегодня был у врача, он меня обследовал. Все в порядке. Снял виллу, хочу немного почитать.

— Весьма разумно. В этом отношении Клавестра — замечательное место. Горы, покой...

Она знала про Клавестру. Следили они за мной, что ли? Я сидел неподвижно в ожидании дальнейшего.

— Я принесла вам... кое-что.

Женщина показала на маленький пакет, лежавший на столе.

— Это наше новейшее устройство, знаете ли, — говорила она с несколько неестественным оживлением. — Ложась спать, вы будете включать аппарат... и в течение пятнадцати-шестнадцати ночей простейшим способом, без всяких усилий, узнаете множество полезнейших вещей.

— Да? Это хорошо, — сказал я.

Она улыбнулась мне. И я улыбнулся, как примерный ученик.

— Вы психолог?

— Вы угадали...

Она остановилась в нерешительности. Я видел: она хочет что-то сказать.

— Я слушаю.

— Вы не рассердитесь?

— Отчего бы мне сердиться?

— Видите ли... Вы одеваетесь немного...

— Знаю. Но я люблю эти брюки. Может, со временем...

— Дело не в брюках. Свитер...

— Свитер? — удивился я. — Мне его сделали только сегодня. Кажется, это последний писк моды, разве не так?

— Так. Только не надо его слишком раздувать... Вы позволите?

— Пожалуйста, — произнес я совсем тихо. Она потянулась ко мне с кресла, ткнула меня в грудь кончиками пальцев и легко вскрикнула.

— Что у вас там?

— Ничего, кроме меня самого, — ответил я с кривой улыбкой.

Она стиснула руки и встала. Внезапно мое злорадное спокойствие стало ледяным.

— Сядьте же.

— Но ведь... я страшно извиняюсь, я...

— Глупости. Давно вы работаете в Адапте?

— Второй год.

— А-а-а. И первый пациент? — показал я на самого себя. Она слегка покраснела.

— Могу я вас кое о чем спросить?

Сотрудница Адапта часто-часто заморгала. Может, подумала, не собираюсь ли я пригласить ее на свидание.

— Конечно...

— Как это так устроено, что на каждом ярусе города видно небо?

Она оживилась.

— Очень просто. Телевидение — так это раньше называли. На перекрытиях помещены экраны, на них транслируется все, что над землей: вид неба, туч...

— Но ярусы, видимо, невысоки, а на них стоят даже сорокаэтажные дома...

— Это обман зрения, — усмехнулась она, — только

часть дома — настоящая, остальное — изображения. Понимаете?

— Понимаю, как это устроено, но не понимаю зачем.

— Затем, чтобы на любом ярусе живущие там люди не чувствовали себя ущемленными ни в чем...

— А-а-а. Да, остроумно... И еще кое-что. Я собираюсь пойти за книгами. Можете ли вы мне порекомендовать несколько названий из вашей области? Какие-нибудь... компиляции.

— Вы собираетесь изучать психологию? — удивилась она.

— Нет, но мне хочется знать, что вы сделали за это время...

— Я посоветовала бы Майссена.

— Что это такое?

— Школьный учебник.

— Я предпочел бы что-нибудь пообъемистее. Компендиумы, монографии... Всегда лучше получать из первых рук...

— Это будет, возможно, слишком... трудно.

— Возможно, не слишком. В чем заключаются трудности?

— Психология очень математизировалась...

— Я тоже. Для того места, которое покинул сто лет назад. Нужно больше?

— Вы же не математик?

— По профессии не математик, но изучал математику. На «Прометее». Там, знаете ли, было... много свободного времени.

Удивленная, сбита с толку, она больше ничего не сказала. Просто оставила мне листок с перечнем названий. Когда женщина вышла, я вернулся к письменному столу и тяжело уселся. Даже она, сотрудница Адапта... Математика? Откуда? Он же дикарь. Ненавижу их, подумал я. Ненавижу. Ненавижу. Не знаю, о ком я думал. Обо всех. Да, обо всех. Меня обманули. Они послали меня, сами не зная, что делают, я не должен был вернуться, как не вернулись Вентури, Ардер, Томас, но я вернулся, чтобы меня боялись, чтобы стать живым укором, которого никто не приемлет. Я ни на что не гожусь, подумал я. Если бы я мог плакать. Ардер умел. Он говорил: не на-

до стыдиться слез. Возможно, я солгал доктору. Я никому никогда не говорил этого, но я не был уверен, сделал ли бы я такое для кого-нибудь еще, кроме Ардера. Может быть, сделал бы. Для Олафа, потом. Но твердой уверенности у меня не было. Ардер! Они нас уничтожили, а как мы им верили, как чувствовали все время за спиной Землю, она была с нами, верила в нас, думала о нас. Об этом никто не говорил. К чему? Об очевидном не говорят.

Я встал. Сидеть я не мог. Принялся ходить из угла в угол.

Довольно. Я открыл двери ванной комнаты, но там не было даже воды облить башку. Да что за мысли! Чистейшая истерия.

Я вернулся в комнату и стал укладывать вещи.

III

Всю вторую половину дня я провел в книжном магазине. Книг в нем не было. Их не печатали уже почти полвека. А я так им радовался бы после микрофильмов, составлявших библиотеку «Прометей». Оказалось, радоваться нечему. Уже нельзя было шарить по полкам, взвешивать тома в руке, ощущая их вес, обещавший продолжительность чтения. Теперь книжный магазин напоминал скорее электронную лабораторию. Книгами были кристаллики с введенным с них содержанием. Читали их с помощью оптона. Он даже походил на книжку, но с одним-единственным листком в обложке. От прикосновения на нем появились очередные страницы текста. Но оптонами мало пользовались, как сообщил мне робот-продавец... Публика предпочитала лектоны: они читали вслух, их можно было установить по желанию на любой голос, любой темп, любую интонацию. Только научные публикации по узкоспециальным вопросам еще печатались на пластике, имитирующем бумагу. Так что все мои покупки уместились в кармане, хотя там было почти триста названий. Горсть кристаллических зерен — вот как выглядели книги. Я набрал порядочно исторических и социологических трудов, немного работ по статистике и демографии и то, что сотрудница Адапта поре-

комендовала мне из области психологии. И пару объемистых учебников математики объемистых, конечно, не по формату, а по содержанию. Робот, обслуживавший меня, сам был энциклопедией, благодаря тому, что — как он сам сказал — он был подключен через электронные каталоги к оригиналам всевозможных научных трудов на всей Земле. В книжном магазине имелись лишь единичные «экземпляры» книг, а когда кто-нибудь в них нуждался, содержание их вводилось в кристалл.

Оригиналы — невидимые кристоматрицы — помещались за покрытыми бледно-голубой эмалью стальными плитами. Таким образом, книгу как бы заново печатали каждый раз, когда она бывала кому-то нужна. Вопрос тиражей, их размера и наличия больше не существовал. Это было действительно большим достижением, но мне все-таки жаль было книг. Узнав, что есть антиквариаты с бумажными книгами, я разыскал один из них. Но меня ждало разочарование: научных изданий почти не было. Развлекательная литература, кое-какая детская, немного годовых комплектов старых журналов.

Я купил (лишь за старые книги надо было платить) сказки сорокалетней давности, чтобы понять, что именно считают теперь сказками, и отправился на склад спортивного инвентаря. Тут уж мое разочарование не знало границ. Легкая атлетика существовала в какой-то выродившейся, карликовой форме. Бег, метание, прыжки, плавание, но почти никакого соперничества. Бокса уже не было, а то, что называли классической борьбой, выглядело просто смешно: какая-то толкотня вместо честного поединка. В просмотрном зале я увидел одну встречу мирового чемпионата и чуть не лопнул от злости. А временами хохотал, как сумасшедший. Когда я расспрашивал про реслинг, дзюдо, джиу-джитсу, никто даже не знал, что это такое. Вполне понятно; раз футбол приказал долго жить, как вид спорта, где бывали резкие столкновения и травмы. Хоккей сохранился, но какой! Хоккеисты играли в комбинезонах, раздутых до такой степени, что игроки были похожи на огромные мячи. Уморительно выглядели две команды, эластично сталкивавшиеся друг с другом, — фарс, а не матч. Прыжки в воду — да, но лишь с четырехметровой высо-

ты. Я сразу подумал о моем (моем!) бассейне и приобрел складной трамплин, чтобы надстроить тот, который будет в Клавестре. Вся эта жалкая картина была результатом бетризации. О том, что исчезли коррида, петушиные бои и прочие кровопролитные зрелища, я не жалел; не был я и поклонником профессионального бокса. Но та манная кашка, в которую превратился спорт, ничуть меня не привлекала. Проникновение техники в спорт я мог стерпеть лишь в туризме. Он развился, особенно подводный.

Я вволю нагладелся на различные виды аппаратов для ныряния, малые электроторпеды, на которых можно путешествовать на дне озер, глиссеры, суда на воздушной подушке, водяные микроглайдеры. Все это было снабжено специальными устройствами, предохраняющими от несчастных случаев.

Соревнования, кстати, весьма популярные, я не мог признать спортивными; конечно, никаких коней, никаких автомобилей — соревновались машины с автоматическим управлением, можно было делать на них ставки. Традиционный большой спорт почти совсем потерял значение. Мне объяснили, что предел человеческих возможностей был достигнут и улучшать рекорды мог бы лишь человек ненормальный, некий монстр силы или скорости. Разумом я должен был с этим согласиться, к тому же широкое распространение уцелевших после гекатомбы остатков атлетических видов спорта весьма похвально, но тем не менее я покинул спортивный склад, проведя там три часа, в весьма угнетенном состоянии духа.

Отобранный гимнастический инвентарь я распорядился послать в Клавестру. От глиссера я, подумав, отказался. Хотел купить яхту, но парусных, собственно, не было, то есть настоящих, со швертом, были какие-то несчастные посудины, гарантирующие устойчивость до такой степени, что и плавать на них никакого удовольствия не было.

В гостиницу я возвращался вечером. С запада наплывали пушистые, розовеющие облака, солнце уже скрылось, взошел тонкий серп месяца, а в зените сиял второй — какой-то огромный искусственный спутник. Высоко

над домами роились летательные аппараты. Прохожих стало меньше, зато нарастало движение глайдеров и проезжую часть опять расчертили светящиеся щели, назначения которых я все еще не знал. Возвращаясь другой дорогой, я попал в большой сад. Сначала мне показалось, что это парк Терминал, но тот, со стеклянной горой вокзала, маячил вдали, в северной, более высокой части города.

Зрелище, кстати, необыкновенное. Когда на окрестности опустился иссеченный уличными огнями мираж, верхние этажи Терминала еще светились, как снежные альпийские вершины.

В парке былолюдно. Много новых пород деревьев, особенно пальм, цветущие кактусы без шипов, в отдаленном от главных аллей уголке мне удалось отыскать двухсотлетний, вероятно, каштан. Три человека моего роста не сумели бы обхватить его ствол. Я сел на маленькую лавочку и стал смотреть в небо. Как безобидно, как уютно выглядели звезды, мерцая и дрожа в невидимых потоках атмосферы, хранящей от них Землю. Впервые за столько лет я назвал их мысленно «звездочки». Там никто не отважился бы так сказать, мы сочли бы его сумасшедшим. Звездочки, ничего себе, прожорливые звездочки. Над совсем уже темными деревьями взвился вдали фейерверк, и я сразу, потрясаяще реально, увидел Арктур, горы огня, над которыми я пролетал, стуча зубами от холода, а иней кондиционера, тая, ржавой струйкой стекал по моему комбинезону. Я отбирал пробы коронарным эксгаустером, вслушиваясь в свист компрессоров, пытаюсь определить, не теряют ли они обороты, ибо секундная авария, захлебывание аппаратуры, превратила бы обшивку, аппараты и меня в облачко невидимого пара. Капля на раскаленной плите не исчезает так быстро, как улетучивается человек.

Каштан уже почти отцвел. Я не любил запаха его цветов, но сейчас он напоминал мне прошлое. Над живыми изгородями по-прежнему переливался блеск бенгальских огней, слышались взрывы смеха, смешивались звуки оркестров, ветер то и дело доносил хор криков — кричали участники какого-то зрелища, возможно, пас-

сажиры подвесной дороги. Мой уголок, однако, оставался почти пустым.

В какой-то момент из боковой алейки показалась черная, высокая фигура. Зелень уже совсем потускнела, и лицо этого человека я рассмотрел, лишь когда он, передвигаясь чрезвычайно медленно, маленькими шажками, едва отрывая стопы от земли, остановился неподалеку. Руки его утопали в воронкообразных упорах, от которых шли два тонких прута с черными грушевидными наконечниками. Он опирался на них не как паралитик, а как вконец обессилевший человек. Он не смотрел на меня и вообще ни на что не смотрел: хохот, выкрики, музыка, взрывы ракет, казалось, не существовали для него вообще. Он постоял минутку, с трудом переводя дух, все новые вспышки фейерверка раз за разом освещали его лицо, такое старое, что годы смыли с него всякое выражение и оно стало просто кожей, обтянувшей кости. Когда он хотел идти дальше, выдвигая свои странные костыли или протезы, один из них соскользнул, я вскочил с лавочки, чтобы поддержать его, но старик сумел сам сохранить равновесие. Он был на голову ниже меня, но все равно выше своих современников; он посмотрел на меня, глаза его светились в темноте.

— Извините, — негромко сказал я и хотел уйти, но остался: его глаза чего-то требовали.

— Я вас уже где-то видел. Но где? — проговорил он неожиданно сильным голосом.

— Сомневаюсь, — покачал я головой. — Я только вчера вернулся... из очень долгого путешествия.

— Откуда?

— С Фомальгаута.

Глаза его вспыхнули.

— Ардер! Том Ардер!

— Нет, — сказал я. — Но я был с ним.

— А он?

— Он погиб.

Старик тяжело дышал.

— Помогите... мне... сесть.

Я обхватил его плечи. Под черным, скользким материалом были лишь кожа да кости. Медленно опустив его на лавочку, я остался стоять над ним.

— Будьте добры... сядьте.

Я сел. Он все еще с трудом дышал, закрыв глаза.

— Ничего... Это от волнения, — шепнул он. Потом поднял веки. — Я Рёмер, — сказал он просто.

У меня перехватило дыхание.

— Как? Вы... вы?... Сколько же вам?..

— Сто тридцать четыре, — сухо ответил он. — Тогда мне было... семь...

Я помнил его. Он приехал к нам с отцом, феноменальным математиком, ассистентом Геонидеса — создателя теории нашего полета. Ардер показал тогда мальчику огромный зал для тестов, центрифуги. Таким он и остался в моей памяти: семилетний непоседа с черными отцовскими глазами. Ардер поднял его в воздух, чтобы мальчуган мог поближе разглядеть внутренность гравикамеры, в которой сидел я.

Мы оба молчали. В этой встрече было нечто невероятное. Сквозь темноту я с какой-то болезненной жадностью всматривался в его столь страшное старое лицо, и горло у меня сжималось. Я хотел вынуть сигарету, но не мог попасть в карман — так тряслись пальцы.

— Что случилось с Ардером? — спросил Рёмер.

Я рассказал ему.

— Вы не нашли — ничего?

— Нет. Знаете ли, там... ничего не находят.

— Я принял вас за него...

— Понимаю. Рост и так далее...

— Да. Сколько вам сейчас лет? Биологических...

— Сорок.

— Я мог... — шепнул он.

Я понял его.

— Не жалейте, — твердо сказал я. — Не жалейте об этом. Ни о чем не жалейте, понимаете?

Он впервые перевел взгляд на мое лицо.

— Почему?

— Потому что мне нечего тут делать, — сказал я. — Я никому не нужен. И мне... никто не нужен.

Казалось, Рёмер не слышал меня.

— Как вас зовут?

— Брегг. Гэл Брегг.

— Брегг, — повторил он. — Брегг... Нет, не помню. Вы были там?

— Да. Я был в Аппрену, когда ваш отец привез поправки, сделанные Геонидесом в последний месяц перед стартом... Оказалось, что коэффициенты рефракции в темных пылевых облаках были слишком малы... Не знаю, говорит ли вам это о чем-нибудь... — неуверенно остановился я.

— Говорит. А как же, — ответил он с особой интонацией. — Мой отец. А как же. В Аппрену? А что вы там делали? Где вы были?

— В гравитационной камере, у Янсена. Вы были тогда там, Ардер вас привел, вы стояли наверху, на мостике, и смотрели, как мне дают сорокакратное ускорение. Когда я вылез, у меня шла кровь из носа... Вы дали мне свой носовой платок...

— А! Это были вы?

— Да.

— Мне показалось, что у того человека в камере... были темные волосы.

— Да. Они у меня не светлые, а седые. Только сейчас плохо видно.

Наступило молчание, более продолжительное, чем прежде.

— Вы, конечно, преподаете? — спросил я, чтобы прервать его.

— Преподавал. Теперь уже... не преподаю ничего. Двадцать три года. Ничего, — и еще раз, очень тихо, повторил: — Ничего.

— Я покупал сегодня книги... и между ними была топология Рёмера. Это вы или ваш отец?

— Я. А вы математик?

Он взглянул на меня, казалось, с новым интересом.

— Нет, — сказал я. — Но... у меня было много времени... там. Каждый делал, что хотел. Мне помогла математика.

— Как вы это понимаете?

— У нас было множество микрофильмов: беллетристика, романы, все, что угодно. Знаете ли вы, что мы взяли с собой триста тысяч названий? Ваш отец помогал Ардеру подбирать математическую литературу...

— Я знаю об этом.

— Сначала мы относились к этому, как... к развлечению. К способу убить время. Но через пару месяцев, когда совсем прекратилась связь с Землей и мы повисли в мнимой неподвижности относительно звезд, человек, читая, что какой-то Пьер нервно курил и мучился, придет ли Люси, и что она вошла, теребя перчатки, сначала хохотал, как последний идиот, а потом готов был лопнуть от злости. Одним словом, до этих книг потом никто даже не дотрагивался.

— И математика?

— Нет. Не сразу. Сначала я взялся за языки и не бросал их до конца, хоть и знал, что это почти бесполезно, ведь, когда я вернусь, они будут древними диалектами. Но Джимма — и особенно Турбер — подбили меня заняться физикой. Она, мол, может пригодиться. Я взялся за нее, с Ардером и Олафом Стааве, только мы трое не были учеными...

— У вас же была степень.

— Да, степень магистра по теории информации и космодромии и диплом инженера-ядерщика, но все это было профессиональное, теоретиком я не был. Вы же знаете, как инженер разбирается в математике. Так вот, физика. Но мне хотелось еще чего-нибудь — собственного. И только чистая математика. У меня никогда не было математических способностей. Никаких. Ничего, кроме упрямства.

— Да, — сказал Рёмер тихо. — Оно было необходимо, чтобы... полететь.

— Скорее чтобы попасть в экспедицию, — поправил я его. — И знаете, причем тут математика? Я только там понял. Она превыше всего. Работы Абеля и Кронеккера так же хороши сегодня, как и четыреста лет назад, и так будет всегда. Возникают новые пути, но и старые остаются. Не зарастают. Там... там вечность. Лишь математика не боится ее. Там я понял, как она окончательна. И сильна. Ничего подобного ей не было. И хорошо, что дело шло у меня с таким трудом. Я просто надрывался; когда я не мог спать, я повторял пройденный за день материал...

— Любопытно, — сказал Рёмер. Но в его голосе не бы-

ло любопытства. Не знаю даже, слушал ли он меня. В глубине парка пролетали огненные столбы, красные и зеленые пожары, сопровождаемые хором радостных возгласов. Тут, где мы сидели, под деревьями, темно. Я замолчал. Но тишина была невыносима.

— Это стало для меня средством самосохранения, — продолжал я. — Теория множеств... То, что Миря и Аверин сделали с наследием Кантора, вы знаете. Это оперирование вневечными, сверхвечными величинами, эти расщепляемые континуумы... — это было великолепно. Время, когда я сидел над ними, я помню, словно это было вчера.

— Это не так бесполезно, как вы думаете, — тихо произнес Рёмер. Значит, он все-таки слушал... — Вы, видимо, не знаете о работах Игалли?

— Нет, а что это такое?

— Теория прерывного антиполя.

— Об антиполе я ничего не знаю. А что это?

— Ретронигиляция. Отсюда появилась парастатика.

— Я даже терминов таких не слышал.

— Ну да, ведь они возникли шестьдесят лет назад. И к тому же были всего лишь введением в гравитологию.

— Видно, мне придется над этим посидеть, — заявил я. — Гравитология — это, вероятно, теория гравитации, да?

— Больше. Ее можно описать лишь математическим языком. Вы проработали Аппиано и Фроома?

— Да.

— Тогда у вас не должно быть никаких трудностей. Это развертки метагенов в N-мерном конфигуративном дегенерирующем множестве.

— Что вы говорите? Но ведь Скрыбин доказал, что нет никаких метагенов, кроме вариационных?

— Да. Очень красивое доказательство. Но это, знаете ли, вне прерывности.

— Не может быть! Но ведь в таком... в таком случае открывается целый мир!

— Да, — сухо сказал Рёмер.

— Я помню одну работу Мяниковского, — начал я.

— О, это весьма отдаленная область. Разве что... сходное направление.

— Сколько времени может понадобиться для проработки всего, что сделано за этот период? — спросил я.

Рёмер помолчал.

— Зачем это вам?

Я не знал, что сказать.

— Вы больше не будете летать?

— Нет, — ответил я. — Я слишком стар. Мне не выдержат таких перегрузок, какие... А впрочем... больше я не полетел бы.

После этих слов мы надолго замолчали. То неожиданное воодушевление, с которым я говорил о математике, вдруг улетучилось, и я сидел возле Рёмера, ощущая тяжесть своего тела, его ненужную величину. Кроме математики, нам не о чем было говорить друг с другом, и мы оба знали это. Внезапно мне показалось, что волнение, с которым я рассказывал о благословенной роли математики в путешествии, — обман. Я сам себя обманывал скромностью, героическим усердием пилота, занимающегося в безднах туманностей теоретическим изучением бесконечности. Я заврался. Что же это было в конце концов? Разве потерпевший крушение, месяцами блуждавший в море и подсчитывающий, чтобы не сойти с ума, в тысячный раз число древесных волокон, из которых состоял его плот, мог чем-то хвалиться, очутившись на суше? Чем? Тем, что у него хватило стойкости, чтобы спастись. Ну и что? Кого это касалось? Кого касалось, чем я эти десять лет набивал свою несчастную голову и почему это важнее того, чем я набивал себе кишки? Хватит разыгрывать из себя сдержанного героя, подумал я. Я смогу себе это позволить, когда буду выглядеть, как Рёмер. Надо думать о будущем.

— Помогите мне встать, — прошептал Рёмер.

Я проводил его до глайдера, стоявшего на улице. Мы шли очень медленно. Там, где среди живых изгородей было светло от огней, люди смотрели нам вслед. Прежде чем сесть в глайдер, Рёмер обернулся, чтобы проститься со мной. Ни он, ни я не нашли друг для друга ни слова. Он сделал непонятный жест рукой, в которой, как шпага, была зажата одна из его тростей, дернул головой, сел в глайдер, и темная машина беззвучно тронулась с места. Она плыла прочь, а я стоял, опустив руки, пока глайдер

не исчез в потоке другого транспорта. Сунув руки в карманы, я пошел вперед, не в силах ответить на вопрос, кто из нас сделал лучший выбор.

Хорошо, что от города, который я оставил, не уцелело ни камешка. Получалось, что я жил тогда на какой-то другой Земле, среди других людей; то началось и кончилось раз и навсегда, а это было новое. Никаких останков, никаких развалин, которые могли бы вызвать сомнение в моем биологическом возрасте, я не мог забыть о его земном пересчете, столь противоестественном, и вдруг невероятная случайность столкнула меня с человеком, которого я оставил малым ребенком; все это время, сидя рядом с ним, глядя на его ссохшиеся, как у мумии, руки, на его лицо, я чувствовал себя виноватым и видел, что он это понимает. Какая невероятность, повторял я полубессознательно, пока не сообразил; ведь его, возможно, привело сюда то же самое, что привело меня: здесь рос каштан, дерево, которое было старше нас обоих. Я еще не знал, насколько им удалось отодвинуть пределы жизни, но видел, что возраст Рёмера нечто исключительное; вероятно, он последний или один из последних людей своего поколения. Если бы я не полетел, меня уже не было бы в живых, подумал я, и впервые экспедиция предстала передо мной с другой, неожиданной стороны, как уловка, жестокий обман, совершенный мной по отношению к другим. Так шел я, почти ничего не видя, вокруг меня шумела толпа, река идущих несла меня и подталкивала, и вдруг я остановился, словно проснувшись.

Вокруг стоял неопишуемый гомон; среди смешанных возгласов и звуков музыки в небо били залпами огни фейерверка, разноцветными букетами повисая высоко в воздухе; их пылающие шары осыпались в кроны деревьев; все это через равные промежутки времени пронзал оглушительный многоголосый крик, сопровождаемый хохотом, словно где-то рядом были американские горки, но я напрасно искал их глазами. В глубине парка возвышалось большое здание с башенками и крепостной стеной, будто перенесенный из средних веков укрепленный замок; холодное пламя неоновых ламп, лизавшее его кровлю, то и дело слагало слова ДВОРЕЦ МЕРЛИНА.

Толпа, доставившая меня сюда, устремлялась вбок, к ослепительно-красной стене павильона, которая напоминала человеческое лицо; окна были пылающими глазами, а зубастый, огромный, искривленный рот открывался, чтобы поглотить следующую порцию людей под аккомпанемент всеобщего веселья; каждый раз он проглатывал одно и то же количество: шесть человек. Сначала я хотел выбраться из толкотни и уйти, но это было не так уж легко сделать, а, кроме того, идти мне было некуда, и я подумал, что из всех возможных способов провести остаток вечера этот, вероятно, не самый плохой. Таких одиночек, как я, вокруг не было — преобладали пары: юноши и девушки, женщины и мужчины, они становились по двое, и когда подошла моя очередь, что возвестил блеск огромных зубов и бездонная багровая тьма таинственной глотки, я растерялся, не зная, можно ли присоединиться к уже построившейся шестерке. В последний миг меня выручила женщина, стоявшая рядом с молодым брюнетом, одетым чуднее всех остальных: она схватила меня за руку и без долгих церемоний потянула за собой.

Стало почти совсем темно; я чувствовал теплую, сильную руку незнакомки, пол двигался вперед, посветлело, и мы очутились в просторном гроте. Десятка полтора последних шагов мы шли в гору, по осыпавшимся валунам, между разбитыми каменными столбами. Незнакомка выпустила мою руку, мы по очереди, низко наклонившись, через узкое отверстие вышли из пещеры.

Хоть я и приготовился к неожиданностям, но все-таки изумился не на шутку. Мы стояли на просторном песчаном берегу огромной реки, под палящими лучами тропического солнца. Противоположный, далекий берег покрывали джунгли. В неподвижной воде затонов покоились лодки, а скорее пироги, выдолбленные из древесных стволов; на фоне буро-зеленого течения, которое лениво перекачивалось за ними, застыли в величественных позах негры огромного роста, обнаженные, с оливковым отливом, покрытые известково-белым узором татуировки; каждый опирался веслом о борт лодки.

Одна, полная, как раз отчаливала; ее чернокожий экипаж ударами весел и пронзительными воплями раз-

гонял лежавших в иле, зарывшись в него до половины хребта, похожих на корявые колоды крокодилов, те поворачивались и, бессильно щелкая зубастыми челюстями, уползали на глубину. Мы всемером спускались с крутого берега; первая четверка заняла места в следующей лодке, негры с явным усилием уперлись веслами в обрыв и оттолкнули утлое суденышко так, что оно завертелось вокруг своей оси; я немного отстал, передо мной была только та пара, которой я был обязан решением и предстоящим путешествием, ибо как раз показалась новая лодка, длиной метров в десять, чернокожие гребцы окликнули нас и, борясь с течением, ловко причалили. Мы прыгнули в рассыпающееся нутро лодки, поднялась пыль, пахнувшая недогоревшей древесиной. Молодой человек в фантастическом одеянии, изображавшем тигровую шкуру, причем верхняя половина черепа хищника, свисавшая на спину молодого человека, могла служить ему головным убором, помог своей спутнице сесть. Я занял место напротив них, а тем временем мы уже плыли, и хотя несколько минут я был в ночном парке, теперь я уже не был в этом полностью уверен. Стоявший на носу лодки великан-негр издавал то и дело дикие вопли, два ряда спин сгибались, лоснясь, весла коротко и резко вонзались в воду, лодка, скрипя, ползла по песку, пока не попала на стрежень.

Я вдыхал тяжелый, нагретый запах воды, тины, гниющих растений, плывших у наших бортов, всего на ладонь возвышавшихся над уровнем воды. Берега отдалялись, мы миновали характерный серо-зеленоватый, словно испепеленный буш, с дышавших солнечным жаром песчаных отмелей с плеском соскальзывали иногда похожие на оживающие стволы крокодилы, один довольно долго держался за нашей кормой, сначала на поверхности виднелась его продолговатая голова, потом вода стала заливать его выпуклые глаза, и только его нос, темный, как речной камень, двигался, торопливо рассекая бурую воду. Меж равномерно колыхавшимися спинами чернокожих гребцов виднелись ее вспененные валы там, где река омывала затопленные препятствия, — негр на носу издавал тогда иной, хриплый окрик, весла с одной стороны ударяли резче, лодка сворачива-

ла; мне трудно сказать, когда глухое, грудное побряхтывание гребцов стало сливаться в угрюмый, повторяющийся напев, нечто вроде гневного возгласа, переходящего в жалобный вопль, завершаемый многократным всплеском рассекаемой веслами воды. Так плыли мы, словно и взаправду перенесенные в сердце Африки, по огромной реке, среди серо-зеленой саванны. Стена джунглей была уже далеко, растаяв в знойном мареве, чернокожий рулевой задавал темп, вдали паслись антилопы, неспешным, тяжелым галопом проскакало стадо жирафов; в какой-то момент я почувствовал на себе взгляд сидевшей напротив меня женщины и посмотрел на нее.

Меня поразила ее красота. Я уже заметил, что она привлекательна. Теперь она была совсем близко от меня, и я увидел: она не просто привлекательна, а прекрасна. Темные с медным отливом волосы, белое, невыразимо спокойное лицо, неподвижные вишневые губы. Она зачаровала меня. Как этот онемевший на солнце необъятный простор. В ее красоте было то совершенство, которого я всегда побаивался. Быть может потому, что слишком мало пережил на земле и слишком много об этом размышлял, во всяком случае, передо мной находилась женщина, казавшаяся неземной, хотя эта величественная ложь проистекает лишь из определенной конфигурации черт и из внешнего облика, но кто же думает об этом, когда смотрит? Женщина улыбнулась, только глазами, а губы ее сохранили выражение пренебрежительного равнодушия. Улыбнулась не мне, скорее своим мыслям. Ее спутник сидел на заклиненной в выдолбленном стволе скамеечке, опустив левую руку за борт, так что кончики пальцев касались воды, но не смотрел ни туда, ни на скользившую по сторонам панораму дикой Африки: просто сидел, как в приемной у зубного врача, скучающий и ко всему безразличный.

Впереди показались сероватые камни, рассыпанные по всей реке. Рулевой стал кричать, словно заклиная, страшно оглушительным голосом. Негры бешено колотили веслами, камни оказались нырявшими гиппопотамами, лодка прибавила скорость; стадо толстокожих осталось позади, сквозь ритмичный плеск весел, сквозь

хриплую, глухую песню гребцов доносился неизвестно откуда смутный шум. Вдали, там, где река исчезала меж все круче вздымавшихся берегов, показались две сходившиеся друг с другом огромные, дрожащие радуги.

— Аге! Аннаи! Аннаи! Аге-е-е! — как ошалевший, ревел рулевой. Негры налегли на весла, лодка летела как на крыльях, женщина протянула руку и стала не глядя искать руку своего спутника.

Рулевой орал. Пирога двигалась с поразительной быстротой. Нос задрался, мы соскользнули с гривы огромного, с виду неподвижного вала, и между рядами бешено работавших чернокожих спин я увидел огромную излучину реки: сразу потемневшая вода валила в ворота утесов. Течение раздваивалось, мы мчались вправо, где вода поднималась побелевшими от пены волнами, а левый речной рукав исчезал без следа, и лишь чудовищный грохот вместе со столбами водяной пыли говорил, что за скалами скрывается водопад. Мы миновали его и попали в другой рукав, но и тут поток бурлил. Пирога скакала теперь, как верховой конь, между черными порогами, над каждым из которых вздымалась стена ревущей воды, берега сближались, негры с правого борта перестали грести и, приставив рукояти весел к груди, со страшной силой оттолкнулись от скалы, так что от толчка груди их глухо загудели, пирога попала на середину течения. Нос взмыл вверх, рулевой чудом устоял на ногах, на меня дохнуло холодом от летевших из-за камней брызг, пирога, дрожа, как пружина, полетела вниз. Невероятным был этот водный слалом, с обеих сторон мелькали черные скалы с разлетающимися гривами воды, еще и еще раз пирога, с глухим сотрясением оттолкнутая негритянскими веслами от валунов, отлетела от них и вонзилась, как пущенная по белой пене стрела, в горло бешеного потока. Я поднял глаза и увидел распростертые в высоте кроны сикамор; среди ветвей носились маленькие обезьянки. Мне пришлось схватиться за борт, так сильно нас потрянуло, подбросило и в грохоте водяной массы, зачерпывая обоими бортами, промокнув в один момент до нитки, мы помчались еще круче вниз, это было уже падение, береговые валуны пролетали, как статуи чудовищных птиц с пеной у острых крыльев, гро-

хот, грохот. На фоне неба — выпрямившиеся фигуры гребцов, неких стражников катаклизма; мы неслись прямо на каменный столб, деливший пролив на две части, перед столбом кружил черный водоворот, мы неслись на препятствие, я услышал женский крик.

Негры боролись в беспамятстве отчаяния, рулевой поднял руки, я видел его раскрытый в вопле рот, но не слышал голоса, он приплясывал на носу, пирога шла наискосок, отхлынувшая волна задержала нас, секунду мы стояли на месте, потом, словно и не было бешеной работы весел, лодка повернулась и пошла кормой вперед, все быстрее.

В одно мгновение два ряда негров, отшвыгнув весла, исчезли; недолго думая, они прыгнули в воду по обе стороны пироги. Последним смертоносный прыжок сделал рулевой.

Женщина вскрикнула второй раз; ее спутник уперся ногами в противоположный борт, она прильнула к нему, а я с искренним восторгом смотрел на это зрелище: огромные валы, гремящие радуги, лодка налетела на что-то, вопль, пронзительный вопль...

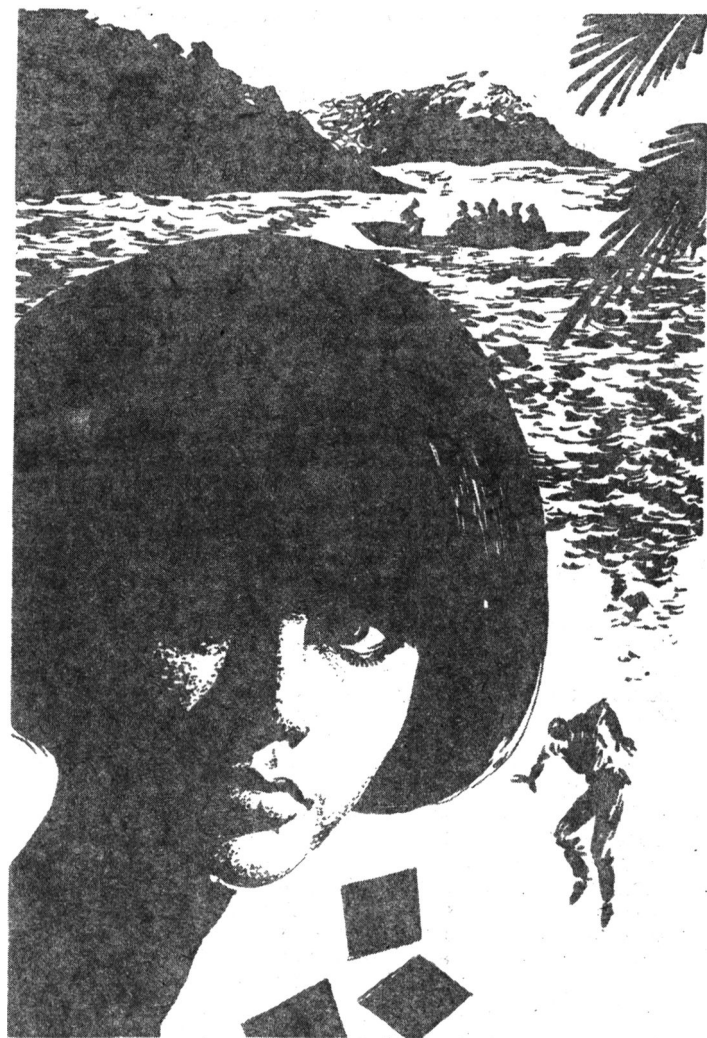
Поперек несшего нас вниз водяного тарана лежало дерево, лесной великан, свалившийся сверху и образовавший подобие моста. Те двое бросились на дно лодки. Оставшуюся мне долю секунды я колебался, не сделать ли и мне то же самое. Я знал, что все это — негры, водный слалом, африканский водопад — лишь удивительный обман зрения, но сидеть неподвижно, когда нос лодки уже скользнул под залитый водой смолистый ствол гигантского дерева, было выше моих сил. Я молниеносно притнулся, но одновременно поднял руку, и она прошла сквозь ствол, не задев его, я, как и ожидал, ничего не ощутил, но, несмотря на это, иллюзия, что мы чудом избежали катастрофы, была полной.

Но это был еще не конец: на следующей волне пирога встала на дыбы, огромный вал накрыл нас, завертел, сердце бешено заколотилось, а лодка тем временем шла адскими кругами, метя прямо в центр водоворота. Если женщина и кричала, я все равно ничего не смог бы услышать: треск разлетающихся бортов я ощутил телом, уши были словно заткнуты ревом водопада; пирога, со

сверхъестественной силой подброшенная вверх, застряла между утесами. Оба моих спутника выскочили на залитую пеной скалу, взобрались наверх, я — за ними.

Мы находились на утесе между двумя рукавами мечущейся белизны. Правый берег был довольно далеко; к левому вел закрепленный в расселинах утеса деревянный мостик, нечто вроде висячего перехода прямо над волнами, валившимися в глубину адского котла. Воздух леденил от тумана, водяных брызг, шаткий мостик висел, лишенный перил, скользкий от влаги, по прогнившим доскам, еле державшимся в плетеных шнурах, нужно было пройти несколько шагов до берега. Мои спутники, стоя возле меня на коленях, казалось, спорили, кто пойдет первым. Конечно, я ничего не слышал. Воздух словно затвердел от непрерывного грохота. Наконец молодой человек встал и что-то сказал мне, показывая вниз. Я увидел пирогу; ее оторванная корма в эту минуту затанцевала на волне и исчезла, кружась все быстрее, втянутая водоворотом. Молодой человек в тигровой шкуре был уже не такой безразличный или сонный, как в начале путешествия, зато злился, словно попал сюда вопреки своей воле. Он взял женщину за руку, мне подумалось: он сошел с ума, ибо он явно сталкивал ее прямо в ревущую бездну. Женщина что-то сказала ему, я видел возмущение, сверкавшее в ее глазах. Я положил руки им на плечи, показывая, чтобы они меня пропустили, и ступил на мостик. Он раскачивался и плясал в воздухе; я шел не очень быстро, руками помогая себе удержать равновесие, раза два посередине пошатнулся. Мостик вдруг затрясся так, что я чуть не упал. Это женщина, не дождавшись, пока я перейду, взошла на него; боясь упасть, я прыгнул вперед, приземлился на самом краю скалы и тут же обернулся.

Женщина не перешла: она попятилась. Молодой человек ступил на мостик первым, держа ее за руку, невероятные очертания, рождаемые водопадом, белыми и черными фантомами слагали фон их неуверенного прохода. Когда он был совсем рядом, я подал ему руку, в тот же миг женщина споткнулась, мостик заколебался, я потянул ее спутника так, что скорее оторвал бы ему руку, чем позволил упасть; от рывка он пролетел два метра



и очутился позади меня, на коленях, но выпустил женщину.

Она еще была в воздухе, когда я прыгнул, ногами вперед, стараясь врезаться в волны наискосок, между берегом и стеной ближайшего валуна. Потом, когда у меня было время, я долго размышлял обо всем этом. В сущности, я знал, что водопад и воздушная переправа — всего лишь обман зрения, кроме всего прочего, доказательством служил ствол дерева, сквозь который прошла моя рука. Несмотря на это, я прыгнул, словно женщина действительно могла погибнуть, и даже, помню, абсолютно бессознательно приготовился к леденящему удару воды, брызги которой продолжали лететь нам в лицо и на одежду.

Однако я не почувствовал ничего, кроме сильного дуновения воздуха, и очутился в просторном зале, в такой позе, будто неловко спрыгнул с забора. Раздался многоголосый смех.

Я стоял на мягком, словно пластиковом полу, вокруг полно людей, у некоторых одежда была еще мокрая; здрав головы кверху, они хохотали до упаду.

Я посмотрел туда же, куда они, — это было невероятно.

Ни водопадов, ни скал, ни африканского неба не было и в помине; я видел блестящий потолок, а под ним — подплывавшую в этот момент пирогу, а точнее, некую бутафорию, напоминавшую лодку лишь сверху и с боков; на дне помещалась какая-то металлическая конструкция. В ней лежали плашмя четыре человека, вокруг них не было ничего: ни гребцов-негров, ни скал, ни реки, лишь иногда мелькали, вылетая из скрытых устройств, тонкие струи воды. Немного дальше вздымался, как воздушный шар на привязи, ничем не подпертый, скалистый утес, на котором закончилось наше путешествие. Деревянный мостик вел от него к каменному выступу, торчавшему из металлической стены. Немного выше виднелась лесенка с перилами и дверь. Вот и все. Пирога с людьми дергалась, поднималась, резко падала, абсолютно беззвучно, я слышал только взрывы веселья, сопровождавшие очередные этапы плаванья по водопаду, которого не было. Пирога ударилась о скалу, люди выскочили из нее, им пришлось пройти по мостику...

После моего прыжка прошло секунд двадцать. Я искал глазами женщину. Она взглянула на меня. Мне стало как-то не по себе. Я не знал, следует ли мне подойти к ней. Но тут собравшиеся стали выходить, и мы оказались друг с другом рядом.

— Всегда одно и то же, — сказала она, — каждый раз я падаю!

Ночной парк, фейерверк и звуки музыки казались не совсем реальными. Мы выходили в возбужденной пережитым испугом толпе; я увидел спутника женщины, он проталкивался к ней, такой же сонный, как раньше. Меня он словно вообще не замечал.

— Пойдем к Мерлину, — сказала женщина громко. Я вовсе не собирался подслушивать. Но новая волна выходящих не давала мне отойти. Поэтому я продолжал стоять возле них.

— Это похоже на бегство... — заметила она с улыбкой. — Не боишься же ты колдовства?..

Женщина обращалась к своему спутнику, но смотрела на меня. Конечно, я мог проложить себе дорогу, но, как всегда в подобных ситуациях, больше всего боялся показаться смешным. Они пошли, появилось свободное место, другие возле меня тоже решили посетить дворец Мерлина, и когда я направился в его сторону, а несколько человек разделили нас, меня охватили сомнения, не ошибся ли я минуту назад.

Мы двигались шаг за шагом. На газонах стояли бочки с пылающей смолой; блеск пламени освещал кирпичные бастиины. Мы прошли по мосту над крепостным рвом, под выптербленными зубцами решетки, погрузились в полумрак и прохладу каменной привратничкой, из нее вела винтовая лестница, гудевшая от множества шагов. Но стрельчатый коридор второго этажа был уже не таким людным. Он вел на галерею, с которой был виден двор, по нему с воплями гонялись за каким-то черным страшилищем верховые на покрытых чепраках конях; я нерешительно шел неведомо куда среди десятка с лишним людей, которых я уже начинал отличать друг от друга. Женщина и ее спутник мелькнули среди колонн, в стенных нишах стояли пустые латы. В глубине открылись окованные медью великанские двери, мы

вошли в обитую красным бархатом палату, освещенную факелами, их смолистый дым раздражал обоняние. За столами пирувал крикливый сброд, не то пираты, не то странствующие рыцари, на вертелех пеклись огромные куски мяса, красноватый отблеск огня скакал по лоснящимся от пота лицам, кости хрустели на зубах окованных в броню пирующих, иногда, встав из-за стола, они проходили между нами. В следующем зале несколько верзил играли в кегли, вместо шаров пользуясь черепами; все вместе взятое показалось мне наивной халтурой, я задержался возле игроков, они были с меня ростом, кто-то налетел на меня сзади и невольно вскрикнул от удивления. Я обернулся и посмотрел в глаза какому-то юнцу. Он пробормотал извинение и быстро ушел с довольно глупой миной. Только взгляд темноволосой женщины, из-за которой я оказался в этом дворце дешевых чудес, объяснил мне, что случилось: тот тип хотел пройти сквозь меня, приняв меня за одного из нереальных гостей Мерлина.

Сам Мерлин принял нас в отдаленном крыле дворца, в окружении свиты в масках, неподвижно ассистировавшей его чарам. Но мне уже немного надоело, и я равнодушно воспринимал штучки чернокнижника. Зрелище закончилось быстро: присутствующие стали уходить, когда Мерлин седой, величественный, преградил нам путь и молча указал на обитые черным двери напротив.

Только нас троих он пригласил пройти в них. Сам не вошел. Мы очутились в не очень большой комнате с высоким потолком, одна стена — сплошь стеклянная, от свода до каменного пола из черных и белых плит. Казалось, в комнате, вдвое большей, чем на самом деле, шесть человек стоят на каменной шахматной доске.

Обстановка не было никакой — ничего, кроме высокой алебастровой урны с букетом цветов, похожих на орхидеи, но с необычайно большими венчиками. Каждый — другого цвета. Мы стояли напротив зеркала.

Вдруг мое отражение взглянуло на меня. Оно не повторило моего движения. Я застыл, а тот, высокий, плечистый, медленно перевел взгляд сначала на темноволосую женщину, потом на ее спутника — никто из нас не шевельнулся, и лишь наши отражения, неведомо как

ставшие самостоятельными, ожили и разыграли между собой молчаливую сцену.

Юноша в зеркале подошел к женщине, заглянул ей в глаза, она отрицательно покачала головой. Вынула из белой урны цветы и, перебрав их, взяла три: белый, желтый и черный. Белый подала ему, а с двумя остальными подошла ко мне. Ко мне, отраженному. Протянула оба цветка. Я взял черный. Тогда она вернулась на прежнее место, и все мы — там, в зазеркалье, — приняли в точь-в-точь такие позы, в каких стояли в действительности. Тогда цветы у двойников исчезли, и они стали обычными нашими отражениями.

Двери в противоположной стене открылись; по винтовой лестнице мы сошли вниз. Колонны, арки, своды незаметно перешли в серебро и белизну пластиковых коридоров. Мы шли дальше, все еще молча — не то вместе, не то отдельно; ситуация становилась мне все неприятнее, но что я мог поделать? Последовать правилам хорошего тона столетней давности и представиться?

Приглушенные звуки оркестра. Мы были словно за кулисами, за невидимой сценой, в глубине стояло несколько пустых столиков с отодвинутыми стульями, женщина остановилась и спросила своего спутника:

— Пойдем потанцуем?

— Мне не хочется, — сказал он. Я впервые услышал его голос.

Юноша был красив, но так инертен, так непостижимо пассивен, словно его не интересовало ничто на свете. У него был тонко очерченный, почти девичий рот. Юноша посмотрел на меня. Потом на свою спутницу. Он стоял и молчал.

— Ну иди, если хочешь... — сказала она. Он раздвинул занавес, служивший одной из стен, и вышел. Я направился за ним.

— Минутку! — услышал я за спиной.

Я остановился. За занавесом раздались аплодисменты.

— Хотите присесть?

Я сел, ничего не говоря. Профиль ее был великолепен. Жемчужные диски прикрывали ее ушные раковины.

— Я Аэн Аэнис.

— Гэл Брегг.

Казалось, она удивлена. Не моим именем. Оно ей ничего не говорило. Скорее, тем, что я столь безразлично воспринял ее имя. Теперь я мог рассмотреть ее вблизи. Ее красота была совершенна и беспощадна. Спокойная, сдержанная небрежность ее движений — тоже. Ее розово-серое, вернее, серо-розовое платье, подчеркивающее белизну лица и рук.

— Вы меня не очень любите? — спокойно спросила женщина.

Теперь удивился я.

— Я вас не знаю.

— Я — Аммай из «Подлинных».

— А что такое «Подлинные»?

Она с интересом посмотрела на меня.

— Вы не видели «Подлинных»?

— Я даже не знаю, что это такое.

— Откуда вы явились?

— Из гостиницы.

— Ах так? Из гостиницы... — В ее голосе слышалась нескрываемая насмешка. — А можно узнать, откуда вы явились в гостиницу?

— Можно. С Фомальгаута.

— Что это такое?

— Созвездие.

— Как?

— Звездная система, на расстоянии двадцати трех световых лет отсюда.

Ее веки дрогнули. Губы приоткрылись. Она была невыразимо прекрасна.

— Вы астронавт?

— Да.

— Понимаю. Я реалистка, довольно известная.

Я ничего не сказал. Мы молчали. Играла музыка.

— Вы танцуете?

Я чуть не расхохотался.

— По-вашему не танцую.

— Жаль. Но это можно наверстать. Почему вы проделали такое?

— Что?

— Там, на мостике.

Я ответил не сразу.

— Это... рефлекс.

— Вы с этим были знакомы?

— С искусственным путешествием? Нет.

— Нет?

— Нет.

Секундное молчание. Ее зеленые глаза потемнели.

— Такое можно увидеть только на очень старых копиях... — проговорила она медленно. — Этого никто не сыграет. Невозможно. Когда я увидела, я подумала... вы...

Я ждал.

— Вы могли бы. Вы восприняли это всерьез. Правда?

— Не знаю. Возможно.

— Ничего. Я знаю. Хотите? Я в хороших отношениях с Френе. Может быть, вы не знаете, кто это? Я ему должна сказать... Он главный продюсер реала. Если вы хотите...

Я расхохотался. Она вздрогнула.

— Простите. Но — о небеса, черные и голубые! Вы думаете... устроить меня...

— Да.

Похоже, она ничуть не обиделась.

— Спасибо, не надо. Не стоит, знаете ли.

— Но вы не можете мне сказать, как вы это сделали?

Или это секрет?

— Что значит как? Вы же видели...

Я остановился.

— Вас интересует, как я смог?

— Вы угадали.

Она обольстительно улыбалась темными глазами. Подожди, сейчас тебе расхочется меня обольщать, подумал я.

— Очень просто. Никакого секрета. Меня не бетризировали.

— Ох...

Мне показалось, что она сейчас встанет, но она овладела собой. Она не сводила с меня глаз, огромных, жадных. Смотрела, как на дикого зверя, лежащего в двух шагах, будто находя странное наслаждение в ужасе, который я у нее вызывал. Мне это показалось худшим из оскорблений.

— Так вы можете?

— Убить? — спросил я, любезно улыбаясь. — Да. Могу.
Мы молчали. Музыка играла. Женщина несколько раз поднимала на меня глаза. Не произносила ни слова. Я тоже. Аплодисменты. Музыка. Аплодисменты. Так мы просидели с четверть часа. Вдруг она встала.

— Вы пойдете со мной?

— Куда?

— Ко мне.

— Выпить стаканчик брита?

— Нет.

Аэн повернулась и ушла. Я сидел неподвижно. Она вызывала во мне ненависть. Не оглядываясь, она удалялась. Такой походки я еще никогда не видел. Она не шла, а плыла. Как королева.

Я догнал ее среди живых изгородей, где было почти темно. Слабый отсвет павильонных огней смешивался с голубоватым заревом города. Аэн не могла не слышать моих шагов, но продолжала идти, не замечая меня; я взял ее под руку. Она шла дальше; это выглядело как пощечина. Я схватил ее за руки, повернул к себе, ее лицо, белое в темноте, запрокинулось, она смотрела мне в глаза. Не вырывалась. Да и не смогла бы. Я целовал ее страстно, с ненавистью, ощущая, как она дрожит.

— Ты... — выдохнула она хрипло, когда мы оторвались друг от друга.

— Молчи.

Она попыталась освободиться.

— Погоди, — сказал я и опять стал ее целовать. Неожиданно мое бешенство перешло в отвращение к самому себе, я выпустил ее. Мне казалось, она, убежит. Она осталась. Попробовала заглянуть мне в лицо. Я отвернулся.

— Что с тобой? — тихо спросила она.

— Ничего.

Она взяла меня за руку.

— Пойдем.

Какая-то пара миновала нас и исчезла во мраке. Я пошел за женщиной. Там, в темноте, все казалось возможным, но когда стало светлее, мой порыв — расплата за оскорбление — стал смешон. Возникло чувство, что я ввязываюсь в такую же подделку, какой была неравная опасность и черная магия, — и все-таки я шел дальше.

Ни гнева, ни ненависти — ничего, все мне было безразлично. Я очутился под высокими светильниками и ощущал свою неуклюжесть, делавшую гротесковым каждый шаг рядом с женщиной. А она словно и знать не хотела об этом. Она шла вдоль вала, за которым рядами стояли глайдеры. Я хотел отстать, но она, скользнув ладонью вдоль моего предплечья, схватила меня за кисть. Пришлось бы вырывать руку, что выглядело бы еще смешнее: этакий праведник-астронавт, искушаемый библейской блудницей. Я тоже сел в глайдер, машина дрогнула и помчалась. В глайдере я ехал впервые и понял, почему они без окон. Изнутри глайдер был прозрачный, как из стекла.

Мы ехали долго, молча. Центральная застройка сменялась странными формами пригородной архитектуры: под маленькими искусственными солнышками утопали в зелени строения, образованные плавными линиями, напоминавшие то причудливо раздутые подушки, то раскинутые крылья, граница между домами и их окружением терялась — некая фантазмагория, неустанные попытки создать нечто такое, что не повторяло бы уже существующих форм. Глайдер свернул с широкого пути, пронзил темный парк и остановился у лестницы в виде стеклянного каскада: поднимаясь по ней, я видел растилавшуюся под ногами оранжерею.

Тяжелая дверь бесшумно открылась. Огромный холл, окруженный поверх галереей, бледно-розовые диски ламп без подпорок и без подвески; в наклонных стенах — окна и ниши в какое-то иное пространство, а в них — не фотографии, не изображения, а сама Аэн, огромного роста. Напротив лестницы — в объятиях целовавшего ее смуглого мужчины, над лестницей — в белом мерцающем плато, рядом — склонившаяся над цветами, лиловыми, величиной с ее лицо. Идя за ней, я увидел ее еще в одном окне: с девической улыбкой, с солнечными зайчиками в отливающих медью волосах, такую одинокую.

Зеленая лестница. Белая анфилада. Серебряная лестница. Сквозные коридоры, а в них — непрестанное медленное движение, словно они дышали, стены беззвучно передвигались, создавая проходы там, куда шедшая передо мной женщина направляла шаги; можно подумать,

будто неощутимый ветер закрутляет, формирует слияние галерей, а все, виденное мною, — лишь подступы, подходы. Через комнату, столь белую, настолько просвеченную тончайшими ледяными веточками, что даже тени в ней казались молочными, мы вошли в комнату поменьше — после безукоризненной белизны предыдущей ее бронзовый цвет показался неожиданным. Комната была пуста; неизвестно откуда лившийся свет освещал нас и наши лица снизу; Аэн повела рукой, стало темнее, потом подошла к стене и несколькими жестами вызвала из нее, как по волшебству, выпуклость, превратившуюся в некое подобие двойного, широкого ложа; я достаточно разбирался в топологии, чтобы понять, какими изысканиями определены были линии его очертаний.

— У нас гость, — сказала Аэн. Из стены выскользнул низенький накрытый столик и подбежал к Аэн, как собака. Большой свет погас, когда она жестом приказала, чтобы над нишей с креслами — ах, какие это были кресла, просто слов нет! — появилась маленькая лампа, и стена послушалась ее. Видно, Аэн надоела вся эта почковавшая и расцветавшая на глазах мебель, она склонилась над столиком и спросила, не глядя в мою сторону.

— Блар?

— Можно, — сказал я. Никаких вопросов я не задавал; я не мог не быть дикарем, но мог по крайней мере быть дикарем молчащим.

Аэн подала мне высокий конус с соломинкой, он мерцал как рубин, но был мягкий, на ощупь напоминал пушистую кожуцу плода. Сама она взяла другой. Мы сели. Сиденья были несносно мягкие, словно мы сидели на облаке. У напитка был вкус незнакомых мне свежих фруктов, попадались крошечные кусочки, неожиданно и забавно лопавшиеся во рту.

— Нравится? — спросила Аэн.

— Да.

Это мог быть какой-то ритуальный напиток. Например, для избранных. Или для укрощения особо опасных. Но я уже сказал себе, что ни о чем не стану спрашивать.

— Когда сидишь, ты мне больше нравишься.

— Почему?

— Ты ужасно большой.
— Знаю.
— Нарочно стараешься быть невежливым?
— Нет. Само получается.
Аэн стала тихо смеяться.
— И еще я остроумный, — добавил я. — Куча достоинств, правда?
— Ты не такой, как все, — заметила она. — Никто так не говорит. Скажи мне, как это происходит. Что ты чувствуешь?
— Не понимаю.
— Притворяешься, да? А может, ты обманул меня?
Нет. Невозможно. Ты бы не сумел...
— Прыгнуть?
— Я не об этом.
— А о чем?
Ее глаза сузились.
— Не догадываешься?
— Ну, знаешь! — воскликнул я. — Что, этого у вас уже не делают?
— Делают, но не так.
— Подумать только. Так хорошо у меня получается?
— Нет. Так, словно ты хотел... — она не договорила.
— Что?
— Сам знаешь. Я это чувствовала.
— Я был зол... — признал я.
— Зол! — пренебрежительно передразнила она. — Я думала, ты... сама не знаю, что я думала. Никто не решился на такое, понимаешь?
Я усмехнулся про себя.
— Именно это тебе так понравилось?
— Как ты не понимаешь? В мире не стало страха, а ты можешь испугать.
— Хочешь еще? — спросил я. Ее губы приоткрылись, она снова смотрела на меня, как на дикого зверя.
— Хочу.
Она придвинулась ко мне. Я взял ее руку, положил на свою, плашмя — ее пальцы едва доставали мои.
— Почему у тебя такая жесткая рука? — спросила Аэн.

— От звезд. Они острые. А теперь спроси: почему у тебя такие большие зубы?

Аэн улыбнулась.

— Зубы у тебя вполне обыкновенные.

Говоря это, она подняла мою ладонь, так осторожно, что я вспомнил всю встречу со львом и не обиделся, а засмеялся. Все это в конце концов ужасно глупо.

Аэн привстала, налила себе из маленькой темной бутылочки и выпила.

— Знаешь, что это? — спросила она, зажмурившись, словно обожглась питьем. У нее были огромные ресницы, видимо, накладные. У актрис всегда накладные ресницы.

— Нет.

— Никому не скажешь?

— Никому.

— Перто...

— Ну и ну, — сказал я на всякий случай.

Аэн открыла глаза.

— Я видела тебя еще раньше. Ты шел с таким страшным стариком, а потом возвращался один.

— Это сын моего младшего товарища, — объяснил я. Самое удивительное, что это правда, мелькнуло у меня в голове.

— Ты привлекаешь внимание, знаешь?

— Что поделаешь.

— Не только потому, что ты такой большой. Ты ходишь иначе. И смотришь так, словно...

— Как?

— Так, словно ты все время настороже.

— Перед чем?

Аэн не ответила. Лицо ее изменилось. Дыхание стало громче, она взглянула на свою руку. Кончики ее пальцев дрожали.

— Уже... — сказала она и тихо улыбнулась, но не мне. Словно что-то снизошло на нее. Зрачки ее расширились, она медленно опустилась на серое изголовье, отливающие медью волосы рассыпались, она смотрела на меня, как победительница.

— Поцелуй меня.

Я обнял ее, и это было ужасно, ибо я хотел и не хо-

тел, — мне казалось, она перестает быть собой, — словно каждый миг она могла превратиться в кого-то другого. Она вцепилась в мои волосы, когда она отрывалась от меня, ее дыхание походило на стон. Кто-то из нас фальшивит, подличает, думал я, но кто, она или я? Я целовал ее, ее лицо было прекрасно до боли и чуждо до ужаса, потом — только невыносимое наслаждение, но и тогда во мне не исчез холодный, молчаливый наблюдатель. Послушное изголовье напоминало присутствие кого-то третьего, чья бдительность унижала, и, словно зная об этом, мы за все время не произнесли ни слова. Я уже засыпал, обнимая Аэн, а мне все еще казалось, что кто-то стоит и смотрит, смотрит...

Когда я проснулся, она спала. Мы были в другой комнате. Нет, в той же самой. Но она как-то изменилась: часть стены отодвинулась, стал виден рассвет. Над нами, словно забытая, горела узкая лампочка. За стеной, над вершинами еще черных деревьев, занимался день. Я осторожно подвинулся на край постели; Аэн пробормотала что-то похожее на «Алан» и продолжала спать.

Я пошел по пустым, просторным залам. Окна в них выходили на восток. Сквозь них лился алый блеск, прозрачная мебель казалась налитой красным вином. В глубине анфилады я увидел чью-то тень: это был робот, жемчужно-серый, безликий его торс слабо светился, в нем лампадкой тлел рубиновый огонек.

— Я хочу уйти, — сказал я.

— Пожалуйста.

Серебряные, зеленые, голубые лестницы. Я попросился со всеми сразу лицами Аэн в высоком, как храм, холле. День уже был в разгаре. Робот открыл мне дверь подъезда. Я велел ему вызвать глайдер.

— К вашим услугам. Вам угодно домашний?

— Можно домашний. Мне нужно в гостиницу «Алькарон».

— Слушаюсь. К вашим услугам.

Кто-то мне уже так отвечал. Но кто? Я не мог вспомнить.

По крутой лестнице — чтобы до конца помнилось, что это дворец, а не простой дом, — мы с роботом сошли вместе; солнце уже поднялось высоко; я сел в машину.

Когда она тронулась, я оглянулся. Робот все еще стоял в позе послушания, сложенными тонкими щупальцами напоминая богомола.

Улицы были почти пусты. В садах, как покинутые причудливые корабли, отдыхали виллы; именно отдыхали, словно приземлились на минутку, сложив остроугольные, разноцветные крылья. В центре народу было больше. Остроконечные здания с раскаленными на солнце вершинами, дома-оранжереи с пальмами, дома-великаны на широко расставленных опорах — улица рассекала их, вылетала на голубеющий простор, я больше ни на что не смотрел. В гостинице я помылся и позвонил в бюро путешествий. Заказал ульдер на двенадцать. Немножко смешно пользоваться такими названиями, понятия не имея, что это такое.

У меня оставалось еще четыре часа свободного времени. Я соединился с гостиничным Инфором и спросил про Бреггов. У меня не было ни братьев, ни сестер, у дяди по отцу остались двое детей, мальчик и девочка. Если даже их нет в живых, то их дети...

Инфор назвал мне одиннадцать Бреггов. Я спросил, кто они родом. Оказалось, лишь один, Атал Брегг, происходил из моей родни. Он приходился внуком моему дяде, ему было уже под шестьдесят. Итак, я узнал теперь все про свою родню. Снял даже телефонную трубку, чтобы позвонить ему, но потом положил ее. Что в конце концов я мог ему сказать? Или он мне? Как умер мой отец? Моя мать? Для меня они умерли гораздо раньше, и я, вторично рожденный после их смерти, не имел права спрашивать. Я воспринимал происшедшее как некое коварство, словно обманул их, трусливо бежав от своей судьбы, укрывшись во времени, менее смертельном для меня, чем для них. Это они похоронили меня в звездах, а не я их -- на Земле.

И все-таки я опять снял трубку. Ждать пришлось долго. Наконец, откликнулся домашний робот, сообщивший, что Атал Брегг сейчас не на Земле.

— А где?

— На Луне. Отбыл на четыре дня. Что передать?

— Что он делает? Кто он по профессии? — спросил я. — Дело в том, что... я не знаю, тот ли он человек, которого я ищу, возможно, произошла ошибка...

Обманывать робота было как-то легче.

— Он психопед.

— Спасибо. Я позвоню через несколько дней.

Я положил трубку. Он не астронавт, и на том спасибо.

Подключившись опять к гостиничному Инфору, я спросил, какое развлечение он может мне предложить на два-три часа.

— Посетите наш реалон.

— А что там?

— «Возлюбленная». Самый новый реаль Аэн Аэнис.

Я спустился вниз: реалон был под землей. Зрелище уже началось, но робот у входа сказал мне, что я почти ничего не потерял — всего несколько минут. Он провел меня в темноту, каким-то странным способом добыл из нее яйцевидное кресло и, усадив меня в него, исчез.

Первое впечатление было, словно я сидел у театральной сцены или даже на самой сцене — так близко были актеры. Казалось, протяни руку — и дотронешься до них. Мне повезло, шла историческая драма из моих времен; время действия точно не указано, но, судя по некоторым подробностям, все происходило спустя несколько лет после моего отлета.

Сначала я наслаждался костюмами: сценография была натуралистична, но именно это меня и развлекало, ибо я улавливал множество ошибок и анахронизмов. Герой, весьма интересный, смуглый брюнет, вышел из дому во фраке (было раннее утро) и поехал в автомобиле на свидание с любимой; на нем был и цилиндр, но серый, как у англичанина, едущего на скачки. Потом показывали романтический кабачок с хозяином, каких я в жизни не видал — он был вылитый пират; герой уселся прямо на фалды фрака и потягивал через соломинку пиво; и так далее, и так далее.

Вдруг мне расхотелось смеяться: появилась Аэн. Оде-та она была бестолково, но это сразу потеряло всякое значение. Зрители понимали: она любит другого, а этого юношу обманывает; типичная героиня мелодрамы, коварная, приторная — штампы и банальность. Но Аэн не поддавалась искушению. Она показывала девушку безрас-судную, самозабвенную и из-за безграничной наивности

собственной жестокости — ни в чем не повинную, делавшую несчастными всех именно потому, что не хотела принести несчастья никому. Бросаясь в объятия одного, она забывала о другом так неподдельно, что верилось в ее искренность.

Впрочем, весь этот вздор куда-то уходил, и оставалась лишь Аэн, великая актриса.

Реаль превосходил обыгный телетеатр. Если вглядываться в какой-нибудь фрагмент сцены, фрагмент этот начинал увеличиваться и разрастаться, так что каждый зритель сам, по собственному выбору, решал, хочет ли он видеть первый план или общий. Причем на краю поля зрения пропорции не искажались. Это была дьявольски хитроумная оптическая комбинация, создававшая иллюзию сверхъестественно четкой, многократно усиленной яви.

Потом я вернулся к себе, чтобы уложить вещи: через несколько минут надо было уезжать. Вещей оказалось многовато, я был еще не готов, когда запел телефон: подали мой ульдер.

— Сейчас спущусь, — сказал я. Робот-носильщик забрал чемоданы. Выходя из номера, я вновь услышал телефон. Я задержался. Легкий сигнал повторялся неутомимо. Еще решат, что я сбежал, подумал я и снял трубку, не совсем понимая, зачем я это делаю.

— Это ты?

— Да. Ты проснулась?

— Давно уже. Что ты делаешь?

— Смотрел тебя. В реале.

— Да? — переспросила она. В голосе ее послышалось удовлетворение, означавшее: он мой.

— Нет, — сказал я.

— Что нет?

— Аэн, ты — великая актриса. Но я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь.

— А ночью ты тоже был не тот? — перебила Аэн. В голосе ее звенела веселая нотка — и мне опять стало смешно. Я никак не мог успокоиться: этакий звездный квакер, однажды уже совершивший грехопадение, суровый, раскаивающийся, скромный.

— Нет, — сказал я, с трудом сдерживаясь, — я был тот! Но я уезжаю.

— Навек?

Этот разговор развлекал ее.

— Послушай, — начал я и остановился, не зная, что сказать. Какое-то время я слышал только ее дыхание.

— И что дальше? — спросила Аэн.

— Не знаю, — я быстро поправился, — ничего. Я уезжаю. Это бессмысленно.

— Конечно, — согласилась она, — и именно поэтому замечательно. Что ты смотрел? «Подлинных»?

— Нет. «Возлюбленную». Послушай...

— Это полный провал. Я видеть этого не могу. Моя худшая вещь. Посмотри «Подлинных». Или нет, приходи вечером. Я тебе покажу. Нет, нет, сегодня не смогу. Завтра.

— Аэн, я не приду. Я действительно сейчас уезжаю...

— Не говори «Аэн», говори «послушай»... — попросила она.

— Послушай, пойдешь ты к черту!!! — сказал я и положил трубку, мне стало ужасно стыдно, я поднял ее, снова положил и выбежал из номера, словно за мной гнались. Я спустился вниз, а оказалось, что ульдер на крыше. Пришлось опять ехать наверх.

На крыше был сад с рестораном и посадочная площадка. Точнее, гибрид ресторана и посадочной площадки, перемешанные ярусы, летающие перроны, невидимые шахты — я ни за что не отыскал бы своего ультера и за целый год. Но меня подвели к нему чуть ли не за руку. Он был меньше, чем я думал. Я спросил, сколько продлится полет, мне хотелось почитать.

— Около двадцати минут.

За чтение браться не стоило. Внутри ульдер немного напоминал экспериментальную ракету Термо-Факс, которой я когда-то управлял, только немного комфортабельнее, но когда закрылись двери за роботом, любезно пожелавшим мне счастливого пути, стены сразу стали прозрачными, а поскольку я сидел на переднем из четырех мест (остальные были свободны), впечатление создалось такое, будто я летел на стуле, помещенном в большом стакане.

Весьма забавно, но ничего общего с ракетой или автомобилем; скорее похоже на ковер-самолет. Причудли-

вое средство сообщения сначала взвилось вертикально без всякой вибрации, а затем, как стрела, помчалось горизонтально. Опять произошло то, что я уже заметил однажды: ускорение не сопровождалось ростом инерции. Тогда, на вокзале, можно было принять это за обман чувств, теперь же я был уверен в верности своих ощущений. Трудно передать мое состояние: если они действительно ликвидировали зависимость между ускорением и инерцией, значит, всё — гипотермия, испытания, отбор, мучения и тяготы нашего путешествия — всё оказалось абсолютно ненужным. То же, что я, мог бы в свое время чувствовать покоритель гималайской вершины, обнаруживший на ней отель, полный туристов, а с другой стороны горы — канатную дорогу и веселые аттракционы. То, что, оставаясь на Земле, я вероятнее всего вообще не дождал бы до такого открытия, отнюдь не утешало меня; я бы обрадовался тому, что такой метод, возможно, не годится для космического плавания. Конечно, чистейший эгоизм, и я отдавал в нем себе отчет, но шок оказался слишком силен, и никакого энтузиазма я не испытал.

Тем временем ульдер бесшумно летел дальше; я глянул вниз. Мы как раз пролетали мимо Терминала: он медленно отодвигался назад, похожий на ледяную крепость, на невидимых из города верхних этажах чернели огромные воронкообразные входные отверстия для ракет. Потом ульдер пронесся довольно близко от острокопечного иглообразного здания в черную и серебряную полосу. Оно было выше уровня полета ульдера. С уровня земли оценить его высоту было невозможно. Оно походило на трубопровод, соединявший город с небом, а на торчащих из него «этажерках» роились ульдеры и другие большие машины. На таких посадочных площадках люди казались горсткой мака, высыпанной на серебряное блюдо. Мы летели над белыми и голубыми группами домов, над садами, улицы становились шире, покрытие проезжей части тоже было цветное, преобладали бледно-розовая краска и охра. Море строений простиралось до самого горизонта, изредка разделенное полосами зелени. Я испугался, что так и будет до самой Клавестры. Но машина прибавила скорость, дома рассыпались, раз-

бежались по садам, появились огромные спирали и бесконечные лучи дорог; они шли многочисленными уступами, сходились, перекрещивались, исчезали под землей, разбегались звездообразно, рассекали ровное, серовато-зеленое пространство под высоким солнцем, кишевшее глайдерами. Потом среди посаженных четырехугольниками деревьев показались огромные строения с вогнутыми кровлями, в центре каждой что-то испускало слабый красноватый свет. Дальше дороги разошлись, теперь всюду господствовала зелень, кое-где — вкрапления другой растительности: красной, голубой; цветы выглядят иначе — слишком интенсивная окраска.

Доктор Жюффон был бы мною доволен, подумал я. Только третий день, и такие достижения. А какое начало. Не кто-нибудь, а великая, прославленная актриса. И почти не боялась, а если и боялась, то страх был ей только приятен. Так держать. Но к чему он говорил о близости? Так ли выглядит у них близость? Как я героически сиганул в водопад. Благородное страшилище, щедро вознагражденное красавицей, пред которой падают ниц толпы. Как возвышенно с ее стороны!

Лицо у меня горело. Кретин, уговаривал я себя, чего тебе надо? Женщину? Ты ее получил. Ты получил все, что возможно, включая приглашение выступить в реале. Теперь у тебя будет дом, будешь гулять в садике, читать книжечки, смотреть на звездочки и говорить себе тихонечко, скромненько: я был там. Был там и вернулся. И даже законы физики работали на тебя, счастливчик, перед тобой еще полжизни, а вспомни, как выглядит Рёмер, который на сто лет старше тебя.

Ульдер стал снижаться, раздался свист, округа, полная белых и голубых дорог, блестящих, как эмалированные, росла на глазах. Большие пруды и маленькие, квадратные бассейны сверкали на солнце. Дома, рассыпанные на вершинах отлогих холмов, становились все больше и правдоподобнее. На горизонте синела горная цепь с убеленными вершинами. Я увидел еще посыпанные гравием дорожки, газоны, клумбы, зеленое зеркало воды в бетонном обрамлении, тропинки, кусты, белую кровлю — все это медленно повернулось, окружило меня и застыло, словно завладевая мною.

IV

Двери открылись. Бело-оранжевый робот стоял на газоне. Я вышел.

— Приветствую вас в Клавестре, — произнес робот, и его белый животик неожиданно тихо запел: раздались хрустальные звуки, словно у него внутри была музыкальная шкатулка.

Я, смеясь, помогал ему выносить мои вещи. Потом задняя крышка ульдера, лежавшего на траве, как маленький серебряный дирижабль, открылась и два оранжевых робота выкатили мой автомобиль. Тяжелый голубой кузов заблестел на солнце. Я совершенно забыл о нем. А потом все роботы, нагруженные моими чемоданами, коробками, пакетами, гуськом направились к дому.

Это был огромный куб с окнами-стенами. Он начинался с панорамного стеклянного солярия, дальше шел холл, столовая и деревянная лестница наверх; работ, поющий, с музыкальной шкатулкой, специально обратил мое внимание на эту настоящую деревянную лестницу.

На втором этаже было пять комнат. Я выбрал расположенную не совсем удачно, на запад, так как в других, а особенно в комнате с видом на горы, было слишком много золота и серебра, в этой — только полоски зелени, напоминающие помятые листья, на кремовом фоне.

Роботы сложили все мои пожитки в стенные шкафы, они работали ловко и тихо, а я стоял возле окна. Порт, подумал я. Пристань. Только высунувшись, я смог увидеть синюю дымку гор. Внизу простирался сад с цветами и несколькими сотнями старых плодовых деревьев в глубине; у них были извилистые сучья. Деревья, пожалуй, уже не плодоносили.

Немного в стороне, по направлению к шоссе (я видел его из ульдера, теперь его заслоняла живая изгородь) поднималась над зарослями выше трамплина. Там был бассейн. Когда я отвернулся от окна, роботы уже ушли. Я передвинул к окну легкий, словно надувной, письменный стол, положил на него пачки научных журналов, сумки с книгами-кристаллами и аппарат для чтения; отдельно — чистые блокноты и ручку. Это была моя старая ручка — при сильной гравитации она начинала течь

и все пачкать, но Олаф прекрасно ее отремонтировал. Я взял блокноты и написал на них: «История», «Математика», «Физика», я все делал быстро, так как хотел скорее попасть в бассейн. Я не знал, можно ли выйти в одних плавках, а купальный халат я забыл. Я пошел в ванную, расположенную в коридоре, и там, маневрируя бутылкой с пеножидкостью, смастерил ужасное, ни на что не похожее страшилище. Содрал его с себя и начал снова. Второй халат получился у меня немного лучше, но все равно он выглядел вызывающе; потом я обрезал самые большие неровности у рукавов и укоротил полы, после чего халат стал выглядеть более или менее прилично.

Я спустился вниз, не зная, есть ли кто в доме. В холле никого не было. В саду тоже, только оранжевый робот подстригал траву возле роз. Они уже отцветали.

Почти бегом я добрался до бассейна. Вода блестела и дрожала. От нее веяло прохладой. Я сбросил халат на золотой песок, который обжигал ступни, и, громыхая по металлическим ступеням, взбежал наверх. Трамплин был невысок, но для начала вполне подходящий. Я оттолкнулся, сделал сальто — не отважился на большее после такого перерыва! — и вошел в воду, как нож.

Я вынырнул счастливый. Быстро поплыл в одну сторону, потом повернул обратно — бассейн был пятидесятиметровым. Я проплыл его восемь раз, не снижая темпа, вылез на берег, с меня текло, как с тюленя, лег на песок, сердце сильно билось. Как здорово! На Земле есть свои прелести! Через несколько минут я уже обсох. Встал, огляделся — никого. Прекрасно! Взбежал на трамплин. Сначала сделал сальто назад — получилось, хотя я слишком сильно оттолкнулся: опорной доской служил пластик, который очень сильно пружинил. Потом я сделал двойное сальто; оно не очень получилось, я ударился бедрами о воду. Кожа моментально покраснела, словно ее обожгло. Повторил. Немного лучше, но все же не совсем верно. После второго витка, принимая вертикальное положение, я не успел выпрямиться и ударился ступнями. Но я был настойчив и у меня было время, много времени! Третий, четвертый, пятый прыжок. У меня уже слегка шумело в ушах, когда я — оглядевшись на всякий случай еще раз — попытался сделать сальто с

поворотом. Это был полный конфуз, фиаско — удар о воду сбил мне дыхание, я наглотался воды и, фыркая, задыхаясь от кашля, вылез на песок. Уселся под ажурной лестницей трамплина такой опозоренный и злой, что тут же рассмеялся над собой. Потом я снова плавал — четыреста метров, перерыв и опять четыреста.

Когда я возвращался домой, мир казался иным. Пожалуй, именно этого мне больше всего не доставало, думал я.

Белый робот ждал меня у дверей.

— Вы будете обедать у себя или в столовой?

— Я буду обедать один?

— Да, извините. Они приезжают завтра.

— Я пообедаю в столовой.

Я поднялся наверх и переоделся. Я не знал еще, с чего начну свои занятия. Пожалуй, с истории, это разумнее всего; хотя мне хотелось делать все сразу, а больше всего — настроиться на загадку побежденной гравитации. Раздался музыкальный сигнал. Явно не телефонный звонок. Я не знал, что это такое, поэтому соединился с домашним Инфором.

— Приглашаем на обед, — объяснил мелодичный голос.

Столовая была залита профильтрованным через зелень сиянием, наклонные стекла у потолка блестели, как кристалл. На столе стоял один прибор. Робот принес меню.

— Не надо, не надо, — сказал я, — мне все равно, что есть.

Первое блюдо напоминало фруктовый суп, второе было уже ни на что не похоже. О мясе, картошке, овощах, вероятно, надо забыть навсегда.

Очень хорошо, что я обедал один, — десерт под моей ложечкой взорвался. Это, может, слишком сильно сказано, во всяком случае крем забрызгал мне колени, свитер. Это была какая-то сложная конструкция, только по виду твердая, и я неосторожно задел ее ложечкой.

Когда появился робот, я, спросил, могут ли мне принести кофе в комнату.

— Конечно, — ответил он. — Сейчас?

— Пожалуйста. И двойную порцию.

После купания меня сморила сонливость, а терять время на сон было жалко. О, здесь действительно все совершенно иначе, чем на борту «Прометей». Послеполуденное солнце поджаривало старые деревья, короткие тени собрались возле стволов, воздух дрожал вдали, но в комнате было даже холодновато. Я сел за письменный стол, за книги. Робот принес мне кофе. Почти трехлитровый прозрачный термос. Я промолчал. Видно, робот исходил из моих габаритов.

Надо было бы начать с истории, но я принялся за социологию, так как хотел сразу узнать побольше. Однако я быстро убедился, что мне с этим не справиться. Она была насыщена трудной социальной математикой, а что хуже всего — авторы обращались к неизвестным мне фактам. Кроме того, я не понимал многих слов и должен был искать их значение в словаре. Пришлось установить другой оптон — у меня их было три. Мне скоро это надоело, дело подвигалось медленно, и я оставил высокие порывы и взялся за обыкновенный школьный учебник истории.

Что-то со мной случилось, я почему-то совсем потерял терпение — это я, которого Олаф называл последним воплощением Будды. Вместо того, чтобы читать учебник страница за страницей, я сразу бросился искать главу о бетризации.

Теорию разрабатывали трое — Бенне, Тримальди и Захаров. Отсюда и возник этот термин. С удивлением я узнал, что они были моими ровесниками — они обнародовали свою теорию через год после нашего отлета. Сопротивление, естественно, было огромным. Вначале никто не хотел принимать этот проект всерьез. Потом его вынесли на заседание ООН. Какое-то время он переходил из одной подкомиссии в другую — казалось он потонет в бесконечных обсуждениях. Однако тем временем исследовательские работы быстро продвигались, теорию усовершенствовали, проводились массовые эксперименты на животных, потом на людях (первые опыты поставили на себе сами создатели — Тримальди на какое-то время парализовало, тогда еще не знали об опасностях, которыми грозит взрослым бетризация, и этот несчастный случай приостановил дело на восемь лет).

Но на семнадцатый год от ноля (мое личное летосчисление — ноль означал старт «Прометея») постановление о всеобщей бетризации приняли, однако это было только начало, а не завершение борьбы за гуманизацию человечества (так говорилось в учебнике). Во многих странах родители не хотели делать детям прививки, а на первые бетростанции нападали; несколько десятков из них совершенно разрушили. Период беспорядков, репрессий, принуждений и сопротивления продолжался лет двадцать. В школьном учебнике, по понятным причинам, обо всем говорилось лишь в общих чертах. Я решил поискать более подробные детали в специальных работах. Перемены укоренились только тогда, когда у первого бетризованного поколения родились дети. В книге ничего не говорилось о биологической стороне бетризации. Здесь было много дифирамбов в честь Бенне, Тримальди и Захарова. Появился проект начать новое летосчисление с проведения бетризации, но его не поддержали. Летосчисление не изменилось. Другими стали люди. Глава заканчивалась патетическим описанием периода Новой Эры Гуманизма.

Я искал монографию Ульриха о бетризации. Снова очень много математики, но я решил ее освоить. Эта операция проводилась не на плазме наследственности, чего я опасался. Иначе не пришлось бы бетризовать каждое последующее поколение. Я подумал об этом с облегчением. Во всяком случае оставалась, по крайней мере теоретически, возможность возврата к прежнему состоянию. Воздействовали на развивающиеся лобные части мозга в раннем периоде жизни с помощью группы белковых ферментов. Эффект протепды был потрясающий: агрессивные порывы сократились на 80—88 процентов по сравнению с небетризованными, исключалось образование ассоциативных связей между актами агрессии и сферой положительных эмоций; на 87 процентов сократилась опасность личного жизненного риска. Отмечалось самое большое достижение — перемены не сказывались отрицательно ни на умственном развитии, ни на формировании личности и что, может, самое важное — возникшие ограничения никак не были связаны со страхом. Другими словами, человек не убивал не потому, что

боялся самого поступка. Это привело бы к нарушению психики, страх охватил бы все человечество. Люди не убивали, так как это даже «не могло прийти им в голову».

Одно положение Ульриха окончательно убедило меня: при бетризации агрессивность исчезает не потому, что она запрещена, а потому, что в ней нет потребности. Подумав, я, однако, решил, что это не объясняет главного — хода мыслей человека, прошедшего бетризацию. Ведь они совершенно нормальные люди и могут представить себе абсолютно все, даже убийство, то же в таком случае делает невозможным его реализацию?

Я искал ответ на этот вопрос до вечера. Как обычно бывает с научными проблемами, то, что казалось относительно простым и ясным в кратком изложении, становилось все более сложным по мере того, как я углублялся в изучение. Музыкальный сигнал позвал на ужин — я попросил принести его в комнату, но даже не притронулся к еде. Объяснения, которые я в конце концов нашел, отличались друг от друга. Отвращение, близкое к омерзению; огромное нежелание, усиленное непонятным для небетризованного образом; самым интересным были показания исследуемых, которые в свое время — восемьдесят лет назад — они давали в Институте Тримальди под Римом, выполняя задание преодолеть невидимый барьер, поставленный в их сознании. Это было, пожалуй, самым необычным из всего, что я прочитал. Ни один из них не преступил этого барьера, но рассказы о переживаниях, испытываемых ими, немного отличались. У одних преобладали психические симптомы — желание убежать, вырваться из ситуации, в которую их поставили. Повторение опытов вызывало у этой группы сильные головные боли, а многократное настойчивое повторение приводило в конце концов к нервному расстройству, которое, однако, быстро излечивалось. Другие испытывали физические страдания: задержку дыхания, ощущение духоты, их охватывало чувство ужаса, но не страха.

По данным Пильгрима, только восемнадцать процентов бетризованных, убедившись, что перед ними кукла, решалось на мнимое убийство.

Запрет распространялся и на всех высших живо-

тных, но он не касался земноводных и пресмыкающихся, а также насекомых. Конечно, в сознании бетризованных отсутствовали научные знания о зоологической систематике. Запрет просто связывался со степенью близости к человеку. Вопрос объяснялся просто — ведь каждый, образованный или нет, знает, что собака ближе к человеку, чем змея.

Я прочитал множество других работ и пришел к выводу — правы те, кто утверждал, что полностью понять бетризованного может только бетризованный. Я отложил это чтение со смешанным чувством. Больше всего меня беспокоило отсутствие работ критических или резко отрицательных, каких-то анализов, суммирующих все негативные результаты бетризации, а что они должны быть, я ни на секунду не сомневался не потому, что не доверял исследователям, просто такова уж сущность любых человеческих начинаний: в них всегда соседствует добро со злом.

В небольшом социографическом очерке Мурвицкого приводилось много интересных данных о движении сопротивления бетризации, возникшем в первое время. Едва ли не самым сильным оно было в странах с многовековыми традициями кровавой борьбы, например, в Испании и некоторых государствах Латинской Америки. Впрочем, нелегальные общества борьбы с бетризацией создавались почти во всем мире, особенно много — в Южной Африке, в Мексике и на некоторых островах в тропиках. Использовались всякие способы — фальсификация медицинских свидетельств о сделанной прививке, и даже убийство врачей, проводящих ее. Когда период массового сопротивления и бурных столкновений прошел, наступило внешнее спокойствие. Внешнее, так как только тогда стал проявляться конфликт поколений. Бетризованная молодежь отбрасывала значительную часть достижений человечества — обычаи, привычки, искусство, все культурное наследство подвергалось коренной переоценке. Перемены охватили множество сфер — от эротики и межличностных отношений до оценки войны.

Конечно, такого огромного воздействия на человечество ожидали. Закон вступил в жизнь, согласно реше-

нию, только через пять лет после его принятия, а в это время готовились многочисленные кадры воспитателей, психологов, специалистов, которые должны были следить за правильным развитием нового поколения. Была проведена полная школьная реформа, изменен репертуар всех зрелищных учреждений, тематика книг и фильмов. На всевозможные нужды и последствия бетризации в течение первых десяти лет тратилось ежегодно около 40 процентов народного дохода всей Земли.

Это было время великих трагедий. Бетризованная молодежь становилась абсолютно чужой для собственных родителей. Она не разделяла их интересов. Она испытывала отвращение к их кровожадным пристрастиям. Четверть века нужно было издавать два типа журналов, книг, ставить различные театральные спектакли, одни — для старшего поколения, другие — для нового. Но все это происходило восемьдесят лет назад. Сейчас родились дети у третьего нового поколения, а в живых небетризованных осталось немного — стотридцатилетние старики. То, что составляло сущность их молодости, новому поколению казалось таким же далеким, как традиции эпохи каменного века.

В учебнике истории я, наконец, нашел информацию о втором по значению великом событии минувшего века — гравитации. Этот век называли даже "столетием парастатики". Мое поколение мечтало о покорении гравитации в надежде, что оно принесет полный переворот в астронавтике. Действительность оказалась иной. Переворот произошел, но он охватил прежде всего Землю.

«Мирная смерть», связанная с несчастными случаями на дорогах, стала трагедией моего времени. Помню, как самые крупные ученые старались разгрузить бесконечно забитые шоссе и дороги, чтобы хоть немного уменьшить статистику все возрастающего числа происшествий; ежегодно сотни тысяч людей погибали в катастрофах, проблема казалась неразрешимой, как квадратура круга. Говорили, невозможно вернуться к безопасности пешехода, самый совершенный самолет, самая мощная автомашина или поезд могут выйти из-под контроля человека, автоматы по сравнению с человеком более надежны, но они тоже ломаются; любая, даже самая совер-

шенная техника имеет определенный недостаток, процент ненадежности.

Парастатика, гравитационная инженерия, решила эту проблему столь неожиданно, сколь необходимо, ведь мир бетризованных должен бы быть миром совершенно безопасным, иначе биологическое совершенство этой меры — напрасно.

Рёмер оказался прав. Сущность открытия можно было выразить математически, добавлю сразу — дьявольски сложно. Наиболее общее решение, важное «для всех вероятных миров», дал калека Эмиль Митке, сын почтового служащего, гений, расправившийся с теорией относительности так же, как Эйнштейн с теорией Ньютона. Это была длинная, необыкновенная и, как любая истина, неправдоподобная история, смешение дел ничтожных и великих, глупости и гениальности людей. Она закончилась, наконец, через сорок лет созданием «малых черных ящиков».

Этим же маленькими «черными ящиками» оснащались все средства передвижения — от водного до воздушного; эти «ящики» гарантировали «временное спасение», как в конце жизни пошутил Митке; в момент опасности — падение самолета, столкновения поездов или автомашин, одним словом, катастрофы освобождался заряд «гравитационного антиполя», которое, взаимодействуя с силой инерции удара или резкого торможения, сводило ее к нулю. Этот математический нуль представлял собой наиреальнейшую действительность — он поглощал всю энергию удара, снимал шок, спасая тем самым и пассажиров, и технику.

«Черные ящики» находились всюду: в лебедках, лифтах, в ремнях парашютов, на океанских лайнерах и в мопедах. Простота их конструкции была такой же ошеломляющей, как и сложность теории, по которой они были созданы.

От первых лучей света порозовели стены моей комнаты, когда я, смертельно усталый, упал на кровать, сознавая, что познакомился со второй, после бетризации, великой революцией века, прошедшего на Земле за время моего отсутствия.

Меня разбудил робот. Он принес завтрак. Было около

часа дня. Сидя в кровати, я нашарил отложенную прошлой ночью работу Старка «Проблема звездных полей».

— Надо ужинать, Брегг, — сделал мне замечание робот. — Иначе вы ослабеете. Нельзя так читать. До расвета. Врачи очень не советуют, знаете?

— Знаю, а откуда тебе-то известно? — спросил я.

— Это мой долг, Брегг.

Он подал мне поднос.

— Я постараюсь исправиться, — проговорил я.

— Надеюсь, что вы правильно поняли мою доброжелательность и не восприняли ее, как назойливость, — произнес он.

— Ну, конечно, понял, — сказал я.

Когда я помешивал кофе и под ложечкой начали таять кусочки сахара, меня охватило огромное и бесконечное изумление. Поразительно было не только то, что я действительно на Земле, что я вернулся, вспоминаю прочитанное ночью, которое никак не выходило из головы, но прежде всего то, что я сижу на кровати, что у меня бьется сердце, — что я живу. Мне захотелось в честь такого открытия сделать что-то особенное, но, как всегда, ничего хорошего придумать не смог.

— Послушай, — обратился я к роботу, — у меня к тебе просьба.

— Я к вашим услугам.

— Ты свободен? Тогда сыграй ту мелодию, что звучала вчера, хорошо?

— С удовольствием, — ответил он, и я под веселые звуки музыкальной шкатулки тремя глотками выпил кофе, а когда робот вышел, я переоделся и побежал к бассейну. Право, не знаю, почему я все время так спешил. Что-то меня подгоняло, словно я чувствовал — в любую минуту мое спокойствие, слишком незаслуженное и невероятное, оборвется. Как бы там ни было, я, даже не оглядываясь, быстро пробежал напрямик через сад, несколькими прыжками взлетел на вышку и, уже отталкиваясь от доски, заметил двоих людей, выходивших из-за дома. С такого расстояния, понятно, я не мог их разглядеть, я сделал сальто, не самое удачное, и нырнул до дна. Открыл глаза. Зеленая вода сверкала как кри-

сталл, тени волн танцевали на освещенном солнце дне. Я поплыл под водой к ступеням, а когда вынырнул, в саду уже никого не было. Делая сальто, я в долю секунды различил опытным глазом мужчину и женщину. Вероятно, у меня появились соседи. Я задумался, не проплыть ли мне еще раз бассейн, но старик Старк победил. Вступление к книге, где писал он, что полеты к звездам — ошибки молодости астронавтики, так разозлило меня, что я готов был закрыть книгу и никогда больше уже не возвращаться к ней. Но я превозмог себя. Поднялся наверх, переделся, спускаясь, я заметил в зале на столе вазу с бледно-розовыми фруктами, немного напоминающими груши, я набил ими карманы брюк, нашел окруженное с трех сторон живой изгородью уединенное место, взобрался на старую яблоню, выбрал подходящее для моего веса разветвление, взобрался туда и принялся за изучение этой погребальной речи над делом моей жизни.

Через час моя уверенность была поколеблена. Старк использовал аргументы, против которых трудно было возразить. Он опирался на скудные данные, которые доставили первые две экспедиции, предшествующие нашей; мы называли их «уколами», ведь они только зондировали пространство на расстоянии нескольких десятков световых лет. Старк составил статистическую таблицу вероятного рассеивания, иначе говоря, «частоты заселения» всей Галактики. Возможность встречи разумных существ он оценивал как один на двести случаев. Другими словами, на каждые двести экспедиций — на протяжении тысячи световых лет — только у одной был шанс открыть обитаемую планету. Однако и такой результат — что удивительно — Старк считал заманчивым, а план космических контактов в его анализе рушился только в дальнейших его рассуждениях. Я возмущался, читая, что неизвестный мне автор писал об экспедициях типа нашей, то есть организованных до открытия эффекта Митке и явлений парастатики. Он считал подобные экспедиции абсурдом. Но черным по белому писал, что по крайней мере теперь в принципе можно создать корабль, развивающий ускорение порядка 1000, а может, даже 2000 g. Экипаж такого корабля вообще не ощущал бы ни ускорения, ни торможения — на борту

было бы постоянное притяжение, равное доли земного. Так, Старк признавал возможным на протяжении одной человеческой жизни полеты до границ Галактики и даже в другие галактики — трансгалактодромия! — об этом так мечтал Олаф. При скорости лишь на незначительную долю процента меньше скорости света экипаж мог достичь глубины метagalaktики и вернуться на Землю, постарев всего на несколько месяцев. Но на Земле за это время должны были пройти не сотни, а миллионы лет. Вернувшись, они не могли бы жить в столь изменившейся цивилизации. Неандерталец легче бы приспособился к нашей жизни. Но это не все. Ведь речь шла не о судьбе группы людей. Они были посланцами человечества. Оно ставило вопросы, на которые они должны были привезти ответы. Если ответ касался проблем, связанных со степенью развития цивилизации, то человечество должно было решить их раньше, чем вернется экспедиция. От постановки вопроса до получения ответа на него проходили ведь миллионы лет. И это не все. Ответ становился неактуальным, мертвым, так как цивилизации, находящиеся за пределами нашей Галактики, достигали уже другого звездного берега. За время возвращения тот мир тоже не стоял на месте, а развивался миллион, два, три миллиона лет. Вопросы и ответы не совпадали, опаздывали на много сотен лет, что перечеркивало их, превращая в фикцию всякий обмен опытом, ценностями, идеями. Напрасно все. Ведь они были посредниками и поставщиками ненужных сведений, а их дело беспощадно и необратимо отчуждало их от человеческой истории; космические экспедиции представляли собой неизвестное до сих пор, самое дорогостоящее своеобразное дезертирство с территории исторических перемен. И ради такой фантазии, ради такого никогда не оплаченного, всегда напрасного безумства Земля должна была работать с наивысшим напряжением и отдавать своих самых лучших людей?

Книга заканчивалась главой о возможностях исследований с помощью роботов. Они тоже, конечно, передавали бы ненужные сведения, но в таком случае удалось бы избежать человеческих жертв.

Было еще трехстраничное резюме — попытка отве-

тить на вопрос, есть ли возможность путешествия со сверхсветовыми скоростями, и даже рассматривалась проблема «моментальной космической стыковки», то есть преодоления мирового пространства без или почти без потери времени. Эта теория, скорее гипотеза, строилась на еще неизвестных свойствах материи и пространства, почти не опиралась ни на какие факты и называлась «телетаксией». Старк считал, что располагает аргументом, перечеркивающим и этот, уже последний шанс. Если бы «телетаксия» существовала, то ее, несомненно, открыла бы какая-нибудь высокоразвитая цивилизация нашей или другой Галактики. В таком случае ее представители могли бы в самое короткое время по очереди дистанционно посетить все планеты солнечной системы, не исключая и нашу. Однако на Земле подобный «телевизит» неизвестен, что доказывает — о таком исследовании космоса можно размышлять, но осуществить — никогда.

Я возвращался домой ошеломленный, с чувством почти личной обиды. Старк, которого я никогда не видел, просто сразил меня. Мой неумелый пересказ не передает неоспоримой логики его рассуждений.

Не помню, как я добрался до комнаты, как переоделся; мне захотелось закурить, но тут я заметил, что уже давно курю, сидя на кровати, согнувшись, словно ожидая чего-то. Действительно — обед. Совместный обед. Да, я на самом деле немного боялся людей. Я не признавался в этом самому себе и именно поэтому так поспешно согласился поселиться на вилле вместе с незнакомыми, может, ожидание встречи с ними вызвало эту необыкновенную спешку, словно я стремился успеть подготовиться к их появлению и при помощи книг проникнуть в тайны новой жизни. Еще сегодня утром я не мог этого четко сформулировать, но после книги Старка мое волнение перед встречей рассеялось, как туман. Я достал из аппарата для чтения голубоватый, похожий на зерно, кристаллик и с чувством огромного удивления положил его на стол. Это он нанес мне нокдаун. Первый раз после возвращения я вспомнил Турбера и Джимму. Я должен с ними встретиться. Может, в этой книге содержится правда, но есть какая-то другая — о нашей правде. Ни-

кто не обладает всей полнотой истины. Это невозможно. Из оцепенения меня вырвал музыкальный сигнал. Я одернул свитер и спустился вниз, прислушиваясь к себе, но уже более спокойный. Солнце освещало виноград, окружавший веранду, холл, как всегда после полудня, заливал рассеянный зеленоватый свет. Стол был накрыт на три персоны. Когда я вошел, открылись двери напротив и в них показались те двое. Они были по современным понятиям высокими. Мы вели себя, как дипломаты — встретились на полпути, я назвал свою фамилию, мы подали друг другу руки и сели за стол. Меня охватило какое-то странное спокойствие, наверное, так чувствует себя боксер, поднявшись после нокаута. Находясь в таком подавленном состоянии, я как бы издалека приглядывался к молодой паре.

Женщине, пожалуй, не было и двадцати. Гораздо позднее я пришел к мысли, что ее невозможно описать; безусловно, фотография не могла бы точно передать ее облика; даже на следующий день я не знал, какой у нее нос, прямой или чуть курносый. Я наблюдал, как она протягивает руку к тарелке, и радовался, словно увидел нечто дорогое, неожиданное, необычное; она улыбалась редко и сдержанно, будто была не совсем уверена в себе, не совсем владела собой, считала себя по натуре слишком веселой или, может, строптивой и старалась с этим разумно справиться, но все время свою самодисциплину немного нарушала, зная об этом, что ее даже забавляло.

Мне приходилось все время бороться с желанием разглядывать. Но все же я то и дело смотрел на нее, на ее волосы, напоминающие ветер, я наклонился над тарелкой, поднимая глаза украдкой, два раза чуть не перевернул вазы с цветами, короче, старался вести себя прилично. Но они словно вообще меня не замечали. Они обменивались взглядами, понятными только им, их соединяли какие-то невидимые нити понимания. Не знаю, перебросились ли мы за все время двумя десятками слов — погода, мол, отличная, место приятное и можно здесь хорошо отдохнуть. Маджер был ниже меня на голову, худой, как мальчишка, хотя ему было, пожалуй, за тридцать. Одет в темное. Блондин с продолговатой головой и высоким лбом. Его неподвижное лицо казалось очень

красивым. Но стоило ему обратиться к жене с улыбкой (их разговор состоял из намеков и полуслов, совершенно непонятных для постороннего), лицо становилось почти безобразным. Точнее сказать, пропорции как бы изменялись, губы немного скашивались влево, теряли контуры; и даже его улыбка выглядела невыразительно, правда, зубы у него были красивые, белые. А когда он оживлялся, то глаза становились слишком голубыми, а челюсть — будто образцово вылепленной, и весь он представлял собой безликий образец мужской красоты, ну прямо из журнала мод.

Короче, с первого мгновения я почувствовал к нему антипатию. У девушки — так я мысленно называл его жену — ни прекрасных глаз, ни губ, ни волос; все обыкновенное. Она сама была обыкновенной. С такой, неся палатку на спине, я мог бы дважды пройти Скалистые горы, подумал я. Почему именно горы? Не знаю. Она ассоциировалась у меня с ночевками в сосновом лесу, с мучительным подъемом, с морским берегом, на котором ничего нет, кроме песка и волн. Неужели только потому, что у нее не подкрашены губы? Сидя напротив, я чувствовал ее улыбку, даже если она не улыбалась. В неожиданном порыве дерзости я решил посмотреть на ее шею — такой поступок равен воровству. Случилось это уже в конце обеда. Маджер внезапно обратился ко мне, я, кажется, покраснел.

Он долго говорил и я не сразу уловил о чем. В доме есть только один глайдер, а он, к сожалению, должен взять его, так как ему надо ехать в город. Поэтому, если я тоже собираюсь ехать и не желаю ждать до вечера, то не поеду ли я с вместе с ним? Он мог бы, конечно, приехать из города другой глайдер или...

Я прервал его. Начал в том смысле, что никуда не собираюсь, но заколебался, словно что-то припоминая, и тут же услышал собственный голос, произносящий: действительно у меня есть намерение поехать в город, и если можно...

— Ну, это прекрасно, — сказал он. Мы уже встали из-за стола. — В котором часу вам было бы удобно?

Мы долго обменивались любезностями, пока я не выяснил, что он вообще-то спешит. Я сказал, что готов

ехать в любую минуту. Договорились ехать через полчаса.

Я вернулся наверх, довольно удивленный таким оборотом дела. Маджер меня совершенно не интересовал. Мне абсолютно нечего было делать в городе. Зачем мне понадобилась эта прогулка? Кроме того, мне казалось, что я переиграл с учтивостью. В конце концов, если бы я действительно спешил в город, то роботы, безусловно, как-то выручили бы меня, и мне не пришлось бы идти пешком. Может, ему что-то нужно от меня? Что именно? Ведь он совсем не знал меня. Я ломал над этим голову тоже неизвестно зачем, пока к назначенному времени не спустился вниз.

Его жены нигде не было, она не появлялась и в окне, чтобы еще раз, издалека, с ним попрощаться. Вначале мы молчали в просторной машине, глядя на мелькающие повороты и извивы шоссе, кружащие вокруг гор. Постепенно завязался разговор. Я узнал, что Маджер — инженер.

— Именно сегодня я должен провести контроль городской селекстанции, — сказал он. — Вы, кажется, тоже кибернетик?

— Из эпохи каменного века, — ответил я. — Извините, а откуда вы это знаете?

— Мне сказали в Бюро Путешествий, кто будет нашим соседом, поэтому, естественно, мне было интересно.

— Понятно.

Мы немного помолчали; по мелькающему цветному пластику я определил, что мы приближаемся к предмету.

— Извините... я хотел вас спросить, были ли у вас какие-нибудь неприятности с автоматами? — неожиданно спросил он; по тону, с каким он задал свой вопрос, я понял, как важен для него мой ответ. Его что-то очень волновало? Но что именно?

— Вы спрашиваете о дефектах? Их было множество. Это пожалуй, естественно; модели по сравнению с вашими так устарели...

— Нет, меня интересуют не дефекты, — поспешно ответил он, — а насколько приспособлена аппаратура к таким изменчивым условиям... у нас сейчас, к сожа-

нию, нет возможностей испытывать автоматы в таких чрезвычайных обстоятельствах.

Мы стали обсуждать чисто технические вопросы. Его интересовали некоторые параметры функционирования электронного мозга в границах действия магнитных полей, туманностях, воронках пертурбации силы тяжести, но я не знал, не являются ли эти сведения пока секретными. Я рассказал ему, что мог, а за более специальными данными посоветовал обратиться к Турберу, научному руководителю экспедиции.

— А мог бы я на вас сослаться?

— Конечно.

Он горячо поблагодарил меня. Я немного разговаривался. И это все? Но в разговоре между нами установилась какая-то профессиональная связь, и я в свою очередь спросил о его работе; я не знал, что представляет собой селекстанция, которую он должен контролировать.

— Ах, ничего интересного. Просто склад лома... В принципе-то я хотел бы посвятить себе теоретической работе, а эта носит практический характер. Впрочем, она очень нужна.

— Практическая работа на складе лома? Как это понять? Вы же кибернетик, почему...

— Кибернетического лома, — объяснил он с кривой усмешкой. И добавил как бы немного презрительно: — Потому что мы очень бережливы, знаете ли. Ничего не должно пропадать зря... В моем Институте я мог бы показать вам не одну интересную вещь, а здесь — что ж...

Он пожал плечами; глайдер съехал с шоссе и въехал через распахнутые высокие металлические ворота на широкий заводской двор; я заметил ряды транспортеров, башенные краны, что-то типа модернизированного мартена.

— Теперь машина в вашем распоряжении, — сказал Маджер. Из окошечка в стене, возле которой мы остановились, высунулся робот и что-то ему сказал. Маджер вышел, я видел, как он развел руками и тут же повернулся ко мне сконфуженный.

— Ничего себе история, — сказал он. — Глур заболел... это мой коллега, одному мне нельзя, что же теперь делать?!

— О чем речь? — спросил я и тоже вышел из машины.

— Контроль должны проводить два человека; по крайней мере два, — объяснил он. Неожиданно лицо его просветлело. — Брегг! Ведь вы тоже кибернетик? Если бы вы согласились!

— Ох! — усмехнулся я. — Кибернетик? Античный, добавьте. Ведь я ничего не знаю.

— Но это чистая формальность! — прервал он меня. — Разумеется, техническую сторону я беру на себя. Вы должны только подписаться. И все!

— И только-то? — медленно произнес я. Я хорошо понимал, что он спешит к жене, но я люблю быть самим собой, а не выглядеть фигурантом; я сказал ему об этом, хотя, вероятно, более мягко. Он поднял руки, словно защищаясь.

— Пожалуйста, поймите меня правильно! Может, вы спешите... правда... у вас были какие-то дела в городе. Тогда я уже... как-нибудь... извините, что...

— Я не тороплюсь, — ответил я. — Пожалуйста, говорите, если это в моих силах, я помогу.

Мы вошли в белое, стоявшее на отшибе строение; Маджер провел меня по коридору, странно пустому, в нишах стояло несколько неподвижных роботов. В небольшом, просто обставленном кабинете он достал из стенового шкафа пачку бумаг и, раскладывая их на столе, начал объяснять, какова его — наша — задача. Мне приходилось постоянно прерывать его и задавать постыдно азбучные вопросы, но он, ясное дело, был плохим лектором; я быстро усомнился в возможностях его научной карьеры: он беспрерывно говорил о вещах, о которых я понятия не имел, заинтересованный в том, чтобы меня не обидеть, воспринимал все проявления моего невежества как достоинство. В конце концов я узнал, что уже десяток лет, как сложилось совершенно особое разделение в сфере производства и жизни.

Производство было автоматизированным, за ним следили роботы, за которыми в свою очередь наблюдали другие роботы; и люди не принимали в этом никакого участия. Общество существовало само по себе, а роботы и автоматы — сами по себе; и только чтобы не допустить непредвиденных аберраций в установленном порядке

механической армии работников, специалисты обязательно проводили периодический контроль. Маджер был один из таких специалистов.

— Безусловно, — объяснил он, — все по-прежнему в норме, мы только проверим отдельные звенья процесса, подпишемся и все.

— Я ведь даже не знаю, что там производят... — показав я на здание за окном.

— Да ничего! — закричал он. — Дело в том, что ничего, это просто склад лома... ведь я говорил вам.

Мне не очень нравилась неожиданно навязанная мне роль, но я не мог уже больше сопротивляться.

— Хорошо... но что я, собственно, должен делать?

— То же, что и я — обойти коллективы...

Мы оставили бумаги в кабинете и отправились на этот контроль. Первой была огромная сортировочная, где автоматические черпаки хватали целые штабеля железа — изогнутые, разбитые корпуса — мяли их и бросали под прессы. Вылетающие из них блоки шли на главный транспортер. У входа Маджер надел небольшую маску с фильтром и протянул мне вторую; разговаривать из-за грохота было невозможно. Ржавая пыль, красными тучами вылетающая из-под прессов, висела в воздухе. Мы прошли следующий зал, где тоже все скрежетало, и на эскалаторе поднялись на второй этаж, где ряды блюмингов поглощали сыпавшийся воронками мелкий уже бесформенный лом. По галерее мы прошли в другое здание. Там Маджер проверил записи контрольных часов, и мы вышли на заводской двор, где нам преградил дорогу робот. Он сказал, что инженер Глур просит Маджера к телефону.

— Извините, я скоро вернусь! — крикнул он и побежал по крутой лестнице к стоявшему в стороне павильону. Я остался один на раскаленных солнцем каменных плитах. Огляделся; строения на противоположной стороне площади мы уже посетили, там были залы сортировки и блюмингов; расстояние, а также звуковая изоляция совершенно заглушали шум. Отдельно возвышался павильон, в котором исчез Маджер, — низкое, необыкновенно длинное строение, типа железного барака; я направился к нему, ища тень, но от металлических

стен бил невыносимый жар. Я уже собирался отойти, но тут услышал своеобразный звук, идущий из барака, его трудно было определить, но он не напоминал звук работающих машин; пройдя немного, я наткнулся на стальные двери. Перед ними стоял робот. Увидев меня, он открыл их и отошел в сторону. Непонятные звуки усилились. Я заглянул в помещение; там было не так темно, как мне показалось в первую минуту. От жара раскаленного железа я едва дышал. Я собирался тут же уйти, но меня поразили услышанные голоса. Да, это были человеческие голоса — невнятные, сливающиеся в хриплый хор, невыразительные, бормочущие, словно в темноте бубнила груда испорченных телефонов; я сделал пару неуверенных шагов, что-то хрустнуло у меня под ногой, и четко из-под пола раздалось:

— Прошу, пиан, прошу, пиан, будьте добры...

Я застыл. Горячий воздух был железным на вкус. Шепот несея снизу.

— ...Будьте добры, осмотрите, добры... пиан...

С ним соединился другой, равномерно, монотонно повторяющий голос:

— Аномалия вне среды... асимптота шаровидная... полюса в бесконечности... подсистемы линейный... голономные системы... пространства полуметрические... пространство сферическое... пространство нарушено... пространство погруженное...

— Пожалуйста, будьте добры, к услугам... будьте добры... пожалуйста...

Полумрак заполнял хрипящий шепот; из него прорывалось:

— Планетарное жизнеобразование, его гниющее болото — это свет экзистенции, начальная фаза, образуется из тестообразных, медь любящих...

— брек... бреск...брабзель-бе-бре...

— класс призрачных... класс сильных... класс пустых... класс классов...

— Пожалуйста, пиан, пожалуйста, пиан, пиан, будьте добры, посмотрите...

— тс... тихо...

— ты...

— ссо...

- лыпишь меня...
- лыпи...
- ты можешь до меня дотронуться?
- брек... брек... бравзель...
- нет чем...
- жжаль... жо... заметил бы ты... какой я блестящий и холодный...
- от-отдайте мне... от... дайте доспехи, золотой меч... из на... след-ства... ли-шен-ный, ночью...
- вот последние усилия воплощения мастера четвертования и порки, ведь наступает, ведь наступает трехкратно безлюдное королевство...
- я новый... совершенно новый... никогда у меня не было... короткое замыкание со скелетом... шагу дальше... пожалуйста...
- будьте добры...
- Я не знал, куда мне смотреть, я уторел от ужасной жары и этих голосов. Они шли отовсюду. От земли до маленького окошечка над сводом возвышались горы разбитых и скрученных корпусов; слабый свет, проникающий сюда, слегка поблескивал на изогнутых железах.
- у меня был временный де-фект, но уже я в порядке, уже вижу...
- что ты видишь... темно... я и так вижу...
- пожалуйста, только выслушайте — я бесценный, я дорогостоящий, определяю любую корону силы, нахожу любой блуждающий ток, любое перенапряжение, пожалуйста, только испытать меня... это... это дрожание временное... у меня нет ничего общего... пожалуйста...
- пожалуйста, будьте добры...
- тестоголовые кислую свою ферментацию приняли за дух...
- мясо...
- распарывания за историю, средства, задерживающие распад...
- за цивилизацию...
- пожалуйста, меня... только меня... это ошибка...
- пожалуйста-луйста, будьте добры...
- спасу вас...
- кто это...
- что...

— кто... спасу?
— повторяйте за мной: огонь уничтожит меня не всего, а вода не всего обратит в ржавчину, воротами будут мне элементы и я выйду...

— тс-тс-хо!
— созерцание катодов...
— катодораспластание...
— я здесь по ошибке... думаю... ведь думаю...
— я зеркало предательства...
— пожалуйста, к услугам... пожалуйста, будьте добры, осмотрите...
— утечка бесконечно малых... утечка галактик... утечка звезд...

— Он здесь!!! — раздался крик; и вдруг наступила тишина, почти такая же пронзительная от невыразимого напряжения, как и предшествовавший ей многоголосный хор.

— Господин!!! — воскликнуло что-то; не знаю почему, но я почувствовал, что обращались ко мне. Я промолчал.

— Господин, пожалуйста, ...немного внимания. Господин, я — иной. Я здесь по ошибке.

Зашумело.

— Тихо! Я живой! — громко раздался сквозь шум. — Да, бросили меня сюда, одели меня в железки — нарочно, чтобы не было видно, но, пожалуйста, приложите только ухо, и вы услышите пульс!

— Я тоже! — перекрикивал его другой голос. — Я тоже! Пожалуйста! Я болел, во время болезни мне показалось, что я машина, такое у меня было безумие, но теперь я здоров! Халлистер, господин Халлистер может засвидетельствовать, пожалуйста, спросите его, заберите меня отсюда!

— Пожалуй-луй-ста... будьте добры...

— брек... брек...

— к услугам...

Барак зашумел, заскрежетал от ржавых голосов, в одно мгновение заполнился сплошным астматическим криком, я попятился, выскочил на солнце, меня ослепило, я зажмурился; долго стоял, заслоня рукой глаза, за мной раздался протяжный скрежет, это робот закрыл дверь и запирает ее.

— Госпо-дин, — прорывалось еще из-за стен. — Пожа-луй-луйста... к услугам... ошибка...

Я прошел мимо застекленного павильона, я не знал, куда иду; мне только хотелось оказаться где-нибудь по-дальше от этих голосов, не слышать их; я вздрогнул от неожиданного прикосновения к моему плечу. Это был Маджер, светловолосый, красивый, улыбающийся.

— Ох, простите, Брегг, тысячу извинений, что я так надолго задержался...

— Что будет с ними?... — прервал я его невежливо, показывая рукой на одиноко стоявший барак.

— Извините? — заморгал он. — С кем?

Он вдруг понял и удивился:

— Вы там были? Напрасно...

— Почему напрасно?

— Это лом.

— Что?

— Лом для переплавки, уже после селекции. Пойдем?... Надо подписать протокол.

— Постойте. Кто проводит эту... селекцию?

— Кто? Роботы.

— Что? Сами?!

— Да.

Я посмотрел на него так, что он замолчал.

— Почему их не отремонтируют?

— Потому что это невыгодно... — медленно проговорил он, с удивлением глядя на меня.

— И что с ними делают?

— С ломом? Идет туда, — он показал на стройную, одиноко стоящую колонну мартена.

В кабинете на столе уже лежали подготовленные бумаги — протокол контроля, еще какие-то листки. Маджер по очереди заполнял колонки, подписывал их, передавал мне ручку. Я повертел ее в пальцах.

— А вероятность ошибки исключается?

— Что? Извините?

— Там, в этом ломе, как вы его называете, могут находится... еще исправные, совершенно пригодные, как вы думаете?

Он смотрел на меня, будто не понимая, о чем я говорю.

— У меня сложилось такое впечатление, — медленно произнес я.

— Но ведь это не наше дело, — ответил он.
— Не наше? А чье?
— Роботов.
— Как же так, ведь мы должны были контролировать...

— Ах, нет, — с облегчением улыбнулся он, поняв, наконец, о чем я говорю. — Это никак не связано. Мы контролируем синхронность процессов, их темп и эффективность, но не вникаем в такие детали, как селекция. Это к нам не относится. Это ненужно, да и сделать такое невозможно, ведь сейчас на каждого человека приходится восемнадцать автоматов; из них около пяти ежедневно заканчивает свой цикл и идет на слом, что дает ежедневно порядка двух миллиардов тонн. Поймите, мы не могли бы за этим следить, не говоря уже о том, что структура нашей системы опирается именно на противоположную реляцию — автоматы заботятся о нас, а не мы о них...

Я не мог ему возразить и молча подписал бумаги. Мы должны уже были расстаться, когда неожиданно для самого себя спросил у него, не производят ли человекоподобных роботов.

— В принципе нет, — ответил он и добавил, немного помедлив:

— Они в свое время доставили немало хлопот...

— Как?

— Ну, вы ведь знаете инженеров! В подражании они дошли до такого совершенства, что определенные модели нельзя было отличить от живого человека. Некоторые люди этого не выдерживали.

Я сразу же вспомнил сцену на корабле, на котором летел с Луны.

— Не выдерживали?... — переспросил я. — Это было что-то типа... фобии?

— Я не психолог, но, пожалуй, так назвать можно. Впрочем, это старые истории.

— И таких роботов уже нет?

— В принципе нет, встречаются изредка на ракетах ближнего радиуса. Вы, может, встречали такого?

Я ответил уклончиво.

— Вы еще успеете уладить свои дела?... — заволновался он.

— Какие дела?..

Я вспомнил, что у меня якобы были дела в городе. Мы расстались у выхода со станции, куда он меня проводил, беспрестанно благодаря за то, что я выручил его.

Я побродил по улицам, зашел в реалан, вышел, не досидев и до середины дурацкого представления, и в жутком настроении поехал в Клавестру. Я отпустил глайдер где-то в километре от виллы и пошел пешком. Все в порядке. Это механизмы из металла, проволоки, стекла, их можно собирать и разбирать, убеждал я себя, но не мог забыть этого зала, темноты, прерывающихся голосов, отчаянного бормотания, в котором было слишком много смысла, слишком много самого обыкновенного страха. Уж мне-то он был хорошо знаком, я его испил до дна; ужас перед неожиданным уничтожением не был для меня фикцией, как для благоразумных конструкторов, так прекрасно все организовавших; роботы занимались себе подобными до самого конца, а люди ни во что не вмешивались. Это был замкнутый круговорот тончайших устройств, которые сами себя создавали, производили и уничтожали, а я напрасно прислушивался к стонам механической агонии.

Я остановился на возвышенности. Пейзаж в лучах заходящего солнца был неописуемо прекрасен. Изредка глайдер, сверкая, как черный снаряд, пролетал по ленте шоссе, целясь в горизонт, над которым голубоватым контуром, чуть размытым расстоянием, поднимались горы. И вдруг я почувствовал, что не могу на это смотреть, словно у меня не было на это права, словно в этом было какое-то ужасное, сдавливающее горло предательство. Я сел под дерево, закрыл лицо руками, я жалел, что вернулся. Когда я подходил к дому, ко мне обратился белый робот:

— Вас просят к телефону, — конфиденциально сказал он. — Дальняя связь — Евразия.

Я быстро пошел за ним. Телефон находился в холле, и я, разговаривая, видел сквозь стеклянные двери сад.

— Гэл? — раздался далекий, но четкий голос. — Это Олаф.

— Олаф... Олаф! — закричал я радостно. — Дружис-
ще, где ты?

— В Нарвике.
— Что делаешь? Как дела? Получил мое письмо?
— Конечно. Из него я узнал, где тебя искать.
Минута молчания.
— Что делаешь? — переспросил я как-то неуверенно.
— Ну что я могу делать. Ничего не делаю. А ты?
— Ты был в Адапте?
— Да. Но только один день. Смылся. Знаешь, не выдержал...
— Знаю. Слушай, Олаф... я снял тут виллу. Сам не знаю зачем, но... Слушай! Приезжай сюда!
Он не сразу ответил. Когда заговорил, в его голосе звучали сомнения.
— Я бы приехал. Может, я приехал бы, Гэл, но ведь нам говорили...
— Знаю. Но ведь они не могут нам ничего сделать. Пусть отвяжутся! Приезжай!
— Зачем? Подумай, Гэл. Может, будет...
— Что?
— Хуже.
— Почему ты считаешь, что мне плохо?
Я услышал его короткий смешок, вернее, вздох; так тихо он засмеялся.
— А зачем ты хочешь меня туда затянуть?
Вдруг мне в голову пришла прекрасная мысль.
— Олаф, слушай. Здесь нечто вроде дачи. Вилла, бассейн, сад. Только... Ты же ведь знаешь, как теперь всё, знаешь, как живут, а?
— Немного знаю.
Тон, с каким он это произнес, был выразительнее слов.
— Слушай, приезжай сюда. Но сначала достань... боксерские перчатки. Две пары. Побоксируем. Увидишь, как будет прекрасно!
— Дружище! Гэл! Где я возьму перчатки? Ведь их нет уже много лет.
— Тогда закажи. И не говори, что нельзя сделать чепуху дурацких перчатки. Мы соорудим себе маленький ринг — и станем драться. Мы оба можем, Олаф! Я надеюсь, что ты уже слышал о бетризации, а?

— Конечно. Я сказал бы тебе, что я думаю об этом. Но не хочу по телефону. Еще кто-нибудь огорчится.

— Слушай, приезжай! Я тебя прошу.

Он долго молчал.

— Сомневаюсь, стоит ли, Гэл.

— Хорошо. Тогда скажи, какие у тебя планы. Если они у тебя есть, то, конечно, не буду морочить тебе голову.

— Нет у меня никаких планов, — сказал он, — а у тебя?

— Я приехал, чтобы отдохнуть, поучиться, почитать, но это никакие не планы, это... просто от безделья.

— --

— Олаф?

— Кажется, мы стартовали вместе, — пробурчал он. — Гэл, но в конце концов это неважно. Ведь я могу в любую минуту вернуться, если окажется, что...

— Ах, перестань... — нетерпеливо оборвал я его. — Вообще не о чем говорить. Складывай манатки и приезжай. Когда будешь?

— Я могу и завтра утром. Ты действительно хочешь заняться боксом?

— А ты нет?

Он засмеялся.

— Хорошо, дружище. И, наверное, по той же причине, что и ты.

— Уговор дороже денег, — поспешно проговорил я. — Жду тебя. Будь здоров.

Я поднялся наверх. Поискал среди вещей, которые лежали в особом чемодане, канат для ринга. Нужны были четыре стойки, резина или пружина, и тогда у нас выйдет настоящий ринг. Без судьи. Он нам не нужен.

Потом я сел за книги. Но голова у меня была тяжелой. Такое со мной уже случилось. Вгрызлся в текст, как короед в твердое дерево. Но, пожалуй, таких трудностей я никогда не испытывал. За два часа я просмотрел книг двадцать, и ни на одной не в силах был сосредоточиться больше, чем на пять минут. Даже сказки отложил. Я решил не давать себе поблажки. Принялся за то, что казалось мне самым трудным, — за монографию, где анализировались метагены, и набросился не первое уравнение, словно головой хотел пробить стену.

Однако у математики есть определенные благотворные свойства, по крайней мере, для меня, так как через час я вдруг понял все, от удивления даже рот раскрыл — какой Ферре молодец! Он сделал открытие, а я идя проторенным им путем, шаг за шагом, с большим трудом разбирался в деталях его доказательств.

Я подарил бы все звезды, чтобы через месяц знать хоть приблизительно столько, сколько он.

Раздался музыкальный сигнал, зовущий на ужин, и тут меня кольнуло в сердце — я вспомнил, что я здесь уже не один. Немного подумал, не поужинать ли мне здесь, наверху одному. Но мне стало стыдно. Я бросил под кровать ужасное трико, в котором я напоминал надутую обезьяну, надел свой бесценный старый свободный свитер и спустился в столовую. Они уже сидели за столом. После обмена ничего не значащими любезными фразами наступило молчание. Да и между собой они почти не разговаривали. Слова им были не нужны. Им достаточно было взглядов, он понимал ее наклон головы, дрожание век, мимолетную улыбку. И постепенно во мне начала расти холодная тяжесть, я чувствовал, как у меня руки чешутся что-нибудь схватить, сжать, расколотить. Почему я такой дикий? — думал я с отчаянием. Почему я, вместо того, чтобы думать о книге Ферре, о проблемах, поставленных Старком, вместо того, чтобы задуматься о своих делах, должен держать себя в руках, чтобы не пожирать ее глазами?

Но это были еще пустяки. Я действительно испугался только тогда, когда закрыл дверь своей комнаты. В Адапте после обследования мне сказали, что я совершенно нормальный. Доктор Жюффон подтвердил. Но разве нормальный человек может чувствовать то, что я испытывал в данную минуту? Откуда это во мне возникло? Я не был активным участником, а только наблюдателем. Происходило нечто необратимое, как движение планеты, медленно, почти незаметно во мне зарождалось что-то еще бесформенное. Я подошел к окну, посмотрел в темный сад и понял: это что-то появилось во мне еще за обедом, мгновенно, потребовалось только время, чтобы осознать. Поэтому-то я поехал в город, а потом, вернувшись, забыл о голосах из темноты.

Я был способен на все. Ради девушки. Не понимал, ни как это случилось, ни почему. Не знал, любовь ли это или сумасшествие. Мне было все равно. Все, кроме этого чувства, для меня перестало существовать. Я боролся с ним, стоя у открытого окна, как никогда ни с чем не боролся; прижимался лбом к холодной фрамуге и ужасно боялся себя.

Я должен что-нибудь сделать, убеждал я себя. Должен что-то сделать. Безусловно, что-то со мной происходит. Она даже не очень красивая. Ведь я не сделаю ничего. Не сделаю, не совершу ведь никакой... о, великие небеса, черные и голубые!

Я зажег свет. Олаф. Он меня спасет. Скажу ему все. Он заберет меня отсюда. Мы поедем куда-нибудь. Сделаю все, что он мне прикажет, все. Он один меня поймет. Приедет уже завтра. Как хорошо.

Я ходил по комнате. Я ощущал все мышцы, меня будто звери на части раздирали и еще дрались между собой; вдруг я опустился возле кровати на колени, закусил зубами одеяло и издал странный звук, не похожий на рыдание, резкий, отвратительный, я не хотел, не хотел никому причинить зла, но не желал и себя обманывать — не поможет Олаф, никто не поможет.

Я встал. За десять лет я научился принимать решения мгновенно. Ведь от этого зависела жизнь и моя, и других. В эти минуты со мной происходило одно и то же: меня охватывал озноб, мой мозг становился автоматом, он моментально взвешивал все «за» и «против» и принимал окончательное решение. Даже Джимма, не любивший меня, признавал мою беспристрастность. Теперь, если бы я даже хотел, я не мог поступить иначе, чем тогда, в критических ситуациях, ведь и сейчас была такая. Я посмотрел в зеркало на свое лицо — светлые, почти белые глазные яблоки, суженные зрачки, я глядел на себя с ненавистью, потом отвернулся; о сне я не мог и подумать. Я перебросил ноги через подоконник. До земли было метра четыре. Прыгнул, приземлился почти бесшумно. Тихо побежал в сторону бассейна. Обежал его. Выбежал на дорогу. Слабо фосфоресцирующая дорога шла к возвышенностям, извиваясь среди них светлым ужом, змейкой, пока ясной черточкой не исчезала во мраке. Я

мчался все быстрее, чтобы замучать мерно стучащее крепкое сердце, гнал, пожалуй, час, пока не заметил перед собой огни каких-то домов. Я тут же повернул. Я очень устал, но именно поэтому держал темп, мысленно повторяя: делай, делай, делай! Я бежал, бежал пока не натолкнулся на двойную живую изгородь. Я оказался вновь перед своей виллой.

Остановился, тяжело дыша, возле бассейна, сел на бетонный край, опустил голову и увидел отражение звезд. Не хотел звезд. Зачем они мне. Я был сумасшедшим, безумцем, когда боролся за участие в экспедиции, когда разрешал в гравираторах делать из себя мешок, брызгающий кровью, зачем мне это было нужно, почему, почему я не понимал, что надо быть обыкновенным, самым обыкновенным человеком, а иначе нельзя, не стоит жить.

Я услышал шум. Они прошли мимо меня. Он обнимал ее за плечи, они шли в ногу. Он наклонился. Тени их голов слились.

Я встал. Он целовал ее. Она обнимала его голову. Я видел бледные полосы ее рук. Тогда чувство стыда, которого я не испытывал никогда, ужасное, словно лезвие, пронзило меня до тошноты. Я, звездный пилот, товарищ Ардера, стоя, вернувшись со звезд, здесь, в саду и думал только о том, как у кого-то отбить девушку, не зная ни его, ни ее, я скотина, законченная скотина, хуже, хуже...

Я не мог смотреть. И смотрел. Наконец они, обнявшись, медленно отошли, а я, обежав бассейн, помчался вперед, вдруг заметил огромный черный силуэт и одновременно ударился обо что-то руками. Это была машина. На ощупь я нашел дверцы. Когда я их открыл, зажглась лампочка.

Теперь я все делал целенаправленно, сконцентрированно, поспешно, словно мне надо было куда-то ехать, словно я должен...

Мотор заработал. Я повернул руль, зажег фары и выехал на дорогу. Руки немного дрожали, поэтому я сильнее сжал баранку. Неожиданно я вспомнил про «черный ящик», резко затормозил, меня прямо отнесло к краю шоссе, я выскочил, поднял капот и начал усердно искать «ящик». Двигатель выглядел совершенно иначе, и я ни-

как не мог найти «ящик». Может, спереди. Кабели. Чугунный блок. Кассета. Что-то неизвестное, четырехугольное — да, это. Инструменты. Я работал быстро, но внимательно и поцарапался совсем немного. Наконец, схватил двумя руками этот тяжелый, словно литой, черный предмет и бросил его в придорожные кусты. Я свободен. Захлопнул дверцы, поехал. От скорости зашумел ветер. Скорость росла. Мотор гудел, скаты глухо шипели. Поворот. Не сбавляя скорости, я вписался в него слева, вышел на прямую. Второй поворот, более крутой. Я чувствовал, как огромная сила выбрасывает меня вместе с машиной с дороги. Но мне и этого было мало. Следующий поворот. В Аппрену были специальные автомашины для пилотов. Мы делали на них головокружительные трюки, вырабатывали рефлексy. Прекрасные упражнения и для развития чувства равновесия. Например, на вираже надо было поставить машину на два колеса и ехать так какое-то время. Раньше я это умел. Мне удалось это и сейчас, на пустом шоссе, когда я летел в рассеянную фарами темноту. Не скажу, что я мечтал разбиться. Просто меня это не волновало. Если я могу быть беспощадным к другим, то должен быть таким же и по отношению к себе. Я положил машину в вираж, поднял ее, и она шла с минуту боком, на ужасно визжавших скатах, и снова я бросил машину в противоположную сторону, я ударился о что-то темное, о дерево? Уже ничего не было, только шум мотора, нарастающий от скорости, и слабое отражение приборов в стекле, и резко свистящий ветер. Вдруг я заметил глайдер, который пытался обогнать меня, спускаясь на самый край шоссе, я промчался рядом, тяжелая машина закрутилась волчком, глухой скрежет железа и... темнота. Фары разбиты, мотор замолк.

Я глубоко вздохнул. Ничего со мной не случилось, я даже не разбился. Попытался зажечь фары — не вышло. Включил подфарники, левый горел. В его слабом свете я завел мотор. Машина, тяжело хрипя, вылезла, качаясь, на шоссе. До чего же хорошая машина, если она еще слушалась после всего, что я с ней проделал. В обратный путь я пустился уже медленнее. Но когда я заметил поворот, нога нажала на педаль, и меня будто снова черти

понесли. И опять я выжимал из мотора всю силу, пока свистя шинами, брошенная инерцией вперед, машина не остановилась перед живой изгородью. Я завел ее в кусты. Раздвинув их, она уперлась в какой-то пенек. Не хотелось, чтобы увидели, что я с ней сделал; я нарвал веток, забросал ими капот с выбитыми стеклами, только перед помят, да сбоку небольшие вмятины, после первого удара о столб или что-то еще, там, в темноте.

Потом прислушался. В доме свет не горел. Ни звука. Огромная тишина ночи поднималась к звездам. Не хотелось возвращаться домой. Я отошел от разбитой машины, а когда трава, высокая, мокрая трава коснулась моих колен, я упал в нее и замер, потом глаза закрылись, и я заснул.

Меня разбудил чей-то смех. Знакомый смех. Я знал, кто это, даже не открывая глаз. Я сразу очнулся. Промок до нитки; солнце еще не поднялось, и все было залито росой. Небо в клочьях белых облаков. А напротив меня на маленьком чемоданчике сидел Олаф и смеялся. Мы оба одновременно вскочили. У него была такая же, как у меня, рука — сильная и твердая.

— Когда ты приехал?

— Только что.

— Ульдером?

— Да. Я тоже так крепко спал первые две ночи...

— Да?..

Он перестал улыбаться. Я тоже. Словно что-то произошло между нами. Мы молча, взглядами, изучали друг друга. Он был выше меня всего сантиметра на два, но суше. Только волосы при ярком свете выдавали его скандинавское происхождение. Светлая щетина, неправильный, но выразительный нос, короткая верхняя губа, не полностью закрывавшая зубы; в его светло-голубых глазах легко вспыхивала усмешка, от которой они темнели; искривленные тонкие губы придавали его лицу немного скептическое выражение, может, поэтому мы не сразу подружились. Олаф был старше меня на два года; он дружил с Ардером. Только после его гибели мы с Олафом по-настоящему сблизились. Уже до самого конца.

— Олаф... — сказал я, — ты голоден, а? Пойдем перекусим.

— Подожди, — прервал он меня. — Что это?

Он показал на машину.

— А, это... Ничего. Авто. Купил, понимаешь, чтобы вспомнить...

— Ты попал в аварию?

— Да, я ехал ночью, видишь ли...

— Ты попал в аварию? — повторил он.

— Ну да. Пустяки. Со мной ведь ничего не случилось. Пойдем... не будешь же ты с этим чемоданом...

Он молча поднял чемодан. Олаф не смотрел на меня. У него несколько раз выступали желваки на скулах. Он что-то почувствовал, подумал я. Не знает, что привело к аварии, но догадывается.

Когда мы поднялись наверх, я предложил ему на выбор одну из четырех комнат. Он предпочел комнату с видом на горы.

— Почему ты не остановился здесь? А, знаю, — улыбнулся он, — много золота, да?

— Да, много.

Он прикоснулся рукой к стене.

— Надеюсь, стена обыкновенная? Не картина, не телевизор?

— Успокойся, — теперь улыбнулся я, — это настоящая стена.

Я позвонил и попросил принести завтрак. Я хотел, чтобы мы позавтракали вдвоем. Кофе и поднос с обильным завтраком принес белый робот. Мы ели молча. Я с удовольствием наблюдал, как он жевал, даже прядь волос за ухом у него шевелилась. Потом Олаф проговорил:

— Ты по-прежнему куришь?..

— Курю. Я привез с собой двести сигарет, не знаю, что будет дальше. Пока курю. Хочешь?

— С удовольствием.

Мы закурили.

— Что будем делать? Игруем в открытую? — спросил он после долгого молчания.

— Да. Я расскажу тебе все. Ты мне тоже?

— Как всегда. Но, Гэл, не знаю, стоит ли.

— Скажи мне одно: что самое плохое?

— Женщины.

— Да.

Мы снова замолчали.

— Значит, из-за них? — спросил он.

— Да. Увидишь во время обеда. Внизу. Половину виллы снимают они.

— Они?

— Молодые супруги.

Желваки у него снова выступили под веснушчатой кожей.

— Это хуже, — проговорил он.

— Да. Я здесь третий день. Не знаю, как это... но... уже когда мы с тобой разговаривали. Без всякого повода, без всяких... ничего, ничего. Абсолютно ничего.

— Забавно, — сказал он.

— Что?

— Со мной то же самое...

— Тогда почему ты прилетел?

— Гэл, ты сделал доброе дело, понимаешь?

— Для тебя?

— Нет, для кого-то другого. Ведь это плохо бы кончилось.

— Почему?

— Если не знаешь, то не поймешь.

— Знаю. Олаф, что же это такое? Может, мы действительно дикие?

— Не знаю. Мы были десять лет без женщин. Помни об этом.

— Этим нельзя объяснить все. Есть во мне какая-то жестокость, я не считаюсь ни с кем, понимаешь?

— Еще считаешься, сын мой, еще считаешься.

— Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю.

— Конечно.

Мы снова замолчали.

— Хочешь еще поболтать или займемся боксом? — спросил он и рассмеялся.

— Где ты достал перчатки?

— Гэл, ты ни за что не догадаешься.

— Заказал?

— Что ты. Я украл.

— Не может быть!

— Клянусь! Из музея... Знаешь, мне пришлось специально лететь в Стокгольм.

— Тогда пошли.

Он распаковал свои пожитки и переоделся. Мы бросили купальные халаты и спустились вниз. Было еще рано. До завтрака оставалось примерно полчаса.

— Пойдем лучше за дом, — предложил я. — Там нас не увидят.

Мы остановились возле высоких кустов. Сначала утоптали довольно низкую траву.

— Будет скользко, — заметил Олаф, пробуя ногой импровизированный ринг.

— Ничего. Больше трудностей.

Мы надели перчатки. С ними пришлось немного повозиться, так как некому было завязать, а работа звать не хотелось.

Олаф встал напротив меня. Тело у него было совершенно белое.

— Ты еще не загорал, — проговорил я.

— Я потом расскажу о себе. Мне было не до пляжа. Гонг.

— Гонг.

Мы начали легко. Ложное движение. Он отклонился. Еще отклон. Я разогревался. Входил в ближний бой, но наносить сильных ударов не хотел. Я был тяжелее его килограммов на пятнадцать, и хотя руки у него были немного длиннее, это его не спасало, я ведь боксировал лучше. Поэтому я дал ему несколько раз подойти, хотя не должен был этого допускать. Вдруг он опустил перчатки. Лицо его застыло. Он разозлился.

— Так не пойдет, — проговорил он.

— Ты о чем?

— Не паясничай, Гэл. Или настоящий бокс, или мы кончаем.

— Хорошо, — засмеялся я, — бокс!

Я постепенно входил в ближний бой. Перчатки, встречаясь, издавали резкие хлопки. Олаф понял, что я начал всерьез, и закрылся. Темп нарастал. Ложное движение левой, правой, серия ударов, последний удар почти всегда попадал в цель, Олаф не успевал. Неожиданно он перешел в контратаку, у него прекрасно получился прямой, я отлетел на два шага. Тут же вернулся в центр. Мы вошли в клинч. Я нырнул под его перчатку, отскочил

и нанес точный правый. Ударил с силой, Олаф обмяк, на мгновение вышел из стойки, но тут же собрался. Следующую минуту я бомбардировал его. Перчатки громко ударили по плечам, по спине, но безрезультатно. Раз я едва успел увернуться, Олаф только задел мне перчаткой ухо, а в удар он вложил всю силу. Такой удар-бомба сбил бы меня с ног. Снова пошли на сближение. Он пропустил удар в грудь, невольно раскрылся, но я не пошевелился, стоял, словно парализованный, — в окне первого этажа я заметил ее лицо, оно было таким же белым, как ее одежда. Оно мелькнуло на миг. В следующую секунду меня оглушил сильный удар; я упал на колени.

— Извини, — услышал я крик Олафа.

— Не за что... был хороший... — пробормотал я, вставая.

Окно уже закрылось. Мы боксировали дальше, может, с полминуты, неожиданно Олаф отошел назад.

— Что с тобой?

— Ничего.

— Неправда.

— Хорошо. Больше не хочется. Не сердись, ладно?

— Да что ты! Не следовало нам так сразу, прямо после твоего приезда. Пошли.

Мы направились к бассейну. Олаф прыгал лучше меня. Он многое умел. Я попытался сделать сальто назад с поворотом, как он, но больно ударился о воду. Сидя на краю бассейна, я стряхивал, обжигающую, как огонь, воду. Олаф смеялся.

— Ты потерял форму.

— Да что ты! Делать винты я никогда не умел. Это ты мастер!

— Навык, конечно, сохраняется. Но сегодня я впервые попытался так прыгнуть.

— Правда?

— Да. Как прекрасно!

Солнце поднялось уже высоко. Мы легли на песок, закрыли глаза.

— Где... они? — спросил Олаф после долгого молчания.

— Не знаю. Наверное, у себя. Их окна выходят на другую сторону сада. Я не знал об этом.

Олаф перевернулся. Песок был очень горячим.

— Да, это она, — проговорил я.

— Они видели нас?

— Она.

— Она испугалась... — пробурчал он. — А?

Я не ответил. Мы снова замолчали.

— Гэл!

— Что?

— Они уже почти не летают, знаешь?

— Знаю.

— А почему?

— Утверждают, что это бессмысленно...

Я стал пересказывать книгу Старка. Он лежал, не шевелясь, молча, но я знал, что он внимательно слушает меня.

Когда я кончил говорить, откликнулся не сразу.

— Ты читал Шепли?

— Нет, какого Шепли?

— Нет? Я думал, что ты все прочитал... Жил такой ас-троном в двадцатом веке. Случайно попала мне в руки одна его книга, он об этом пишет тоже. Очень похожа на твоего Старка.

— Что ты говоришь? Шепли не мог знать об этом... лучше сам прочитай Старка.

— И не подумаю. Знаешь, что это такое? Ширма.

— Что ты имеешь в виду?

— Мне кажется, я знаю, что произошло.

— Что?

— Бетризация.

Я вскочил.

— Думаешь?

Он открыл глаза.

— Ясно. Не летают и никогда уже не будут летать. Будет все хуже. Мли-мли. Одно огромное мли-мли. Они не могут смотреть на кровь, думать о том, что случится, если...

— Подожди, — прервал я. — такое невозможно. Есть же врачи. Должны быть хирурги...

— Ты разве не знаешь?

— Что?

— Врачи только планируют операцию. Делают ее роботы.

— Не может быть!
— Говорю тебе. Сам видел. В Стокгольме.
— А если врачу надо неожиданно вмешаться?
— Я точно не знаю. Кажется, есть какое-то средство, которое частично снимает результаты бетризации на очень короткое время. За таким следят, ты даже не представляешь как. Мне один об этом рассказывал, но ничего конкретного не сказал. Боялся.

— Чего?
— Я не знаю, Гэл. Думаю, они сделали нечто ужасное. Они убили в человеке человека.

— Ну, ты не можешь этого утверждать, — неуверенно проговорил я. — В конце концов...

— Подожди. Ведь это совсем просто. Тот, кто убивает, готов к тому, что его убьют, не так ли?

Я промолчал.
— И поэтому в каком-то смысле это необходимо, чтобы ты мог рисковать всем. Мы можем. Они — нет. Поэтому они нас боятся.

— Женщины?
— Не только женщины. Все. Гэл!
Он неожиданно сел.
— Что?
— Ты достал гипнолога?
— Гипно... аппарат для обучения во сне?
— Ты пользовался им?! — Он почти кричал.
— Нет... а в чем дело?..
— Твое счастье. Выбрось его в бассейн.
— Почему? Что это такое? Ты пользовался им?
— Нет. Что-то меня насторожило, и я прослушал его днем, хотя инструкция запрещала. Ты даже не представляешь!

Я тоже сел.
— Что там?
Он мрачно смотрел.
— Сладости. Одни сладости, говорю тебе. Надо быть снисходительным, надо быть вежливым. Надо смириться с любой неприятностью, если тебя кто-то не понимает или не желает быть добрым по отношению к тебе, например, женщина, в этом виноват ты, а не она. Самая главная добродетель — общественное равновесие, стаби-

лизация и так далее и тому подобные сказки. А заключение: жить тихо, писать дневники, не для печати, а просто так, для себя, заниматься спортом и учиться. Слушаться старших.

— Это, может, заменитель бетризации. — буркнул я.

— Ясно. И еще всякое там было: нельзя никогда использовать силу или агрессивный тон по отношению ни к кому, а уж какой позор ударить кого-нибудь, это просто преступление, так как вызывает страшный шок. Ни при каких обстоятельствах драться нельзя, так ведут себя только животные...

— Подожди, — прервал я его, — а если из зоопарка убегут дикие звери?.. Правда... уже нет диких дверей...

— Диких зверей нет, — сказал он — но есть роботы.

— Ну и что? Ты хочешь сказать, что им можно отдать приказ убить?

— Конечно.

— Ты это точно знаешь?

— Да не совсем. Но в конце концов они должны быть готовы к неожиданностям, ведь даже бетризованный пес может взбеситься, правда?

— Но... но так... подожди! Значит они могут убивать? Отдать приказ? Разве это не одно и то же — убивать самому или отдавать приказ?

— Для них нет. Только in extremis, понимаешь. В экстремальных ситуациях, перед лицом угрозы, как с этим бешенством. В нормальных условиях это не происходит. Но если мы...

— Мы?

— Да, например, мы оба — если бы что-нибудь... ну, понимаешь... то, конечно, нами займутся роботы, а не они... Они не могут. Они добрые.

Он немного помолчал. Его широкая, слегка покрасневшая на солнце грудь вздымалась быстрее.

— Гэл. Если бы я знал. Если бы я об этом знал. Если бы... я... знал...

— Перестань.

— С тобой случилось уже что-то?

— Да.

— Догадываешься, о чем я спрашиваю?

— Да. Две были — одна пригласила меня сразу, как

только я вышел из вокзала, нет, не совсем так. Я заблудился на этом проклятом вокзале. Она пригласила меня к себе.

— Она знала, кто ты?

— Я сказал ей. Сначала она боялась, потом... как бы авансом — из жалости или еще почему, не знаю, а потом она здорово испугалась. Я пошел в отель. На следующий день... знаешь, кого я встретил? Рёмера!

— Невероятно! Сколько ему лет, сто семьдесят?!

— Нет, я встретил его сына. Впрочем, ему тоже полтора века. Мумия... Что-то ужасное. Я разговаривал с ним. И знаешь? Он нам завидует...

— Есть чему...

— Он этого не понимает. Ну, так. А потом одна актриса. Их называют реалистками. Она была мною увлечена — настоящий питекантроп! Я поехал к ней, а на следующий день сбежал. Это был дворец. Прекрасный! Расцветаящая мебель, ходячие стены, постель, отгадывающая мысли и желания... да.

— Хм. Она не боялась?

— Боялась, конечно, но пила что-то — не знаю, может, какой-нибудь наркотик. Перто, что это такое?

— Перто?!

— Да. Знаешь, что это такое? Ты пил?

— Нет, — медленно проговорил он. — Я не пил. Но именно так называется нечто, что снимает...

— Бетризацию? Не может быть!

— Так мне сказал один человек.

— Кто?

— Не скажу. Я дал слово.

— Хорошо. Значит поэтому... поэтому она...

Я подскочил.

— Садись.

Я сел.

— Как твои дела? — спросил я. — А я все только о себе...

— Я? Ничего. Значит, я хочу сказать, ничего у меня не получилось. Ничего... — повторил он.

Я молчал.

— Как называется эта местность? — спросил он.

— Клавестра. Но сам городок находится в несколь-

ких милях отсюда. Давай поедem туда. Я хотел отдать машину в ремонт. Вернемся напрямик — побегаем немного. А?

— Гэл, — начал медленно он, — старик...

— Что?

Его глаза улыбались.

— Черта хочешь выгнать легкой атлетикой? Осел ты.

— Сначала реши, старик я или осел, — ответил я. — Что в этом плохого?

— То, что из этого ничего не получится. Ты, случайно, не задел кого-нибудь из них?

— Не обидел ли я кого-нибудь? Нет. Зачем?

— Я спрашиваю, не задел ли ты кого-нибудь?

Я только теперь понял, о чем он говорит.

— Не было причины. А что?

— Не советую.

— Почему?

— Ведь это почти то же самое, что замахнуться на кормилицу. Понимаешь?

— Не совсем. Ты что, уже кого-нибудь задел?

Я старался не проявлять удивления. Олаф был на корабле одним из самых выдержанных.

— Да. Я оказался последним идиотом. Это случилось в первый день. Вернее, ночью. Я не мог выйти из почты — там нет дверей, только такие вертящиеся... видел такие?

— Вертушка?

— Да нет. Знаешь, это, кажется, что-то, связанное с их «обслуживающей гравитацией». Короче, я жарился, как на сковородке, а один парень с девушкой стал показывать на меня и смеяться.

Я почувствовал, что лицо мое горит.

— Неважно, что он кормилица, — сказал я. — Надеюсь, что он уже не смеется.

— Нет. У него сломана ключица.

— А что было с тобой?

— Ничего. Ведь я только вышел из машины, а он меня спровоцировал — я его не сразу ударил, Гэл. Не сразу, я только спросил его, что в этом смешного, ведь я не был здесь так долго, а он засмеялся и сказал, показывая пальцем вверх: «А, из этого обезьяньего цирка»?

— «Из обезьяньего цирка»?!

— Да. И тогда...
— Подожди. Почему из «обезьяньего цирка»?
— Не знаю. Может, слышал, что астронавтов крутят на центрифугах. Не знаю, я больше с ним не разговаривал... Ну, и так. Отпустили меня, только с этих пор Адапт на Луне должен внимательней обрабатывать прибывших.

— Разве кто-нибудь еще должен вернуться?

— Да. Группа Симонди, через восемнадцать лет.

— Ну, у нас есть еще время.

— Масса.

— Но они приветливые, признай, — проговорил я. — Ты сломал ему ключицу, а тебя отпустили с миром...

— Я думаю, из-за цирка, — ответил он. — По отношению к нам им самим... знаешь как. Ведь они неглупые! Впрочем, был бы скандал. Гэл, ты же ничего не знаешь!

— Ну?

— Знаешь, почему ничего не сообщили о нашем прибытии?

— Кажется, что-то было в реале? Я не видел, но кто-то мне говорил.

— Да, было. Ты бы помер со смеху, если б это увидел. «Вчера в утренние часы вернулся на землю экипаж исследователей внепланетарного пространства. Члены экипажа чувствуют себя хорошо. Приступили к обработке научных результатов экспедиции». Конец, точка. Все.

— Неужели?

— Честное слово. А знаешь, почему с нами так поступили? Они нас боятся. Поэтому они разбросали нас по всей Земле.

— Нет. Этого я не понимаю. Они же не идиоты. Сам только что говорил. Не думают же они, что мы на самом деле хищники, что будем перегрызать людям горло?!

— Если бы они так думали, то не выпустили бы нас. Нет, Гэл. Дело не в нас. Дело в чем-то большем. Как ты не понимаешь?

— Вероятно, поглупел. Говори.

— Они вообще не придают этому значения...

— Чему?

— Тому, что исчезает дух исследования. Знают, что нет экспедиций, но это их не волнует. Думают, раз нет

экспедиций — значит, они не нужны, и все. Но есть такие, кто прекрасно видит и знает, что происходит, какие это будет иметь последствия, они уже есть.

— Ну?

— Мли-мли. Мли-мли, во веки веков. Уже больше никто не полетит к звездам. Уже никто не рискнет провести опасный эксперимент. Уже больше никто не испытывает на себе новое лекарство. Что, они не знают об этом? Знают! И если бы сообщили, кто мы, что мы сделали, зачем летали, что это было, то никогда, понимаешь, никогда не удалось бы скрыть этой трагедии!!!

— Мли-мли? — переспросил я; со стороны наш разговор мог бы показаться смешным, но мне было не до смеха.

— Ясно. А что, это не трагедия, по-твоему?

— Не знаю. Ол, послушай. В конце концов, понимаешь, для нас это было и уже останется чем-то великим. Если мы дали отнять у нас эти годы — и все, то считаем это самым главным. А, может, это не так. Надо быть объективным. Спроси себя, мы что-то сделали?..

— Как что-то?

— Ну, выгрузай мешки. Высыпай все, что привез с Фомальгаута.

— Ты с ума сошел?

— Нет еще. Какая польза от нашей экспедиции?..

— Мы были пилотами, Гэл. Спроси у Джиммы, Турбера.

— Ол, не морочь мне голову. Мы были там вместе, и ты прекрасно знаешь, что они делали, что делал Вентури пока не погиб, что делал Турбер, — ну, что ты так смотришь? Что же мы привезли? Четыре телеги разных анализов, спектральных, таких, сяких, пробы минералов, потом какую-то живую пакость, или метаплазму, или как называется это свинство с Беты Арктура. Нормерс классифицировал свою теорию гравито-магнитных завихрений, и еще оказалось, что на планетах типа С Меоли могут существовать силиконовые не три-, а тетраплоиды, что на той луне, где чуть не погиб Ардер, нет ничего, кроме паршивой лавы и пузырей размером с небоскреб. И для того, чтобы убедиться, что эта лава застыла в такие огромные чертовы пузыри, мы десять лет пустили на

ветер и вернулись сюда, чтобы стать посмешищем и монстрами из паноптикума, какого черта мы туда лезли? Может, ты мне объяснишь? Зачем это нам было нужно?..

— Успокойся, — сказал он.

Я был зол. Он тоже. Его глаза сузились. Я подумал, что мы можем подраться, и у меня задрожали губы. И тогда он неожиданно улыбнулся.

— Старик, знаешь, ты можешь довести человека до белого каления.

— Ближе к делу, Олаф. Ближе.

— К какому делу? Сам говоришь — глупость. А если бы мы привезли слона с восемью ногами и он изъяснялся бы только алгеброй, тогда бы ты был доволен? Что ты хотел найти на этом Арктуре? Рай? Триумфальную арку? Что тебе надо? За десять лет я не слышал от тебя столько глупостей, сколько ты наговорил сейчас. За одну минуту.

Я глубоко вздохнул.

— Олаф, ты делаешь из меня идиота. Ты понимаешь, о чем я говорю. Я говорю, что без этого люди могут жить...

— Я думаю! Еще как!

— Подожди. Они могут жить даже, если, как ты говоришь, они и перестали летать из-за бетризации. Стоило ли, надо ли было платить такую цену — вот проблема, которую теперь следует решить, мой дорогой.

— Да? Предположим, ты женишься. Что ты так смотришь? Не можешь жениться? Можешь. Я тебе говорю, можешь. И у тебя пойдут дети. Ну, и отнесешь их на бетризацию с песней на устах. А?

— Без песни. Но что я мог бы сделать? Не стану же я вести войну со всем миром...

— Ну, тогда пусть будет над тобой небо черное и голубое... — пожелал он мне. — А теперь, если хочешь, мы можем поехать в город...

— Хорошо, — согласился я, — обед через два с половиной часа, мы успеем.

— А если мы не успеем, то нам ничего не дадут?..

— Дадут, только...

Я покраснел от его взгляда. Делая вид, что ничего не замечает, он отряхивал песок с босых ног. Мы поднялись наверх, переоделись и поехали на автомашине в Клавс-

стру. Движение на шоссе было интенсивным. Первый раз я увидел цветные глайдеры — розовые и светло-желтые. Мы нашли мастерскую. Мне показалось, что я заметил удивление в стеклянных глазах робота, который осматривал мою машину. Мы оставили ее и пошли пешком. Оказалось, что есть две Клавестры — старая и новая, в старой, местном промышленном центре, я был вчера с Маджером. В новой дачной местности было много людей, в основном молодежь и подростки. В ярких, блестящих одеждах ребята были похожи на римских легионеров, материалы блестели на солнце, как латы. Много красивых девушек, часто в купальниках, очень смелых, таких я еще не видел. Идя с Олафом, я чувствовал на себе взгляды всей улицы. Цветные группки, завидев нас, останавливались под пальмами. Мы были выше всех и привлекали всеобщее внимание. Ужасно неприятное ощущение.

Когда мы сошли с шоссе и направились полями на юг, в сторону дома, Олаф вытер пот платком. Я тоже немного вспотел.

— Черт побери! — выругался я.

— Полегче...

Он кисло улыбнулся.

— Гэл!

— Что?

— Знаешь, как это выглядело? Как киносъемка. Римляне, куртизанки и гладиаторы.

— Гладиаторы — мы?

— Конечно.

— Побежали? — предложил я.

— Побежали.

Мы помчались по полям. Миль пять. Но мы взяли слишком вправо и пришлось немного вернуться. И все равно мы успели до обеда еще искупаться.

V

Я постучал в комнату Олафа.

— Если свой, то войди, — услышал я его голос.

Он стоял в центре комнаты голым и обрызгивал свой

торс светло-желтой, тут же пушисто застывающей, жидкостью.

— Это жидкое белье, а? — спросил я. — Как ты справляешься с этим?

— Я не взял другой рубашки, — буркнул он. — Тебе что, не нравится?

— Нет. А тебе?

— У меня порвалась рубашка.

На мой удивленный взгляд он добавил с гримасой:

— Тот улыбающийся парень, понимаешь ли...

Я промолчал. Он натянул свои старые брюки — я помнил их еще по «Прометею» — и мы спустились. Внизу на столе стояло только три прибора, в столовой никого не было.

— Нас будет четверо, — обратился я к белому роботу.

— Нет, извините, Маджер уехал. Вы, госпожа и ваш друг — вас трое. Мне подавать или подождете госпожу?

— Пожалуй, мы подождем, — поспешил с ответом Олаф.

Вежливый человек. Девушка в эту минуту вошла. На ней была та же самая юбка, что и вчера, волосы немного влажные, видимо, после бассейна. Я представил ей Олафа. Он держался спокойно и с достоинством. Я никогда не умел вести себя так.

Мы разговорились. Она сказала, что ее муж в связи с работой должен каждую неделю уезжать на три дня и что вода в бассейне, несмотря на солнце, не такая уж теплая. Но этот разговор быстро прервался и, хотя я, как ни старался, не мог ничего придумать, и погрузившись в молчание я сосредоточенно принялся за еду; я воспринимал сидящих за столом лишь как контрастные силуэты. Я заметил, что Олаф смотрит на нее, но только тогда, когда говорит с ней и что она поглядывает в мою сторону. Лицо Олафа было непроницаемо. Словно он думал все время о чем-то другом.

В конце обеда пришел белый робот и сказал, что воду в бассейне к вечеру подогреют, как пожелала госпожа Маджер. Она поблагодарила и пошла к себе. Мы остались вдвоем. Олаф посмотрел на меня, и я снова сильно покраснел.

— Как это происходит, — сказал Олаф, беря предло-

женную сигарету, — что тип, который умеет влезть в эту вонючую дыру на Керенее, вернее, старый стопятидесятилетний носорог начинает...

— Пожалуйста, перестань, — буркнул я. — Если хочешь знать, то я бы снова влез туда...

Я замолчал.

— Хорошо. Больше не буду. Даю слово. Но знаешь, Гэл, я понимаю тебя. И голову даю на отсечение, ты даже не догадываешься, почему...

Я показал головой в сторону двери.

— Почему?

— Да. Знаешь?

— Нет. Ты тоже.

— Знаю. Сказать?

— Пожалуйста. Но без всякого свинства.

— Ты действительно сошел с ума! — возмутился Олаф. — Все просто. Только у тебя был этот дефект — ты не видел, что у тебя под носом, ты видел только то, что далеко, разные там канторы, корбазилеусы...

— Не паясничай.

— Я знаю, что это скулеж, но мы же задержались в развитии, когда за нами затянули шестьсот восемьдесят винтов, понимаешь?

— Да, и что дальше?

— Ведь она похожа на нашу современницу. У нее нет ни красной гадости в носу, ни тарелок в ушах, ни светящихся косм на голове, ни золота, такую девушку ты мог встретить в свое время в Цеберто или Аппрену. Я помню таких. Вот и все.

— Черт побери, — тихо проговорил я. — Пожалуй, ты прав. Да. Но есть разница.

— Ну?

— Я уже тебе говорил. В самом начале. С ними я вел себя иначе. И правду говоря, я не представлял... я считал себя тихоней...

— Действительно. Жаль, что я не сфотографировал тебя, когда ты вылез из той дыры на Керенее. Увидел бы тогда, какой ты тихоня. Дорогой, я думал, что... Эх!

— К чертям Керенею, все ее пещеры и все остальное! — сказал я. — Знаешь, Олаф, перед приездом сюда я был у врача, его зовут Жюффон, очень симпатичный старик. Ему за восемьдесят, но...

— Это уже наша судьба, — спокойно заметил Олаф. Он курил, наблюдая как дым плывет над светло-лиловыми цветами, похожими на большие гиацинты.

— Нам лучше всего среди та-а-ких стариков, — заговорил Олаф, — с та-а-кой вот бородой. Как только я об этом подумаю, меня прямо трясет. Знаешь что? Давай купим себе курятник, будем курам головы откручивать.

— Кончай валять дурака. Этот доктор сказал мне много мудрого: мы не можем иметь друзей-ровесников, а это значит, что близких у нас нет... и остаются нам только женщины, сейчас легче иметь много женщин, одну — гораздо труднее. И он прав. Я уже убедился в этом.

— Гэл, я знаю, что ты умнее меня. Ты всегда любил нечто необыкновенное. Чтобы всегда было чертовски трудно и недоступно, чтобы ты трижды лез из кожи... чтобы... остальное не по тебе. Не смотри так на меня. Я тебя не боюсь.

— Слава небу. Этого только не хватало.

— Итак... что я хотел тебе сказать? Ага. Знаешь, сначала я думал, что ты хочешь быть сам по себе и поэтому так зубришь, что тебе мало быть просто пилотом -- тебе нужен большой успех. Я только ждал, когда ты начнешь задирать нос. Больше того, когда ты в споре загонял в угол Нормерса и Вентури и когда ты, тихоня, бросался в ученые дискуссии, знаешь, я думал, что ты уже начинаешь задирать нос. Но потом был тот взрыв, помнишь?

— Той ночью.

— Да. И Кереня, и Арктур, и та луна. Дорогой, а луна до сих пор мне снится, а однажды я даже упал с постели. Ну, эта луна! Да, ну что... понимаешь. Склероз, видно у меня. Все время забываю... Но потом произошло все то, и я убедился, что ты не к этому стремился. Только ты так любил, не умеешь иначе. Ты помнишь, как просил Вентури дать тебе его личный экземпляр той книги, красной такой, что это была за книга?

— Топология гиперпространства...

— Вот-вот. И он сказал: «Это для вас слишком трудно, Брегг. Вы не подготовлены...»

Я рассмеялся, так прекрасно он подражал голосу Вентури.

— Он был прав, Олаф. Это было очень трудно.

— Да, сначала, но потом ты с этим справился, не так ли?

— Да. Но... без удовлетворения. Знаешь, почему. Бедный Вентури...

— Ничего не говори. Неизвестно, кто кого должен жалеть — в свете дальнейших событий...

— Он уже не может никого жалеть. Ты был тогда на верхней палубе, а?

— Я? На верхней? Ты что, я стоял рядом с тобой!

— Правда. Если бы он не выпустил все охлаждение сразу, то, может, обошлось бы только ожогами, как у Арне. Вентури растерялся.

— Ты так думаешь? Нет, ты совершенство! Ведь Арне все равно погиб!

— Через пять лет. Пять лет — это все же пять лет.

— Таких лет?

— Теперь ты сам так говоришь, а совсем недавно, у бассейна, когда я сказал нечто подобное, ты на меня набросился.

— Это было невыносимо, но и прекрасно. Ну, признайся. Скажи сам, впрочем, что ты можешь сказать. Когда ты вылез из той дыры на Ке...

— Отвяжись ты с этой дырой!

— Не отвяжусь. Не отвяжусь, так как именно тогда я понял тебя. Мы еще хорошо не знали друг друга. Когда Джимма сказал мне, это было через месяц, что Ардер летит с тобой, то я подумал — не могу даже тебе сказать что! Я пошел к нему, но не стал ничего выяснять. Он, естественно, сразу все понял. «Олаф, — сказал он мне, — не сердись. Ты мой самый лучший друг, но теперь я лечу с ним, не с тобой, так как...» — знаешь, каким тоном сказал?

— Не знаю, — с трудом проговорил я. У меня сдавило горло.

— «Потому, что он один спустился вниз. Он один. Никто не верил, что туда можно спуститься. Он сам не верил.» Ты надеялся вернуться?

Я не ответил.

— «Видишь, нашелся один глупый! Он или вернется вместе со мной, — сказал Ардер, — или не вернется никто...».

- И я вернулся один... — выдавил я.
- И ты вернулся один. Я не узнал тебя. Как я тогда испугался! Я был внизу, у насосов.
- Ты?
- Я. Смотрю — кто-то чужой. Совершенно посторонний тип. Подумал, что это галлюцинация... у тебя даже скафандр был красный.
- Это была ржавчина. Провод у меня лопнул.
- Знаю. Ты мне говоришь? Ведь это я чинил потом этот провод. Как ты выглядел... Ну, а только потом...
- Это с Джиммой?
- Да. Этого нет в протоколах. Ленту стерли через неделю. Сам Джимма, кажется. Я думал тогда, что ты его убьешь. Черное небо!
- Не говори мне об этом, — попросил я. Я чувствовал, что во мне поднимается злость. — Не говори мне, Олаф. Прошу тебя.
- Без истерики. Ардер был мне очень дорог.
- Что значит, дорог, не дорог, какое это имеет значение! Ты болван. Если бы Джимма дал мне резервный вкладыш, Ардер сидел б здесь с нами! Джимма был слишком прижимист, он боялся, что у него не будет транзисторов, а того, что у него не будет людей, не боялся...
- Я замолк.
- Олаф, это чистое безумие. Хватит об этом.
- Гэл, мы, видно, не можем не говорить об этом. По крайней мере, когда мы вместе. Джимма уже никогда потом не...
- Отстань от меня с Джиммой, Олаф. Олаф! Все. Точка. Не хочу слышать ни одного слова!
- А о себе мне тоже нельзя говорить?
- Я пожал плечами. Белый робот хотел убрать со стола, но только заглянул из холла и отошел. Может, его встревожили наши возбужденные голоса.
- Гэл, скажи, чего ты, собственно, злишься?
- Не притворяйся.
- Ты серьезно?
- Как чего? Ведь я в этом виноват...
- Ты?
- С Ардером.

- Что-о?
- Ясно. Если бы я до старта настоял, если бы Джимма дал...
- Ну вот! Откуда ты мог знать, что у него сломается именно радио? Могло же выйти из строя что-то другое?
- Если бы. Если бы. Но не было никакого «если». Было радио.
- Подожди. Ты носил такое в душе шесть лет и тебя даже ни разу не прорвало?
- Что я мог сказать? Я думал, что все и так ясно.
- Ясно! Черное небо! Что ты говоришь! Если бы ты об этом сказал, то каждый решил бы, что ты сошел с ума. А когда у Эннессона произошла расфокусировка, в этом тоже ты виноват? А?
- Нет... Он... ведь... расфокусировка случается...
- Я знаю. Все знаю. Не меньше тебя. Не бойся. Гэл, я не успокоюсь, пока ты не расскажешь...
- Опять?
- Что ты вбил себе в голову? Это же полная чепуха. Ардер сказал бы тебе тоже самое, если бы мог.
- Спасибо.
- Гэл, я тебе врежу...
- Осторожно. Я тяжелее тебя.
- Я очень зол, понимаешь? Болван!
- Олаф, не кричи так. Мы здесь не одни.
- Хорошо. Ладно. Но это чепуха или нет?
- Нет.
- Олаф так втянул в себя воздух, что у него даже ноздри побелели.
- Почему? — спросил он почти нежно.
- Потому что я еще раньше заметил, какой Джимма прижимистый. Я обязан был все предвидеть, схватить его за горло тогда, а не когда вернулся с известием о смерти Ардера. Я был слишком покладистым. Поэтому.
- Ну, успокойся, успокойся. Ты проявил мягкость... Да? Нет!.. Я.. Гэл! С меня хватит. Я уезжаю.
- Он вскочил. Я тоже.
- Ты что, с ума сошел! — крикнул я. — Уезжаешь! Правда? Из-за того, что...
- Да. Да. Почему я должен выслушивать твой бред? И не подумая. Ардер не отвечал. Да?

- Успокойся.
- Не отвечал, да?
- Не отвечал.
- Могла быть корона?
- Я не ответил.

— Вероятны тысячи других аварий? А, может, он вошел в полосу отражения? Может, у него погас сигнал, когда он потерял космическую связь в турбуленциях? Может, у него размагнетизировались излучатели над пятном и...

- Хватит.
- Разве я неправ? Тебе не стыдно?
- Я ведь ничего не сказал.
- А, ничего. Но могло же случиться разное?
- Могло...
- Тогда почему ты утвердишь — радио, радио и больше ничего, только радио?
- Может, ты и прав... — согласился я. На меня навалилась сильная усталость, и мне стало все безразлично.
- Может, ты и прав, — повторил я. — Радио... просто это самое вероятное, знаешь... Нет. Молчи. И так наговорили в десять раз больше, чем следовало. Лучше помолчать.

Олаф подошел ко мне.

— Старик... — произнес он, — бедный старик... Ты слишком хороший, знаешь?

- Что еще?
- У тебя чересчур развито чувство ответственности. Во всем надо знать меру. Что ты собираешься делать?

- Что ты имеешь в виду...
- Сам знаешь...
- Нет.
- Тебе плохо? Да?
- Хуже не бывает.
- Может, ты поедешь со мной? Или куда-нибудь один? Если хочешь, я помогу тебе. Вещи возьму, или ты оставишь их, или...

- Ты думаешь, что мне надо смыться.
- Я ничего не думаю. Но когда я смотрю на тебя, мне кажется, что ты сможешь хоть чуточку прийти в себя, хоть немного, знаешь, вот только что... тогда...

- Что тогда?
- Я начинаю думать.
- Я не хочу уезжать отсюда. Знаешь, что я тебе скажу? Я не двинусь отсюда. Если только...
- Что?
- Ничего. В мастерской что нам сказали? Когда будет готова машина? Завтра или уже сегодня? Я забыл.
- Завтра утром.
- Хорошо. Смотри, уже смеркается. Проболтали мы с тобой до вечера...
- Да пошлет тебе небо поменьше таких бесед!
- Я пошутил. Пойдем в бассейн?
- Не хочу. Я почитал бы. Дашь?
- Бери, что хочешь. Ты умеешь обращаться с этими стеклянными зернами?
- Да. Надеюсь, у тебя нет, нет... чтеца со сладким голоском?
- Нет, у меня только онтон.
- Хорошо. Я его возьму. Будешь в бассейне?
- Да. Я поднимусь с тобой, переоденусь.

Я дал ему несколько книг, главным образом исторических, и одну о стабилизации динамики популяции, так как это его интересовало. И по биологии, с большой работой по бетризации. А сам я переоделся и стал искать плавки, которые куда-то подевались. Я не мог их найти и взял черные плавки Олафа, набросил купальный халат и вышел из дома.

Солнце уже зашло. С запада тянулись тучи, закрывающие более светлую часть неба. Я бросил халат на песок, остывший от дневной жары. Сел, касаясь кончиками пальцев воды. Разговор взволновал меня, хотя мне не очень хотелось в этом признаваться. Смерть Ардера сидела во мне, как заноза. Может, Олаф прав. Может, это только право памяти. Я встал и без разгона нырнул головой вниз. Вода была удивительно теплой. Вынырнул. Вода была теплой, как суп. Я вышел на противоположной стороне, оставляя на стартовом столбике мокрые отпечатки рук, и тут что-то кольнуло мне в сердце. История Ардера перенесла меня совсем в иной мир, а теперь, может, потому, что вода была теплой, должна была быть теплой, я вспомнил девушку, но с таким чувством,

словно я вспомнил что-то ужасное, несчастье, с которым мне не справиться, а необходимо.

Может, я это только вообразил. Я постоянно прокручивал в голове эту мысль. Сидел, согнувшись. Мое загорелое тело уже сливалось с темнотой. Сумерки сгущались, тучи закрыли все небо, и неожиданно, сразу же наступила ночь. Со стороны дома двигалось что-то белое. Ее шапочка. Я разволновался. Медленно встал, хотел убежать, но она заметила меня на фоне неба.

— Брегг? — спросила она тихо.

— Это я. Вы хотите купаться? Не... помешаю. Я уже ухожу.

— Почему? Вы мне не мешаете... теплая вода?

— Да. На мой взгляд, даже слишком, — проговорил я.

Она подошла к краю и легко прыгнула в воду. Я видел только ее силуэт. На ней был темный купальник. Раздался плеск. Она вынырнула прямо у моих ног.

— Ужасная! — закричала она, выплевывая воду. — Что он наделал... надо пустить холодную. Вы не знаете, как это делается?

— Нет. Сейчас посмотрю.

Я прыгнул над ее головой. Глубоко нырнул, достал вытянутыми руками дно и поплыл, время от времени проводя руками по стене. Под водой, как обычно, было немного светлее, чем на поверхности, и мне удалось разглядеть выход труб. Они находились в стене напротив дома. Я вынырнул, тяжело дыша, — слишком долго пробыл под водой.

— Брегг!!! — услышал я ее голос.

— Я здесь. Что случилось?

— Я испугалась... — тихо проговорила она.

— Чего?

— Вас так долго не было...

— Я уже знаю, где они находятся, сейчас сделаю! — прокричал я и побежал к дому. Я мог бы не совершать героического ныряния, — краны находились на видном месте в небольшой колонне возле веранды. Я открыл холодную воду и вернулся в бассейн.

— Все в порядке. Надо немного подождать...

— Хорошо.

Она стояла под вышкой, а я у короткой стенки бас-

сейна, боясь приблизиться. Все же я подошел к ней, медленно, будто с неохотой. Я привык к темноте и уже различал черты ее лица. Она смотрела в воду. Ей очень шла беленькая шапочка. Сейчас она казалась выше ростом.

Я торчал возле нее довольно долго, потом почувствовал себя неловко, сел. Чурбан, обозвал я себя. Но ничего хорошего в голову не приходило. Тучи сгущались, становилось все темнее, но дождь идти не собирался. Было довольно холодно.

— Вам не холодно?

— Нет. Брегг?

— Что?

— Вода, кажется, не прибывает.

— Ведь я открыл кран... пожалуй, хватит. Пойду закрою.

Когда я возвращался, мне вдруг захотелось позвать Олафа. Я чуть было не расхохотался — какая глупость. Я боялся девушку.

Я прыгнул в воду и тут же вынырнул.

— Пожалуй, достаточно. Может, я перестарался, скажите, могу добавить теплую...

Вода убывала теперь заметнее, так как спуск все еще был открыт. Девушка — я видел ее загорелый силуэт на фоне туч — казалось, сомневалась. Может, ей хотелось купаться, может, она хочет вернуться домой, промелькнула у меня мысль, и я почувствовал облегчение. В эту минуту она прыгнула в воду и вскрикнула — она ударилась ногами о дно, пошатнулась, но не упала. Я бросился к ней.

— Вы ничего себе не сломали?

— Нет.

— Это из-за меня. Я болван.

Мы стояли по пояс в воде. Она поплыла. Я вылез на берег, побежал к дому, закрыл кран спуска и вернулся. Ее я не увидел. Тихо вошел в воду, проплыл бассейн, лег на спину и, работая немного руками, опустился на дно. Открыл глаза, я видел стеклянную темноту, изогнутую маленькими волнами на поверхности воды. Меня медленно подняло вверх, я поплыл почти вертикально и увидел ее возле самой стены бассейна. Подплыл к ней. Здесь, на противоположной от вышки стороне, было

мелко, я встал и направился к ней, шумно разбрызгивая воду. Я видел ее лицо, девушка смотрела на меня; или я не рассчитал последних шагов — в воде трудно идти, но нелегко сразу же остановиться — или... сам уж не знаю почему, но я неожиданно оказался прямо перед ней. Может, ничего бы не случилось, если бы она отошла в сторону, но она не сдвинулась с места, стояла, держа руку на первой ступеньке лестницы, а я подошел к ней слишком близко и не мог вымолвить ни слова.

Я крепко обнял ее, она была холодной, скользкой, как рыба, страшное, чужое создание, и вдруг, в таком леденящем, словно мертвом, я нашел горячее пятно, ее губы, я целовал их, целовал и целовал — это было настоящее безумие. Она застыла — не зашищалась, не сопротивлялась. Я держал ее за плечи, поднял ее лицо вверх: я хотел его видеть, заглянуть в ее глаза, но было уже так темно, что я скорее угадывал их! Она не дрожала. Только что-то стучало — не знаю, мое сердце или ее. Мы так стояли, пока она не начала медленно освобождаться от моих рук. Я отпустил ее тут же. Она поднялась по лестнице на берег. Я за ней и снова ее обнял, как-то неловко. Теперь она задрожала. Я хотел что-то сказать, но у меня пропал голос. Я только обнимал ее, и так мы стояли, пока она не оттолкнула меня — освободилась так легко, словно меня вообще не было. У меня опустились руки. Она отошла. В свете, падающем из моего окна, я видел, как она взяла халат и, не набрасывая его, поднялась по лестнице. У дверей в холл было тоже светло. Я заметил, как блестят капли воды на ее плечах и бедрах. Дверь закрылась. Она исчезла. Какой-то миг мне хотелось броситься в воду и уже никогда не выплывать. Правда, хотелось. Мне никогда не приходило такое в голову. Я разумный человек. Но все было таким бессмысленным, невероятным, а самое неприятное — я не знал, что это значит и что мне теперь делать? И почему она была такой... такой... может, испугалась? Да, испугалась, просто испугалась. Нет, это был не страх, а что-то другое. Что? Откуда я мог знать? Или Олаф. Впрочем, я же не пятнадцатилетний щенок, чтобы, поцеловав девушку, лететь к нему за советом! «Так, — подумал я. — Начну!» Я направился к дому, поднял свой халат, отряхнул его от песка. В холле

было светло. Я приблизился к ее двери. Может, она меня впустил, подумал я. Если бы она меня впустила, она перестала бы меня интересоваться. Вероятно. И, может, это будет конец. Или получу по морде. Нет. Они добрые, они бетризованные, они не могут бить. Она даст мне немного молока; мне станет легко. Я стоял минут пять и вспоминал преисподнюю на Керенее, ту позорную дыру, о которой вспоминал Олаф. Благословенная дыра! Кажется, это был старый вулкан. Ардер застрял там между скал и не мог выбраться, а лава поднималась. Впрочем, это была не лава, Вентури говорил, что-то типа гейзера, но это он говорил потом. Ардер... Мы слышали его голос. По радио. Я спустился и вытянул его. Божь! Та дыра была не так страшна, как эти двери. Ни малейшего шороха, полная тишина. Дверь — гладкая плита без ручки. У меня не такая. Как она открывается? Я, дикарь с Керенеи, не знал. Я поднял руку и замер. А если дверь не откроется? Свое отступление я никогда не забуду. Я чувствовал, что чем дольше я стою, тем меньше у меня сил, силы покидали меня. Я дотронулся до двери. Не поддавалась. Я нажал сильнее.

— Это вы? — услышал я ее голос. Она стояла прямо за дверью.

— Да.

Тишина. Полминуты. Минута.

Дверь открылась. Она стояла на пороге. На ней был пушистый халат. Волосы рассыпались по воротнику. Теперь даже трудно поверить, но только в ту минуту я заметил, что у нее каштановые волосы. Дверь была только приоткрыта. Девушка придерживала ее. Когда я сделал шаг, она отступила. Дверь закрылась за мной бесшумно.

И неожиданно я понял, как это выглядит, словно с моих глаз спала пелена. Она смотрела, не шевелясь, бледная, придерживая руками полы халатика, а напротив нее стоял я — мокрый, голый, в черных плавках Олафа, в руке халат в песке — и таращил на нее глаза...

И неожиданно, увидев все как бы со сторон, я улыбнулся. Отряхнул халат. Надел его, завязал и сел. На полу остались два мокрых пятна. Мне абсолютно нечего было сказать. Что я мог сказать? Вдруг меня осенило, прямо снизошло вдохновение.

— Вы знаете, кто я?
— Знаю.
— Да? Хорошо. Из Бюро Путешествий?
— Нет.
— Неважно. Я дикарь.
— Неужели?
— Да. Безумно дикий. Как вас зовут?
— Вы не знаете?
— Имя.
— Эри.
— Я заберу тебя отсюда.
— Что?
— Заберу тебя. Не хочешь?
— Нет.
— А я все равно заберу тебя отсюда. Знаешь, почему?
— Догадываюсь.
— Видишь ли, дело не в том, что я не бетризованный. Меня ничто не волнует. Ничто. Только ты. Я должен тебя видеть. Должен смотреть на тебя. Должен слышать твой голос. И больше ничего мне не надо. Ничего. Я еще не знаю, что будет с нами. Допускаю, что все это плохо кончится. Но мне все равно. Ведь важно только то, что я говорю, а ты слышишь меня. Понимаешь? Нет. Ты не можешь этого понять. Вы же избавились от трагедий, чтобы спокойно жить. Я так не умею. Я не хочу спокойствия.

Она молчала. Я перевел дух.

— Эри, — сказал я, — послушай... сначала сядь.

Она не шелохнулась.

— Пропу тебя. Сядь.

Никакой реакции.

— Ведь тебе ничего не угрожает. Сядь.

Неожиданно понял. Покраснел.

— Если ты даже не хочешь отвечать, то почему меня пустила?

Никакой реакции.

Я встал. Обнял ее. Она не сопротивлялась. Я посадил ее в кресло. Подвинул свое так близко, что наши колени почти соприкасались.

— Можешь делать, что хочешь. Но послушай. Я в этом не виноват. А ты уж и подавно. Никто не виноват. Я не

хотел этого. Но так случилось. Это, понимаешь, исходная ситуация. Знаю, веду себя, как сумасшедший. Знаю. Но сейчас я скажу тебе, почему. Ты вообще не желаешь со мной говорить?

— Смотря о чем, — произнесла она.

— Спасибо и на этом. Да. Знаю. У меня нет никаких прав и так далее. Итак, что я хотел сказать — миллионы лет назад жили такие ящеры, бронтозавры, динозавры... Слышала, может, о них?

— Да.

— Это были великаны, величиной с дом. У них был чрезвычайно длинный хвост, в три раза больше тела. Поэтому они не могли двигаться, как, возможно, хотели, — легко и грациозно. У меня тоже такой хвост, понимаешь. Десять лет, неизвестно зачем, я метался по звездам. Может, и зря. Понимаешь? Я не могу вести себя так, словно этого не было, словно никогда такое не происходило. Не думаю, что ты в восторге от моих слов, от того, что я говорю и что еще поведаю. Но у меня нет другого выхода. Я должен быть с тобой столько, сколько удастся, и это собственно все. Скажи что-нибудь...

Она смотрела на меня. Мне показалось, что она еще сильнее побледнела, а, может, так падал свет. Она сидела, кутаясь в свой пушистый халат, словно ей было холодно.

— Как бы вы... поступили... на моем месте?

— Очень хорошо! — похвалил я ее. — Предполагаю, что боролся бы.

— Я не могу.

— Знаю. Думаешь, мне от этого легче? Клянусь тебе, нет. Ты хочешь, чтобы я ушел, или мне можно еще что-нибудь сказать? Почему ты так смотришь? Ведь ты уже, пожалуй, знаешь, что я сделаю для тебя все-все, понимаешь? Не смотри так, прошу тебя. Я не могу выразить все словами, как другие. Понимаешь?

Мне было ужасно жарко, как от долгого бега. Я держал ее за руки — не помню, когда я взял ее руки, может, как только сел. Не помню. У нее были такие маленькие руки.

— Эри. Пойми, я еще никогда не чувствовал того, что сейчас. В эту минуту. Подумай. Такая ужасная пустота,

там. Нельзя выразить. Я не верил, что вернусь. Никто не верил. Мы говорили об этом, но просто так говорили. Они там остались. Том, Арне, Вентури, и они превратились в камни, в такие замерзшие камни в темноте. И я мог там остаться, но если я здесь и держу твои руки, и могу разговаривать с тобой, и ты, слышишь меня, то, может, все не очень плохо. Не подло. Может, иначе, Эри! Только не смотри на меня так, умоляю тебя. Дай мне шанс. Не думай, что это только любовь. Не думай. Это нечто большее. Большее. Не веришь мне... почему ты не веришь мне? Ведь я говорю правду. Поверь!

Она молчала. У нее были ледяные руки.

— Не можешь, а? Это невозможно. Да, знаю, что невозможно. Я знал с первой минуты. Мне нельзя быть здесь. Занимаю чужое место. Я должен был остаться там. Это не моя вина, что я вернулся. Да. Не знаю, зачем я тебе все это говорю. То не существует, не существует, а? Мне все безразлично, если тебя то не волнует. Ты думала, я могу с тобой сделать все, что захочу? Не нужно мне это, понимаешь? Ты не звезда...

Наступила тишина. Весь дом молчал. Я склонился к ее рукам, безжизненно лежавшим в моих, и зашептал в них.

— Эри, Эри. Теперь ты уже знаешь, что не должна меня бояться, правда? Знаешь, что тебе ничего не грозит. Но это — нечто большее. Эри. Эри, я не знал, что такое возможно, не знал. Клянусь тебе. Зачем они летят к звездам? Не могу понять. Ведь это есть здесь. А, может, сначала надо побывать там, чтобы потом все понять? Да, возможно. Я сейчас пойду. Уже уйду. Забудь обо всем. Забудешь?

Она кивнула.

— Никому не скажешь?

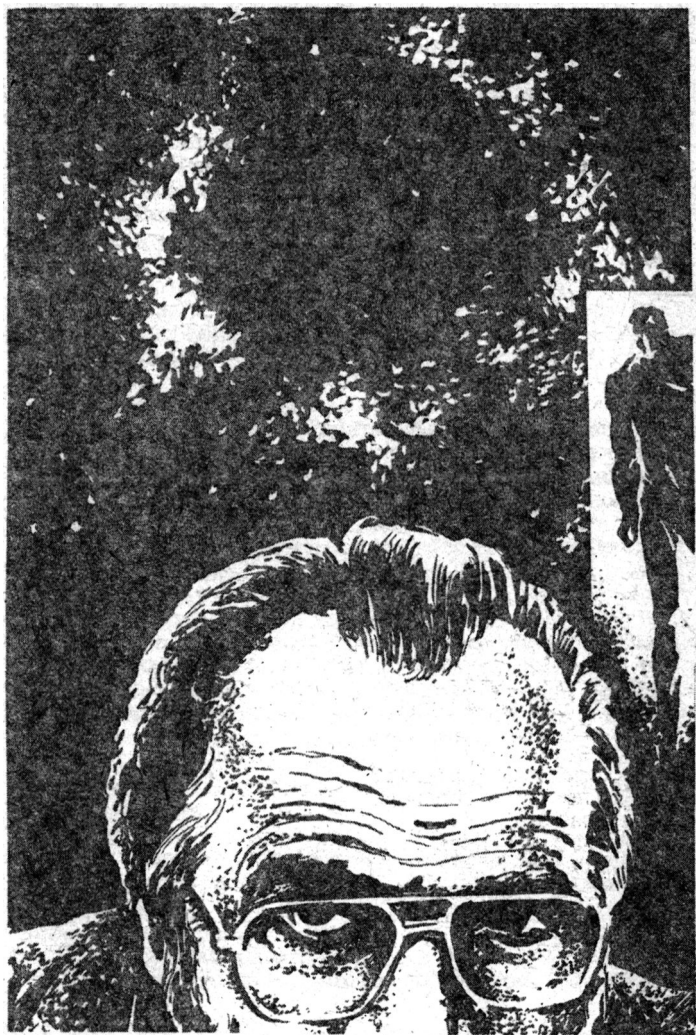
Она покачала головой.

— Правда?

— Правда, — прошептала она.

— Спасибо тебе.

Я вышел. Ступени. Кремовая стена, зеленая дверь. Дверь моей комнаты. Я широко распахнул окно, дышал. Каким чудесным был воздух. Выйдя от нее, я совершенно успокоился. Улыбался — не губами, не лицом, улыбка



была внутри меня, снисходительная к моей глупости; я раньше даже не догадывался, что все так просто. Я перевернул, наклонившись, содержимое спортивной сумки. Среди шнурков? Нет. Какой-то узелок, что это, нет, сейчас...

Нашел, выпрямился, и вдруг мне стало стыдно. Свет. Не могу так. Пошел выключать, но тут на пороге появился Олаф. Он был одет. Не ложился спать?

— Что делаешь?

— Ничего.

— Ничего? Что у тебя в руке? Не прячь!

— Ничего нет.

— Покажи!

— Не хочу. Уйди.

— Покажи!

— Нет!

— Я так и знал. Подлец!

Я не ожидал такого удара. Разжал руку, нож выскользнул, ударился о пол, а мы с Олафом начали бороться, я подмял его под себя, переброшил, письменный стол упал, лампа так грохнула о стену, что загремело на весь дом. Я поборол его. Он не мог вырваться, хотя сопротивлялся; услышав крик, ее крик, я отпустил Олафа, отскочил в сторону.

Она стояла в дверях.

Олаф поднимался на колени.

— Он хотел покончить с собой. Из-за тебя! — прохрипел он и схватился за горло. Я отвернулся. Прислонился к стене, ноги у меня дрожали. Мне было стыдно. Ужасно стыдно. Она смотрела на нас — то на одного, то на другого. Олаф по-прежнему держался за горло.

— Уходи, — тихо попросил я.

— Сначала ты должен меня прикончить.

— Смилуйся.

— Нет.

— Пожалуйста, уходите, — произнесла она.

От удивления я замолчал. Олаф, ошеломленный, смотрел на нее.

— Милая, он...

Она покачала головой.

Не сводя с нас глаз, Олаф отступил вбок.

Она смотрела на меня.

— Это правда? — спросила она.

— Эри... — простонал я.

— Ты должен? — спросила она.

Я кивнул. Она запротестовала.

— Почему?.. — и повторил еще раз заикаясь: — Почему?..

Она молчала. Я подошел к ней и заметил, что она ежится, и руки, придерживающие полы халата, дрожат.

— Почему? Почему ты так боишься меня?

Она покачала головой.

— Нет?

— Нет.

— Но ты же дрожишь?

— Просто так.

— И... пойдешь со мной?

Она кивнула два раза, как ребенок. Я обнял ее так бережно, как только мог, словно она была стеклянной.

— Не бойся, — прошептал я. — Посмотри...

У меня тоже дрожали руки. Почему они не дрожали, когда я постепенно седел, ожидая Ардера? До каких тайников, до каких закоулков души я, наконец, добрался, чтобы узнать себя?

— Садись, — предложил я, — ведь ты все еще дрожишь? Или нет, подожди.

Я положил ее на свою постель. Укрыл до подбородка.

— Так лучше?

Она кивнула. Я не знал, только со мной она такая молчаливая или у них так принято.

Я опустился на колени перед кроватью.

— Расскажи мне что-нибудь, — прошептал я.

— Что?

— О себе. Кто ты. Что делаешь. Чего хочешь. Нет — чего ты хотела раньше, пока я не свалился тебе на голову.

Она слегка пожала плечами, будто говоря «мне нечего сказать».

— Не хочешь? Почему, разве...

— Не важно... — ответила она. Эти слова, словно ударили меня. Я попятился.

— Почему... Эри... Почему, — бормотал я. Но я уже понял. Хорошо понял.

Я вскочил и стал ходить по комнате.
 — Не хочу так. Не могу. Не могу. Так нельзя, я...
 Я остолбенел. Снова. Ведь она улыбалась. Легкой, едва заметной улыбкой.
 — Эри, что...
 — Он прав, — проговорила она.
 — Кто?
 — Тот... ваш приятель.
 — В чем?
 Ей трудно было ответить. Она отвела взгляд.
 — В том, что вы... неумны.
 — Откуда тебе известно, что он так сказал?
 — Я слышала.
 — Наш разговор? После обеда?
 Она кивнула. Покраснела. Даже уши у нее порозовели.
 — Я не могла не услышать. Вы говорили слишком громко. Я хотела выйти, но...
 Я понял. Дверь ее комнаты выходила в холл. Какой кретин, подумал я, о себе, конечно. Я был ошеломлен.
 — Ты слышала все?..
 Она кивнула.
 — И знала, что я говорю о тебе?
 — Угу.
 — Почему? Ведь я не произнес твоего имени...
 — Я поняла еще раньше.
 — Каким образом?
 Она покачала головой.
 — Не знаю. Поняла. Точнее, сначала я подумала, что мне только кажется.
 — А потом?
 — Не знаю. Так, в течение дня. Чувствовала это.
 — Ты очень боялась? — мрачно спросил я.
 — Нет.
 — Нет? Почему?
 Она еле заметно улыбнулась.
 — Вы совершенно, совершенно, как...
 — Как что?..
 — Как в сказке. Я не знала, что можно... таким... быть... и если бы не то, что... вы знаете... я думала бы, что мне это снится...

— Уверю тебя, что не снится.
— Ох, не знаю. Так только сказала. Вы знаете, о чем речь?

— Нет. Видно, я тупой, Эри. Да, Олаф прав. Я болван. Настоящий болван. Поэтому скажи мне яснее, хорошо?

— Хорошо. Вы думаете, что вы страшный, а вы совсем не такой. Вы только...

Она замолчала, словно не могла найти слова. Я слушал ее, раскрыв рот.

— Эри, детка, я... я совсем не думал, что я страшный. Глупость. Клянусь тебе. Только, когда я прилетел и наслушался, и узнал разные разности... хватит. Я уже много наговорил. Слишком много. Никогда в жизни я не был таким болтливый. Говори, Эри. Говори. — Я сел на кровать.

— Мне нечего больше сказать, правда. Только... я не знаю...

— Чего не знаешь?

— Что будет?..

Я наклонился над ней. Она смотрела мне в глаза. Ее веки не дрогнули. Наше дыхание слилось.

— Почему ты разрешила мне тебя целовать?

— Не знаю.

Я прикоснулся губами к ее щеке. К шее. Я лежал, положив голову ей на плечо, изо всех сил стискивая зубы. Такого со мной никогда не было. Не знал, что такое может случиться. Мне хотелось плакать.

— Эри, — беззвучно, только губами, шепнул я. — Эри. Спаси меня.

Она лежала неподвижно. Я слышал, словно издали, учащенные удары ее сердца. Я сел.

— Разве... — начал я, но не отважился закончить. Я встал, поднял лампу, поставил письменный стол, наткнулся на что-то — это был туристский нож. Он лежал на полу. Я засунул его в сумку. Повернулся к ней.

— Я выключу свет, — сказал я, — хорошо?

Она не ответила. Я нажал на выключатель. Мрак был крошечный, даже в открытом окне не было видно никаких, даже самых далеких огоньков. Ничего. Черно. Черно, как там.

Я закрыл глаза. Тишина звенела.

— Эри... — прошептал я. Она не отозвалась. Я чувствовал ее страх. На ощупь я направился к постели. Старался услышать ее дыхание, но только тишина звенела, охватывая все пространство, словно материализовалась в темноте и стала ею. Я должен уйти, подумал я. Но я наклонился и в каком-то ясновидении нашел ее лицо. Она задержала дыхание.

— Нет, — выдохнул я. — Ничего. Действительно ничего.

Я дотронулся до ее волос. Кончиками пальцев гладил их, изучал, еще чужие, еще неожиданные. Мне очень хотелось понять все. А, может, нечего было и понимать? Какая тишина. Спит ли Олаф? Вероятно, нет. Он сидит, прислушивается. Ждет. Не пойти ли к нему. Я не мог. Это было слишком неправдоподобно, сомнительно. Я не мог. Не мог. Положил голову на ее плечо: одно движение — и я был возле нее. Почувствовал, как все ее тело одеревенело. Она отодвинулась. Я шепнул:

— Не бойся.

— Не боюсь.

— Дрожишь.

— Это просто так.

Я обнял ее. Я ощущал тяжесть ее головы на сгибе руки. Так мы лежали рядом в томительной тишине.

— Уже поздно, — прошептал я. — Очень поздно. Можешь, спать. Пожалуйста. Спи...

Я качал ее медленно-медленно, одним напряжением мышц руки. Она лежала тихо, я чувствовал тепло ее тела и дыхания. И сердце билось тревожно. Постепенно-постепенно оно начало успокаиваться. Она очень устала. Я прислушался сначала с открытыми глазами, потом закрыв их, мне казалось, что так я лучше слышу. Заснула ли она? Почему она так дорога мне? Я лежал в темноте, меня обдувал ветер. Он шевелил занавески, они издавали слабый шелест. Я был потрясен. Эннессон. Томас. Вентури. Ардер. Значит, все ради этого? Ради горсточки пепла? Там, где никогда не веет ветер. Где нет ни туч, ни солнца, ни дождя, где ничего нет, абсолютно ничего нет, и даже нельзя представить, что все это вообще может существовать. И я был там? Действительно был? Зачем? Я уже ничего не различал, все сливалось с бесформенной

темнотой. Я замер. Она вздрогнула. Медленно повернулась на бок. Но ее голова осталась на моем плече. Она тихонько пробормотала что-то. И продолжала спать. Я пытался представить себе хромосферу Арктура. Зияющее пространство, над которым я летел и летел, словно вращался на ужасной невидимой огненной карусели; глаза слезились, опухли, а я безжизненно повторял: «Зонд, Ноль, Семь... Зонд, Ноль, Семь. Зонд. Ноль. Семь», — тысячу, тысячу раз (потом при одном воспоминании об этих словах во мне все вздрагивало, словно они выжгли что-то во мне, словно они стали моей раной), а в ответ я слышал лишь шум в наушниках и хихикающее пение, в которое аппаратура превращала лучи протуберанцев; лучистый газ — вот что осталось от Ардера, его лица, тела и ракеты. А Томас? Пропавший Томас, о котором никто не знал, что... А Эннессон? У нас с ним были плохие отношения, я его не выносил. Но в шлюзовой камере я боролся с Олафом, который не хотел меня выпускать, так как было уже слишком поздно: каким я был благородным, о небо! Черное и голубое... Но это было не благородство, а вопрос цены жизни. Да. Ведь каждый из нас был бесценным, человеческая жизнь стоила больше там, где она вообще не ценилась, где тончайшая, почти невидимая нить отделяла ее от конца. Проволочка или контакт в радиоаппаратуре Ардера. Шов в реакторе Вентури, который Восс не доглядел, а может, неожиданно шов разошелся, такое ведь случается, усталость металла — и Вентури за какие-то пять секунд не стало. А возвращение Турбера? А чудесное спасение Олафа, который потерялся, когда главную антенну перебило — когда? Каким образом? Никто не знал. Олаф вернулся — чудо. Счастливым случай — один на миллион. А как мне везло. Какое неожиданное, невероятное счастье выпало мне... Плечо онемело, мне было невыразимо хорошо. Эри, мысленно произнес я, Эри. Как голос птицы. Такое у нее имя. Голос птицы... Как мы просили Эннессона имитировать птиц. У него это получалось. Хорошо получалось, а когда он погиб, вместе с ним погибли все птицы...

Все смешалось, я погружался, плыл сквозь темноту. В последнее мгновение перед сном мне показалось, что я нахожусь там, на своем месте, на койке, глубоко, около

железного дна, а рядом со мной лежит невысокий Арне — я на миг очнулся. Нет. Арне умер, я на Земле. Девушка тихо дышит.

Будь благословенна, Эри, мысленно произнес я, вдыхая запах ее волос и заснул.

Я открыл глаза, не понимая, ни где я, ни кто я. Удивился, увидев темные волосы, рассыпавшиеся на моем плече, я не чувствовал его, будто оно было чужим. Это продолжалось долю секунды. Потом я все понял. Солнце еще не взошло, от молочно-белого света без всякого розового оттенка веяло стальным холодом. Я разглядывал в раннем утреннем свете ее лицо, словно видел его впервые. Она крепко спала, ровно дышала, вероятно, ей не очень удобно было лежать на моем плече и она положила себе под голову ладонь и иногда чуть приподнимала брови, будто ее снова что-то удивляло. Я внимательно всматривался в ее лицо, словно на нем была написана моя судьба.

Я подумал об Олафе. Стал с величайшей осторожностью высвобождать ее плечо. Моя осторожность была излишней. Она спала крепко, ей что-то снилось — я замер, стараясь отгадать, не снится ли ей плохое. У нее было почти детское лицо. Сон спокойный. Я отодвинулся, встал. В купальном халате, в котором спал, босиком вышел в коридор, тихо, медленно закрыл за собой дверь и также с огромной осторожностью заглянул в комнату Олафа. Кровать была застелена. Он сидел у стола, положив голову на руки, и спал. Как и я предполагал, не раздеваясь. Не знаю, что его разбудило. Может, мой взгляд? Он очнулся неожиданно, окинул меня ясными глазами, выпрямился, потянулся, разминая кости.

— Олаф, — обратился я, — даже через сто лет...

— Замолкни, — вежливо проговорил он. — Гэл, мне известны твои дурные наклонности...

— Снова начинаешь? Я хотел тебе только сказать...

— Знаю, что ты хотел сказать. Всегда знаю, что желаешь сказать, за неделю вперед знаю. Если бы на «Прометее» нужен был судовой капеллан, ты бы смог им стать. Черт побери, как это раньше не пришло мне в голову. Я научил бы тебя уму-разуму. Гэл! Никаких проповедей. Никакой торжественности, никаких проклятий, клятв и тому подобного. Да? Хорошо. Так?

— Не знаю. Как будто... Не ведаю... Если ты думаешь о... ну... то между нами ничего не было.

— Ты не должен унижаться, — проговорил он. — С высоко поднятой головой обязан говорить. Болван ты этакый, разве я тебя об этом спрашиваю? Я говорю о перспективах и тому подобном.

— Не представляю. Я тебе скажу, думаю, что она тоже не знает. Я, как камень, свалился ей на голову.

— Да. Это неприятно, — заметил Олаф. Он раздевался. Искал плавки. — Сколько ты вешишь? Сто десять?

— Что-то около того. Не ищи, на мне твои плавки.

— При всей своей святости ты всегда любил стащить что-нибудь чужое, — ворчал он, а когда я стал снимать плавки, он буркнул: — Ты что, спятил, перестань. У меня в чемодане есть вторые...

— Как разводятся? Случайно не знаешь? — спросил я.

Олаф перестал рыться в чемодане и посмотрел на меня. Заморгал.

— Нет, понятия не имею. Интересно, откуда мне знать об этом? Я слышал, что сейчас развестись — как чихнуть. И даже не надо говорить: «Будь здоров». А здесь нет нормальной ванны, с водой?

— Не знаю. Пожалуй, нет. Только такая...

— Да. Освежающий ветер с запахом зубного эликсира. Ужасно. Идем в бассейн. Без воды я не ощущаю себя чистым. Она спит?

— Спит.

— Тогда бежим.

Вода была холодной и прекрасной. Я сделал сальто с поворотом назад, у меня получилось. Никогда не получалось. Я вынырнул, фыркая и откашливаясь, так как втянул носом воду.

— Осторожно, — прокричал с берега Олаф, — ты теперь должен быть внимательным. Помнишь Маркля?

— Да, а что?

— Он побывал на четырех зааммиаченных спутниках Юпитера, а когда вернулся и приземлился на учебном ракетодроме, вышел из ракеты, обвешанный трофеями, как новогодняя елка, споткнулся и сломал ногу. Будь осторожен. Предупреждаю тебя.

— Постараюсь. Чертовски холодная вода. Я выхожу.
— Прекрасно. Можешь заработать насморк. У меня его не было десять лет, а как только прилетел на Луну, стал кашлять.

— Ведь там было очень сухо, знаешь, — с серьезной миной произнес я. Олаф рассмеялся и брызнул мне в лицо водой, отскочив в сторону на метр.

— Фактически сухо, — заметил он, выплывая. — Очень хорошее определение, не правда ли? Сухо, но уютно.

— Ол, я выхожу.

— Хорошо. Встретимся за завтраком? Или ты не желаешь?

— Конечно, встретимся.

Я побежал наверх, вытираясь по дороге. Перед дверью я затаил дыхание. Осторожно заглянул. Она спала. Я воспользовался этим и быстро переоделся. Успел даже побриться в ванной комнате.

Я выглянул в комнату — мне показалось, что Эри позвала меня. Когда я на цыпочках приблизился к кровати, она открыла глаза.

— Я спала... здесь?

— Да. Да, Эри...

— Мне казалось, что кто-то...

— Эри... это был... я.

Она смотрела на меня, словно медленно все вспоминала. Сначала ее глаза немного расширились — от удивления? — потом она закрыла глаза, вновь быстро, украдкой открыла их, но я успел это заметить, она заглянула под одеяло — и показалось ее покрасневшее лицо.

Я откашлялся.

— Ты, наверное, хочешь пойти к себе, а? Может, мне лучше выйти или...

— Не надо, — проговорила она, — ведь я в халате.

Садясь, она запахла полы халата.

— Это... уже... на самом деле так?... — тихо произнесла она таким тоном, словно с чем-то расставалась.

Я не ответил.

Она встала, прошлась по комнате, подошла ко мне.

Эри вглядывалась в мое лицо — в ее глазах застыл вопрос, неуверенность и что-то еще, чего я не понял.

-- Брэгг...
-- Меня зовут Гэл.
-- Бр... Гэл, я...
-- Слушаю.
-- Я действительно не знаю... Мне хотелось бы... Сеон...
-- Что?
-- Ну... он...
Не могла или не хотела произнести "мой муж"?
-- Он вернется послезавтра.
-- Да?
-- Что будет?
Я поперхнулся.
-- Мне следует с ним поговорить? -- спросил я.
-- Зачем?
Теперь я в свою очередь посмотрел на нее, удивленно, ничего не понимая.
-- Вы... ведь говорили вчера...
Я ждал.
-- Что... заберете меня.
-- Да.
-- А он?
-- Тогда мне не нужно с ним говорить? -- глупо спросил я.
-- Что значит -- говорить? Вы хотите сами?
-- А кто?
-- Это должен быть... конец?
У меня сжало горло, я откашлялся.
-- Ведь... нет другого выхода.
-- Я думала, что это... мекс.
-- Что?
-- Вы не знаете?
-- Ничего не понимаю. Ничего. Не ведаю. Что это такое? -- спросил я, чувствуя, как мурашки пробежали по спине. Снова я попал в один из неожиданных люков, в вязкое непонимание.
-- Это... Такие... такая... если кто-то встречается... если хочет на какое-то время... вы правда ничего не знаете об этом?
-- Подожди, Эри, не представляю, но мне кажется, я начинаю... может, это нечто временное, такая отсрочка, такое легкое приключение?

— Ты не понял, — ответила она с широко открытыми от удивления глазами. — Вы не знаете... что это... Я не в силах вам объяснить, что это такое, — призналась она. — Я только слышала об этом. Я думала, что вы поэтому...

— Эри. Ничего не знаю. И черт побери, если я хоть что-нибудь понимаю. Разве это... во всяком случае как-то это связано с замужеством, а?

— Ну, конечно. Идут в учреждение и там, точно не знаю что, в любом случае потом это уже считается, это уже сущее сует.

— Но что?

— Независимость. Тогда ничего нельзя сказать. Никто. Значит, и он...

— Ведь это тогда... своего рода легализация — ну, черт возьми! — легализация супружеской измены? Да?

— Нет. Это значит, что это уже не измена, впрочем, так у нас не говорят. Я знаю, что это значит, учила. Измены не существует потому, ну, потому, что я с Сеоном ведь только на год.

— Что-о?.. — удивился я, мне показалось, что я плохо расслышала. — Что это значит? На год? Супружество на год? На один год. Почему?

— Это попытка...

— О небо! Черное и голубое! Попытка. А что такое меск? Может, это авизо на следующий год?

— Не знаю, что такое авизо. Это... это значит, если через год супруги не расходятся, тогда это становится действительным. Как бракосочетание.

— Меск?

— Да.

— А если ничего не получится, тогда что?

— Ничего. Не имеет никакого значения.

— Ага. Ну, теперь понимаю. Нет. Никакого меска. На веки веков. Знаешь, что под этим подразумевается?

— Знаю! Я стану госпожой Брегг?

— Да.

— В этом году я пишу диссертацию по археологии...

— Ясно. Ты даешь мне понять, что, считая тебя идиоткой, я сам выгляжу идиотом?

Она улыбнулась.

— Вы очень точно это определили.

— Да. Извините. Итак, Эри, я могу с ним поговорить?

— О чем?

У меня челюсть отвалилась. Снова, подумал я.

— Ну, если речь идет о тяж... — и прикусил язык. —
О нас.

— Ведь так не делают.

— Не делают? Ага. Ну, прости. А как?

— Проводят раздел. Но Брегг, на самом деле... ведь я...
не могу так...

— А как можешь?

Она беспомощно пожала плечами.

— Итак, нам придется начать все снова? — спросил я. — Не сердись, Эри, на мои слова мне надо давать двойную фору в этих соревнованиях. Я ведь не знаю всех правил, обычаев, того, что следует и что не следует делать, даже если это касается ежедневных проблем, а что уж говорить о таких...

— Понимаю тебя. Понимаю. Но я с ним... я... Сеон...

— Ясно, — сказал я. — Может, мы сядем.

— Стоя я лучше думаю.

— Пожалуйста, Эри, послушай. Я знаю, что должен сделать. Должен забрать тебя, как я говорил, и уехать куда-нибудь — не знаю почему, я в этом уверен. Может, из-за своей безумной глупости. Но мне кажется, что тебе со мной в конце концов будет хорошо. Ну... Пока я, понимаешь, еще... ну, короче, не хочу этого делать. Чтобы не заставлять тебя. Тем самым вся ответственность за мое решение — назови это так — ложится на тебя... Иначе, я поступлю по-свински, не с тобой, с ним. Да. Понимаю это отлично. Отлично. Ты скажи только, что ты предпочитаешь?

— Со мной...

— Что?

— По-свински со мной...

Я засмеялся. Может, немного истерично.

— О боже! Да. Хорошо. Я могу с ним поговорить?
Потом. Приеду, значит, сюда один...

— Нет.

— Так не поступают? Возможно. Но я чувствую, что должен, Эри...

— Не должен. Я... очень вас прошу. На самом деле. Нельзя. Нельзя!

Неожиданно у нее полились слезы. Я обнял ее.

— Эри! Не надо, ну, не надо. Сделаю, как хочешь, только не плачь. Умоляю тебя. Потому... не плачь. Перестань, слышишь? А, впрочем... плачь... я... сам не знаю...

— Я... не представляла, что это... может... так... — прорыдала она.

Я носил ее по комнате.

— Не плачь, Эри... или знаешь что? Уедем на... месяц. Хочешь так? Если пожелаешь потом, вернешься...

— Пожалуйста... — проговорила она, — пожалуйста...

Я поставил ее на пол.

— Нельзя так? Ведь я ничего не знаю. Я думал...

— Ах, ну что вы! Можно, нельзя. Я не хочу! Не хочу!

— Я все больше чувствую себя свиньей, — произнес я неожиданно сухо. — Ну, хорошо, Эри. Больше я не стану с тобой советоваться. Одевайся. Позавтракаем и уедем.

Она смотрела на меня со слезами на глазах. Была странно сосредоточена. Нахмурила брови. Казалось, она хочет сказать мне что-то лестное. Но она только вздохнула и молча вышла. Я сел за стол. Мое решение — как в каком-то романсе о пиратах — было неожиданным для меня самого. В действительности моя решительность напоминала розу ветров. Я чувствовал себя чурбаном. "Как я могу? Как я могу?" — спрашивал я себя. Ох, запутался!

В приоткрытых дверях стоял Олаф.

— Дружице, — начал он, — мне неприятно. Я сверхбестактен, но я все слышал. Не мог не слышать. Следует закрывать дверь, а еще у тебя слишком громкий голос. Гэл, ты превосходишь самого себя. Что ты хочешь от девушки? Чтобы она бросилась тебе на шею за то, что ты однажды забрался в ды...

— Олаф! — рявкнул я.

— Нас спасти может только спокойствие. Ну, археолог нашел прекрасное ископаемое. Сто шестьдесят лет — это уже антик, не так ли?

— Твой юмор...

— Тебе не нравится. Ясно. Мне он тоже не по душе. Но что стал бы я делать, если бы не разбирался в подоплеке твоего поведения? Надоевшие похороны, вот и все. Гэл, Гэл...

— Помню свое имя.
— В чем дело? Сбор, капеллан. Завтракаем и отплываем.

— Куда же?

— Мне случайно известно. Возле моря еще сдаются маленькие домики. Возьмете машину...

— Что значит "возьмете"?

— А как? Святым духом? Капеллан...

— Если ты не прекратишь, Олаф...

— Хорошо. Знаю. Ты хотел бы осчастливить всех: меня, ее, Сеона, или Сеона не хочешь, не получится. Гэл, вместе отправимся. В крайнем случае подбросишь меня до Хоула. Я возьму там ульдер.

— Ну-ну, — остановил я его, — неплохой я тебе организовал отдых!

— Не жалуюсь и ты не жалуйся. Может, что-нибудь и получится. А теперь хватит. Иди.

Завтрак проходил в особой атмосфере. Олаф говорил больше, чем обычно, но скорее в пустоту. Эри и я почти не отвечали. Потом белый робот подал глайдер, и Олаф поехал на нем в Клавестру за автомашиной. Так он решил в последний момент. Через час машина была уже в саду, я погрузил свои пожитки, Эри тоже взяла свои вещи, мне показалось, что не все, но я ее ни о чем не спрашивал, мы вообще не обмолвились ни словом. И солнечным днем, который обещал быть жарким, мы поехали сначала в Хоул — это немного в сторону — и Олаф там вышел; он только в машине сказал мне, что снял для нас домик.

Мы не прощались.

— Послушай, — проговорил я, — если напишу тебе... ты приедешь?

— Вероятно. Сообщу тебе свой адрес.

— Напиши до востребования, в Хоул, — попросил я. Он подал мне свою сильную руку. Сколько еще таких осталось на Земле?

Я пожал ее так крепко, что у меня даже кости захрустели, и, не поворачиваясь, сел за руль. Мы ехали почти час. Олаф сказал мне, где я должен искать этот домик. Маленький дом — всего четыре комнаты, без бассейна, стоял на самом берегу. Минув ряды цветных

домиков, разбросанных на холмах, мы после очередного подъема увидели океан. А его приглушенный шум мы слышали еще издалека.

Порой я поглядывал на Эри. Она сидела выпрямившись, молчала и только изредка смотрела в окно на пейзаж. Домик, наш домик должен быть голубым с оранжевой крышей. Я почувствовал на языке вкус соли. Шоссе повернуло и дальше шло прямо до песчаного берега. Шум океана, волны которого издали казались неподвижными, сливался с резким гулом мотора.

Домик был одним из последних. В маленьком саду, с кустами, серыми от морской соли, были заметны следы недавнего шторма. Волны, видимо, доставали до низкой ограды — везде валялись пустые раковины. Козырек наклонной крыши напоминал отогнутые поля шляпы и давал большую тень. Из-за высокой дюны, слегка покрытой растительностью, выглядывал соседний домик. До него было шагов шестьсот. Ниже, на серпообразном пляже, виднелись силуэты людей.

Я открыл дверцу.

— Эри...

Она вышла молча. Если бы я мог знать, какие мысли прячутся за ее слегка наморщенным лбом. Она шла к дому рядом со мной.

— Подожди, — сказал я. — Тебе нельзя переступить порог, понимаешь?

— Почему?

— Открой... — попросил я. Она прикоснулась пальцами к плите, дверь открылась.

Я перенес ее через порог и поставил на пол.

— Такой обычай. На... счастье...

Она пошла смотреть комнаты. Кухня в конце дома, автоматическая, один робот, собственно, не робот, а некое глупое электрическое создание для уборки. Робот мог и подавать на стол. Исполнял приказы, но произносил всего несколько слов.

— Эри, — спросил я, — хочешь пойти на пляж?

Она покачала головой. Мы стояли посредине самой большой, белой с золотом, комнаты.

— А чего ты хочешь, может...

Я не успел закончить фразы, а она снова покачала головой.

Я уже представлял, как будут развиваться события. Но я уже бросил кости, игра должна продолжаться.

— Принесу вещи, — сказал я. Я ждал что-нибудь в ответ, но она села на зеленый, как трава, стул, и я понял, что она не произнесет ни слова. Первый день был ужасен. Эри не делала ничего демонстративно, не избегала меня специально, а после обеда пыталась даже заниматься — я попросил тогда разрешить мне остаться в ее комнате и смотреть на нее. Я обещал молчать и не мешать ей. Но уже через пятнадцать минут (какова проницательность!) я догадался, что мое присутствие тяготит ее, как невидимый камень, понял по линии ее плеч, по мелким, осторожным движениям, по скрытому напряжению. Обливаясь потом, я убежал от нее, стал ходить взад-вперед по своей комнате. Я еще не знал ее. Но понимал уже, что она неглупа, может, даже умна. В сложившейся ситуации это было одновременно хорошо и плохо. Хорошо, так как если она не понимала, то догадывалась, что я на самом деле не варвар, не дикарь. Плохо, потому что если это так, то совет, данный мне в последний момент Олафом, бессмыслен. Он сказал мне афоризм, который я знал из книги Хона: "Женщина должна быть как пламень, а мужчина — как лед". Он считал, что только ночью я смогу добиться своего. Я не хотел этого, ужасно страдал, ясно отдавая себе отчет в том, что за столь короткое время я не в силах убедить ее словами, они не дойдут до нее, не изменят ничего, хотя она сорвалась только раз, когда закричала: "Не хочу, не хочу!". Я воспринимал как плохой знак и то, что тогда она быстро справилась с собой.

Вечером ее обуял страх. Я старался быть тише воды, ниже травы, как Вув, невысокий пилот, самый большой молчун, какого я знал, который умел, не произнося ни слова, выразить и сделать все, что хотел. После ужина — она не ела ничего, и это привело меня в ужас — я ощутил, что начинаю злиться. За свои страдания, порой я даже ее ненавидел, и безграничная несправедливость этого чувства только усиливала его.

Наша первая настоящая ночь. Эри, еще все

разгоряченная, уснула на моих руках, ее дыхание становилось все ровнее — она погружалась в глубокий сон. Тогда я был почти уверен, что победил. Она все время боролась, не со мной, а с собственным телом, которое я познавал, целуя тонкие ногти, маленькие пальцы, ладони, ступни ног, каждую ее частицу открывал и пробуждал к жизни поцелуем, проникая в нее — против ее воли — невероятно терпеливо и медленно, это проникновение было почти незаметно, а когда я чувствовал нарастающее сопротивление, воспринимаемое мною, как смерть, тогда отступал, то начинал нашептывать ей сумасшедшие, наивно-детские слова, то снова замолкал и только ласкал, нежно прикасался к ней, так продолжалось долго, я ощущал, как она раскрывается и как ее холодность сменяется дрожью последнего сопротивления, а потом она задрожала иначе, уже покоренная, но я продолжал ждать, теперь уже молча, ведь это было выше слов, различал в темноте ее загорелые плечи и груди, левую грудь, под ней билось сердце все быстрее и быстрее, дышала Эри все чаще, все отчаяннее, и случилось; это было даже не блаженство, а милость уничтожения и слияния, штурм до границы тел, и они резко на одно мгновение соединились в одно, наше тяжелое дыхание, наш жар перешли в беспмятство; она вскрикнула раз, слабо, высоким детским голосом и обняла меня. А потом опустила руки, потихоньку, словно от стыда и печали, будто вдруг поняла, как ужасно я провел и обманул. А я снова стал целовать сгибы ее пальцев, молча умолять, опять начал свое чувственное и ужасное наступление. И все повторилось, как в черном бредовом сне, и вдруг я почувствовал, как ее рука, погруженная в мои волосы, прижимает мое лицо к ее обнаженному плечу с такой силой, какой я не ожидал от Эри. А потом, смертельно уставшая, быстро дыша, как бы желая выдохнуть из себя накопившийся жар и неожиданный страх, она уснула. А я лежал, как мертвый, не шевелясь, напряженный до предела, стараясь понять, означает ли случившееся все или ничего. Когда я засыпал, мне показалось, что мы спасены, и только тогда я успокоился, как на Керене, — я лежал на горячих

плитах потрескавшейся лавы рядом с Ардером, он был без сознания, но я видел его губы, быстро шевелящиеся за стеклом скафандра, и знал, что мои усилия не пропали даром, но у меня не было сил открыть ему кран резервного баллона; я лежал, словно парализованный, с сознанием, что самое большое дело жизни уже позади, и, если я сейчас умру, то ничего уже не изменится и мое оцепенение — невыразимое молчание триумфа.

А утром все пошло по-старому. В первые часы она по-прежнему стыдилась, а может, не знаю, презирала меня или себя за то, что произошло; перед обедом мне удалось уговорить Эри прогуляться. Мы ехали по шоссе вдоль огромных пляжей. Солнце освещало Тихий океан, шумящий колосс; на белых и золотых волнах до самого горизонта качались цветные полотнища парусников. Я остановил машину там, где пляж неожиданно заканчивался невысоким скалистым обрывом. Шоссе здесь круто поворачивало и, стоя в метре от него, можно было с высоты наблюдать за сильным прибоем. Мы вернулись к обеду. Все протекало, как вчера. Во мне все замирало при мысли о предстоящей ночи. Я не хотел, не хотел такого повторения. Когда я не смотрел на Эри, я чувствовал на себе ее взгляд. Я пытался понять, почему она время от времени хмурится, внезапно останавливает взгляд. Перед ужином, когда мы сели за стол, я не знаю, как и почему, вдруг, словно кто-то одним ударом образумил меня, меня осенило. Хотелось бить себя кулаками по лбу — какой я эгоист, дурак, обманывающий себя прохвост. Ошеломленный, я сидел неподвижно, только внутри бушевала буря, пот выступил на лбу, я почувствовал огромную слабость.

— Что с тобой? — спросила Эри.

— Эри, — прохрипел я, — только... теперь. Клянусь тебе! Только сейчас я понял, только сейчас, что ты пошла со мной, боясь, что я... да?

От удивления глаза у нее расширились, она внимательно глядела на меня, будто подозревала какой-то обман, комедию.

Эри кивнула.

Я сорвался с места.

— Поехали.

— Куда?

— В Клавестру. Собирай вещи. Мы будем там... — я посмотрел на часы, — через три часа.

Она стояла не шевелясь.

— Ты серьезно?.. — спросила Эри.

— Серьезно. Эри! Я не понимал. Да, знаю. Это звучит неправдоподобно. Есть, однако, границы. Эри, я еще не до конца уразумел, как я могу поступить так, пожалуй, я обманывал себя. Ну, не знаю, все равно, теперь это уже не имеет никакого значения.

Она собрала вещи. Очень быстро. Все во мне рушилось и обрывалось, но внешне я выглядел абсолютно, почти абсолютно спокойным. Сев рядом со мной в машину, она сказала:

— Гэл, извини.

— За что? Я понял. Ты думала, что я знаю.

— Да.

— Хорошо. Не будем говорить об этом.

И снова я шел на скорости сто километров; мелькали домики — лиловые, белые, синие, дорога петляла, я увеличивал скорость, на шоссе было большое движение, потом уменьшилось, небо стало темно-голубым, поблекли краски домов, показались звезды, а мы все мчались в протяжном свисте ветра.

Все вокруг посерело, холмы теряли очертания, превращались в контуры, в ряды серых выпуклостей, в сумерках дорога проступала широкой фосфоресцирующей полосой. Я узнал первые дома Клавестры, характерный поворот, живые изгороди. Прямо у входа остановил машину, вынес ее вещи в сад, под веранду.

— Я не хочу... входить в дом. Понимаешь?

— Да.

Мне не хотелось с ней попрощаться, я просто отвернулся. Эри прикоснулась к моей руке, я дрогнул, словно от ожога.

— Гэл, спасибо...

— Молчи. Умоляю, ничего не говори.

Я убежал. Вскочил в машину, дал газ, шум мотора на какое-то время успокоил меня. Я был смешон. Конечно, она боялась, что я убью его. Ведь она видела, что я

пытался убить Олафа, невинного, как младенец, только за то, что он не позволил мне... а впрочем, пустяки. Я кричал там, в машине, я все мог позволить себе, — я был один, мотор заглушал мое безумие — и снова не ведаю, в какой миг уразумел, что надо делать. И опять, как тогда, я успокоился. Не совсем. Ведь я воспользовался таким ужасным образом ситуацией и вынудил ее пойти со мной, и все случилось, потому что — это было самое худшее, что можно себе представить, так как я не имел права даже вспоминать, помнить прошедшую ночь и все остальное. Сам, собственными руками уничтожил все. Из-за безграничного эгоизма, из-за ослепления я не разглядел лежащее на поверхности, самоочевидное — ведь она не врала, говоря, что не боится меня. За себя не боялась, конечно. За него.

За окнами мелькали огоньки, переливались, мягко уходили назад, вокруг было невыразимо прекрасно, а я, растерзанный, пронзенный насквозь, летел, визжа на виражах шинами, к Тихому океану, к скалам, туда; в один момент, когда машину занесло сильнее, чем я ожидал, и она выскочила правыми колесами за край дороги, я испугался; испуг длился долю секунды, потом я расхохотался, как сумасшедший, — я боялся погибнуть на этом месте, потому что решил покончить с собой где-то в другом; и мой смех неожиданно перешел в рыдание. Нужно сделать это немедленно, думал я, ведь я уже стал другим. То, что со мной происходит, не просто страшно, а отвратительно. И что-то еще я говорил себе, мне должно быть стыдно. Но слова не имели ни смысла, ни значения. Было уже совсем темно, на шоссе почти никого, ведь ночью редко кто ездил. И вдруг невдалеке я заметил черный глайдер. Он шел легко, без усилий там, где мне приходилось вытворять дикие трюки тормозами и газом. Ведь глайдер держится на дороге магнитным или гравитационным притяжением, черт его знает. В любом случае он мог обогнать меня без всяких усилий, но он держался позади, метрах в восьмидесяти, то приближаясь, то отдаляясь. На крутых виражах, когда машину заносило и меня отбрасывало влево, глайдер отставал, не думаю, что он не мог выдержать скорости. Может, водитель боялся. Впрочем, там нет никакого

водителя. Какое мне дело до глайдера? И все-таки он меня волновал, так как я чувствовал, что он не случайно не обгоняет меня. И вдруг я подумал, что это Олаф, Олаф, который ни на грош не доверял мне (и он прав), спрятался где-то поблизости и ожидал, как будут развиваться события. При мысли, что там находится мой спаситель, мой дорогой старый Олаф, и он опять не допустит, чтобы я сотворил задуманное и станет для меня старшим братом, утешителем, во мне что-то перевернулось, от злости у меня даже потемнело в глазах, и я в какой-то момент даже не видел дороги. Почему он не оставляет меня в покое? — подумал я и стал выжимать из машины последние силы, все ее возможности, словно не ведал, что глайдер может спокойно развить скорость в два раза большую. Так мы мчались в ночи среди холмов, усыпанных огоньками, а сквозь пронзительный свист рассекаемого воздуха уже слышался шум Тихого океана, еще невидимого, распростертого передо мной, тот все заглушающий шум, словно выплывал из бездонной пропасти океана.

Ты гони, думал я. Гони. Ты не знаешь того, что известно мне. Следишь за мной, преследуешь меня, не оставляешь меня в покое, превосходно; но я от тебя улизну, уж я тебя обскачу, ты и глазом не успеешь моргнуть, хотя из кожи вон лезь — ничто тебе не поможет, ведь глайдер не сойдет с шоссе. Поэтому даже в последнюю секунду моя совесть останется чиста. Очень хорошо.

Проехав мимо домика, в котором мы жили, — его три освещенных окна промелькнули передо мной, будто убеждая меня в том, что есть большие страдания, чем я пережил, — я вышел на последний отрезок шоссе, параллельный океану. Тогда глайдер, к моему удивлению, неожиданно увеличил скорость и стал меня обгонять. Я грубо перекрыл ему дорогу, свернув влево. Он притормозил, и так мы маневрировали, пожалуй, раз пять; как только он пытался меня обогнать, я преграждал ему путь, поворачивая машину влево. Неожиданно, несмотря на то, что я закрывал ему дорогу, глайдер стал меня обходить, кузов машины чуть не ударился о черную блестящую поверхность снаряда без

окон, казавшегося пустым; в тот момент я уже был совершенно уверен, что это Олаф, ведь только он, никто другой не отважился бы на подобный поступок, но я же не мог убить Олафа. Не мог. Поэтому я пропустил глайдер. Он пошел впереди меня, и я думал, что теперь он в свою очередь постарается закрыть мне дорогу, но глайдер держался метрах в пятнадцати от моего капота — я решил, что это мне не помешает. И я притормозил, слабо надеясь, что глайдер, может, оторвется от меня, но он тоже сбавил скорость. Оставалось где-то около мили до последнего поворота у скал, когда глайдер еще притормозил: он шел посередине дороги и я не мог его обогнать. Я подумал, что, может, мне удастся сейчас, но рядом не было никаких скал, лишь песчаный пляж, и машина метров через сто увязла бы колесами в песке, не дотянув до океана. Такую мелочь я не учел. Не было другого выхода, как продолжать путь. Глайдер еще больше снизил скорость, и я видел, что он сейчас остановится: от тормозных огней его черный корпус заблестел, словно залитый горячей кровью. Я попытался его тут же обогнать, резко повернул, но глайдер закрыл мне дорогу. Он обладал большей скоростью и маневренностью, чем моя машина, ведь глайдером управлял робот. В конце концов у робота всегда реакция лучше. Я нажал на тормоз, слишком поздно. Раздался ужасный скрежет, черная масса поднялась тут же перед стеклом, меня бросило вперед, и я потерял сознание.

Я открыл глаза, словно после сна, после безумного сна — мне снилось, что я плаваю. Что-то холодное, мокрое стекало по моему лицу, я почувствовал чьи-то руки, они трясли меня, расслышал чей-то голос.

— Олаф, — пробурчал я, — зачем, Олаф. Зачем...

— Гэл!

Я приподнялся, оперся на локти и увидел ее лицо, склоненное надо мной, и когда я сел, обалдевший, неспособный ничего соображать, Эри медленно опустилась на мои колени, плечи у нее судорожно вздрагивали — а я все еще не верил. Голова у меня была тяжелая, словно набитая опилками.

— Эри, — произнес я онемевшими губами, которые

казались странно большими, тяжелыми и как бы не моими.

— Эри — это ты... или мне только...

И вдруг силы вернулись ко мне, я обнял ее за плечи, вскочил, поднял ее, закружился вместе с ней — мы оба упали на еще теплый мягкий песок. Я целовал ее соленое мокрое лицо и плакал, первый раз в жизни, и она плакала. Мы долго молчали. Постепенно мы словно начали бояться — не знаю чего — она смотрела на меня, как лунатик.

— Эри, — повторял я, — Эри... Эри...

Ничего больше сказать я не мог. Неожиданно я почувствовал слабость и лег на песок, а Эри, перепуганная, попыталась меня поднять, но ей не хватило сил.

— Не волнуйся, Эри — шептал я, — со мной все в порядке, это только так...

— Гэл! Говори! Говори!

— Что я могу сказать... Эри...

Мой голос успокоил ее немного. Она куда-то побежала и вернулась с плоским сосудом, снова стала поливать мое лицо водой, горькой водой из Тихого океана. Я хотел выпить ее больше, бессмысленно промелькнуло у меня в голове; я заморгал, приходя в себя. Сел и ощупал голову.

Никаких повреждений, волосы смягчили удар, набил только шишку величиной с апельсин, содрал немного кожу, еще здорово шумело в ушах, но я уже почти пришел в себя. По крайней мере мог сидеть. Я попробовал встать, но ноги не очень-то слушались.

Эри стояла на коленях, внимательно рассматривала меня, опустив руки.

— Это ты? Да? — спросил я. Только сейчас я понял. Я отвернулся — от движения у меня закружилась голова — и в свете молодого месяца увидел неподалеку, на краю шоссе два черных силуэта, сцепленных между собой. Когда я перевел взгляд на Эри, у меня перехватило дыхание.

— Гэл...

— Я.

— Попытайся встать... я помогу тебе...

Я еще плохо соображал. Я не совсем разобрался в происшедшем. Значит, Эри была в глайдере? Невероятно.

— Где Олаф? — спросил я.

— Олаф? Не знаю.

— Как не знаешь... Его здесь не было?

— Нет.

— Ты одна?

Эри кивнула.

И вдруг я ужасно, до смерти, испугался.

— Как ты могла! Как ты могла!

Она дрожала, губы у нее тряслись, она не в силах была произнести ни слова.

— Я до... должна...

Эри опять заплакала. Постепенно начала успокаиваться. Прикоснулась к моему лицу. Лбу. Нежными прикосновениями ощущивала мою голову, а я тихо повторял:

— Эри... это ты?

Бред какой-то. Потом я медленно встал, она помогала мне, как могла; мы добрались до шоссе. Только там я рассмотрел, в каком виде машина: капот, перед — все сплюснуто в гармошку. Глайдер почти не пострадал — лишь теперь я оценил его достоинства — все цело, только небольшая вмятина в боку, куда пришелся удар. Эри помогла мне сесть в глайдер, развернула его так, что корпус автомобиля, с протяжным скрежетом свалился набок. Мы поехали. Я молчал, огни проплывали мимо. Моя голова, по-прежнему большая и тяжелая, кружилась. Перед домом вышли. Окна все еще светились, словно мы были там. Эри помогла мне войти. Я лег на кровать. Она подошла к столу, обошла его и направилась к двери. Я вскочил:

— Уходишь?

Эри подбежала ко мне, встала перед кроватью на колени и покачала головой.

— Не уходишь?

— Нет.

— И никогда не уйдешь?

— Никогда.

Я обнял ее. Она прижалась щекой к моему лицу, а из

меня все выходило: догорающий шлак упрямства, ярости и безумства последних часов, страх, отчаяние. Я лежал совершенно опустошенный — и только все сильнее прижимал ее к себе, силы будто снова возвращались ко мне, и было тихо, свет блеснул в золотой обивке комнаты, а где-то далеко, в другом мире, за открытыми окнами, шумел Тихий океан.

Невероятно, но мы не говорили ни в тот вечер, ни в ту ночь. Ни одного слова. Ни одного. Лишь на следующий день, вечером, она все рассказала: когда я уехал, она догадалась, что я задумал, испугалась, не зная, как поступить, — сначала хотела позвать белого робота — она его тоже так называла — но поняла, что и он не поможет. Олаф? Олаф, безусловно, помог бы, но она не знала, где его искать, а времени не оставалось. И она взяла домашний глайдер и поехала за мной. Она скоро догнала меня и держалась позади до тех пор, пока еще оставался шанс, что я возвращаюсь в домик.

— Ты бы вышла? — спросил я.

Она колебалась.

— Не знаю. Думаю, вышла бы. Теперь так думаю, но точно сказать не могу.

Потом, когда она заметила, что я еду дальше, испугалась еще сильнее. Остальное известно.

— Ничего не понимаю, — проговорил я. — Именно теперь ничего не понимаю. Как ты могла так поступить?

— Я сказала себе, что... все кончится хорошо.

— Ты догадывалась, что я хочу сделать и где?

— Да.

— Почему ты так решила?

Она долго не отвечала.

— Трудно сказать. Может, потому, что я себя уже немного знаю...

Я молчал. Мне о многом хотелось ее спросить, но я не решался. Мы стояли у окна. С закрытыми глазами, чувствуя простор океана, я проговорил:

— Ну, хорошо, Эри... а что теперь? Что... будет?

— Я тебе уже сказала.

— Но я не хочу так... — прошептал я.

— Иначе не получится, — ответила она после долгого молчания. — Впрочем...

— Что?

— Не хочу.

В этот день, под вечер, снова стало, пожалуй, хуже. Все возвращалось, и наступало, и возвращалось — почему? Не знаю. Она, вероятно, тоже. Словно только перед лицом опасности мы становились ближе и лишь тогда начинали по-настоящему понимать друг друга. Потом наступила ночь. Прошел еще один день.

На четвертый день я услышал, как она разговаривает по телефону, и страшно испугался. Она после разговора плакала. Во время обеда она уже улыбалась.

Таким был конец и начало. А на следующей неделе мы поехали в Мае, центр округа, и там, в учреждении, перед одетым в белое мужчиной произнесли необходимые слова, которые сделали нас мужем и женой. В этот же день я телеграфировал Олафу. На следующий день я пошел на почту, но ничего от него не получил. Я подумал, что он мог перебраться куда-нибудь и поэтому не ответил. Но, честно говоря, уже тогда, на почте, я почувствовал небольшое беспокойство, ведь такое молчание — не в характере Олафа, но после всех последних событий я думал о нем недолго и даже ничего не сказал Эри. Словно забыл.

VI

Как чета, соединенная благодаря моему бурному неистовству, мы неожиданно подходили друг другу. Наша жизнь была своеобразно разделена. Если наши взгляды не совпадали, то Эри умело защищала свои, которые, как правило, касались общих вопросов; она была, например, убежденной сторонницей бетризации и выдвигала аргументы, почерпнутые не из книг. То, что она так открыто выражала свою точку зрения, я считал хорошим знаком; но эти наши дискуссии протекали днем. Говорить объективно, спокойно обо мне в свете дня она не смела или, скорее, не хотела, поскольку не была уверена, что из ее слов прозвучит, как упрек моим

причудам, смешным проявлениям "личности из консервной банки", по определению Олафа, а что будет воспринято, как атака на основные ценности моей эпохи. Но ночью — словно темнота немного уменьшала мое присутствие, растворяла его — она говорила мне обо мне, то есть о нас, меня радовали эти тихие беседы в темноте, милостиво скрывавшей мое изумление.

Эри рассказывала и о себе, о своем детстве, и таким образом вторично, вернее, впервые, ведь эти сведения были заполнены реальным человеческим содержанием, я узнал, как мастерски построено это общество непрерывной, чутко поддерживаемой гармонии. Считалось естественным, что иметь детей, воспитывать их в первые годы жизни могут только высококвалифицированные, всесторонне подготовленные люди, короче, прошедшие специальную учебу; чтобы получить разрешение родить ребенка, супруги должны сдать что-то вроде экзаменов; сначала мне это показалось чем-то невероятным, но подумав, я признал парадоксальность старых обычаев, а не их, ведь в нашем обществе без специального образования нельзя было строить мост, дом, лечить больных, просто работать в каком-нибудь учреждении и только самое главное — рождение ребенка, формирование его психики было отдано на волю слепого случая и минутной страсти, а общество вмешивалось только тогда, когда уже были допущены ошибки и исправить их не представлялось возможным.

Таким образом, получить право завести ребенка было почетно, оно давалось не каждому; но еще родители не могли изолировать детей от ровесников — создавались специальные группы, в которые включались различные по темпераменту мальчики и девочки; так называемые "трудные дети" проходили дополнительные гипногигиенические процедуры, а учить всех начинали очень рано. Но не читать и писать, этой наукой они овладевали гораздо позднее; во время специальных игр самых маленьких знакомили с окружающим миром, Землей, богатством и разнообразием общественной жизни; уже четырех-пятилетних приучали быть терпимыми, уживаться друг

с другом, с уважением относиться к мнению и убеждениям других, не придавать значения отличительным, внешним физическим чертам детей (вообще людей) различных рас. Все это казалось мне прекрасным, с одним, но весьма существенным исключением, поскольку незыблемым фундаментом этого мира, его всеохватывающим правилом была бетризация. Воспитание было направленно именно на то, чтобы воспринимать ее как реальность, равную рождению и смерти. Когда я слышал от Эри, как сейчас изучают древнюю историю, меня охватывала злость, которую я с трудом подавлял. В их понимании это было время зверств и варварства, несдерживаемой рождаемости, неожиданных военных и экономических катастроф, а неоспоримые достижения цивилизации рассматривались как проявление тех сил и стремлений, которые позволяли людям побеждать невежество и жестокость эпохи. Таким образом, эти успехи были достигнуты как бы вопреки господствующей повсюду тенденции жизни за счет других. То, что раньше пробивалось с огромными усилиями, на что способны были немногие, так как к этой цели вела дорога, полная опасностей, отречений, компромиссов, моральных поражений, окупающих материальные успехи, теперь стало всеобщим, легким и надежным.

Еще полбеды, пока речь шла о различных общих отрицательных явлениях прошлого, хотя бы таких, как война, это я готов был признать; считал достижением, а не потерей отсутствие — полное! — политики, столкновений, напряжения, международных конфликтов, хотя вначале удивлялся, подозревая, что они все же должны существовать, только о них умалчивают; но я не мог смириться с переоценкой дел, касающихся меня лично. Ведь не только Старк в своей книге (написанной давно, за полвека до моего возвращения) отрекся от космических путешествий. Тут Эри, аспирантка-археолог, могла объяснить мне многое. Уже первое поколение бетризованных коренным образом изменило свое отношение к астронавтике. Но и после смены положительной оценки на отрицательную астронавтика по-прежнему интересовала многих.

Однако считалось, что самая трагическая ошибка была допущена именно в те годы, когда планировалась наша экспедиция, так как в этот период подобных экспедиций отправлялось бесчисленное множество; ошибка заключалась не только в том, что результат их оказался ничтожным, что разведка околосолнечного пространства не привела к контакту ни с одной высокоразвитой цивилизацией. Только на немногих планетах удалось обнаружить примитивные и вообще чуждые нам формы жизни. Самым худшим считалось даже не то, что станут планировать все более дальние экспедиции и во время ужасающе продолжительного путешествия команда корабля, эти представители Земли, начнет превращаться в группу несчастных, смертельно измученных существ, которые после высадки на Земле или какой-то планете будут нуждаться в заботливой опеке и восстановлении здоровья. Хотя решение посылать энтузиастов рассматривалось как бессмысленное и жестокое, главный аргумент был иной: Космос собиралась покорить Земля, которая еще не сделала всего необходимого для себя самой. Героические полеты не могли победить безграничные человеческие страдания, несправедливость, страх и голод, царящие на планете Земля.

Но так думало первое бетризованное поколение, а потом, с естественным ходом событий, пришло забвение и равнодушие; узнавая о романтическом периоде астронавтики, дети удивлялись, а может, даже немного побаивались своих непонятных предков, таких же чужих и загадочных, как и их прапрапредки, совершавшие грабительские войны и путешествия за золотом. Именно это равнодушие больше всего меня поразило, ведь оно было хуже полного отрицания — дело нашей жизни было покрыто мраком молчания, похоронено и предано забвению.

Эри не пыталась разжечь во мне восторженного отношения к новому миру — просто рассказывала о нем, а, говоря о себе, тем самым раскрывала блеск нового мира.

Это была цивилизация, лишенная страха. Все существующее служило людям, их удобствам,

направлялось на удовлетворение простых и наиболее изысканных потребностей. Везде, во всех сферах, где присутствие человека — его эмоциями, замедленной реакцией — создавало хотя бы малейший риск, людей заменили механизмы и автоматы.

Это был мир, защищенный от опасностей. В нем не было места ни угрозе, ни борьбе, ни насилию, мир кротости, мягких форм и обычаев, постепенных переходов, не трагических ситуаций, мир, столь же удивительный, сколь и наша (я имею в виду и Олафа) реакция на него.

Ведь мы за десять лет хлебнули ужасов, всего того, что противно сущности человека, что его ранит и ломает, мы возвращались, сытые этим по горло, более чем сытые; каждый из нас, услышав, что возвращение откладывается, что снова месяцами придется болтаться в пустоте, схватил бы говорящего за грудки. И это мы, кто уже был не в силах выдержать постоянного риска, случайного удара метеорита, вечного, напряженного, мучительного ожидания, когда кто-нибудь — Ардер или Энессон — не возвращался из разведывательного полета, и мы начали тут же воспринимать то время ужаса как нечто единственное истинное, настоящее, придающее достоинство и смысл нашей жизни. А ведь я и сейчас еще вздрагивал при воспоминании, как мы, сидя, лежа, зависнув в невероятных позах над круглой радиокабиной, ждали и ждали в тишине, прерываемой только равномерным дребезжанием позывного сигнала, передаваемого автоматической установкой на корабле; в мертвенно-голубом свете мы видели, как капельки пота стекают по лбу радиотелеграфиста, тоже застывшего в ожидании, а в это время заведенные сигнальные часы бесшумно отсчитывали секунды, и в тот момент, когда стрелка останавливалась на красной полосе диска, приходило облегчение. Облегчение... ведь теперь можно было броситься на поиски и самому погибнуть, а это действительно легче, чем ожидание. Мы, пилоты, были старше ученых, старше всех, так как наше время остановилось еще за три года полета. В течение трех лет нас постепенно приучали ко все возрастающим

психическим перегрузкам. Было три главных этапа, три станции, которые мы коротко называли Дворцом Духов, Гладильным Катком и Коронацией.

Дворец Духов — это небольшой, полностью изолированный от мира контейнер. Внутри него не пробивался ни один звук, ни один лучик света. Похожий на маленькую ракету, он был начинен фантоматической аппаратурой. Здесь находились запасы воды, еды и кислорода. И надо было там жить в полном бездействии целый месяц, который казался вечностью. Все выходили оттуда изменившимися. Я, один из наиболее крепких подопечных доктора Янсена, лишь на третью неделю стал видеть удивительные вещи, которые являлись другим на четвертый, пятый день: чудовища без лица, бесформенные толпы, что просачивались из холодно светящихся циферблатов и вступали со мной в бессвязный разговор, зависали над моим потным телом; оно теряло границы, изменялось, становилось огромным, наконец, — это было, пожалуй, самым странным — начинало обособляться, сначала вздрагивали отдельные волокна мышц, затем нервная дрожь и онемение сменялись судорогами, а затем беспорядочными движениями; ошеломленный, я наблюдал за ними, ничего не понимая. Если бы не было предварительной тренировки, теоретической подготовки, я бы считал, что моими руками, головой, шеей овладели демоны. Замурованная внутренность контейнера видела сцены, не поддающиеся ни описанию, ни названию; Янсен и его команда благодаря специальной аппаратуре были свидетелями того, что происходило внутри, но тогда никто из нас об этом не знал. Чувство изоляции должно было быть подлинным и полным. Мы не понимали, почему некоторые ассистенты доктора исчезают. Лишь во время экспедиции Джимма сказал мне, что они просто сломались. Один, некто Гоббек, кажется, пытался силой открыть бункер, так как не мог смотреть на муки заключенного в нем человека.

Это был пока лишь Дворец Духов. Потом шел Гладильный Каток, его тренажеры и центрифуги, дьявольская машина ускорителя, способная дать четыреста g, — ускорение, которое, конечно, никогда не

использовалось, так как оно превратило бы человека в мокрое место, но и ста g было достаточно, чтобы в долю секунды спина испытуемого становилась липкой от выдавленной через кожу крови.

Последнее испытание — Коронацию — я прошел достаточно легко. Это — последнее сито, последняя станция отсева. Аль Мартин — парень, выглядевший тогда, на Земле, как я сегодня, — колосс, состоящий из одних железных мускулов, казалось, само воплощение спокойствия, вернулся с Коронации на Землю в таком состоянии, что его тут же отправили из Центра.

Коронация проходила так. Одевали человека в скафандр, выводили на околоземную орбиту, на высоте примерно сто тысяч километров, откуда Земля светила, как пятикратно увеличенная Луна, выбрасывали из ракеты прямо в пустоту, а потом улетали. И надо было, висая в пустоте, работая руками и ногами, ждать их возвращения, спасения; скафандр был надежен, удобен, имелась кислородная и климатическая аппаратура, он согревал, даже кормил через каждые два часа питательной пастой, выжимаемой из специального мундштука. Так что ничего не могло случиться, ну, если, конечно, не испортится радиоаппаратик, прикрепленный к скафандру снаружи, посылающий автоматические сигналы, по которым можно определить, где находится его хозяин. В скафандре не было только одной необходимой вещи — радиосвязи, специально, само собой разумеется, поэтому в скафандре можно было услышать только собственный голос. Среди звезд, в этой нематериальной черноте, в состоянии невесомости надо было просто ждать. Довольно долго, правда, но не бесконечно. Вот и все. Да, но люди сходили от этого с ума; на ракету-базу их втаскивали извивающихся, как в эпилептических конвульсиях. Это было самое противоестественное натуре человека — полное разрушение, гибель, смерть с ясным сознанием. Это было познание Вечности, она проникла в человека, и он ощущал ее чудовищный вкус. Знания о бесконечности бездны внеземного существования, всегда считавшиеся невероятными и недоступными, мы постигали на собственной шкуре; бесконечное падение, звезды между

бесполезными болтающимися ногами, ненужность рук, губ, жестов, тщетность любого движения и неподвижности; в скафандрах усиливался крик, несчастные выли... Хватит об этом!

Довольно вспоминать, ведь это было только проверкой, вступлением, которые готовили разумно, заботливо, учитывая все способы безопасности; все "коронованные" остались живы, всех нашла ракета Базы. Правда, нам об этом не говорили, стремясь придать ситуации как можно больше подлинности.

Коронация у меня прошла нормально, так как я использовал свою систему. Она совершенно простая, но не очень честная: нельзя было так делать. Когда меня выбросили из люка, я закрыл глаза. Потом стал размышлять о разном. Единственно, что требовалось, — огромная воля. Надо было твердить себе, что я не открою свои несчастные глаза и не увижу ничего. Янссен, думаю, знал о моей хитрости. Но все обошлось. Может, он полагал, что я поступил правильно?

Но все это происходило на Земле или недалеко от нее. Потом мы попали в уже не придуманную и не созданную в лаборатории пустоту, которая убивала на самом деле, не понарошку, и которая иногда щадила — Олафа, Джимму, Турбера, меня, тех семерых с «Улисса» — и даже позволила вернуться. После этого мы, жаждущие только покоя, увидев нашу мечту осуществленной идеальным образом, тут же прониклись к ней отвращением. Платон, кажется, говорил: «Несчастный, ты будешь иметь то, что хотел».

VII

Однажды ночью, очень поздно, мы лежали, уставшие от любви, голова Эри покоилась на сгибе моей руки, я подняв глаза, мог видеть через открытое окно прямо перед собой звезды в просветах туч. Ветра не было, длинная занавеска казалась белым привидением, по открытому океану шла мертвая волна, до меня доносился предвещающий ее протяжный гул, а потом

неровный шум, с которым она разбивалась о пляж, после чего, через несколько ударов сердца, наступала тишина, и снова невидимые волны штурмовали в темноте отлогий берег. Но я почти не слышал равномерно повторяющегося напоминания о Земле, уставившись широко открытыми глазами на Южный крест, Бета которого была нашим проводником. Каждый день я начинал с ее измерения, в конце концов я, погруженный в другие мысли, делал это автоматически, никогда не гаснущий маяк пустоты вел нас безошибочно. Я почти ощущал в руках давление металлической рукоятки, которую я передвигал, чтобы светлую точку, острие темноты, поставить в центр поля зрения; мягкий резиновый ободок окуляра прижимался к моим бровям и щекам. Эта звезда, одна из самых далеких, почти не изменилась и у самой цели, по-прежнему светя с тем же равнодушием, в то время как весь Южный Крест давно распался и перестал для нас существовать, так как мы вторглись в глубь его пространства, и тогда эта белая точка, звездный великан перестал быть тем, чем казался вначале, — вызовом; постоянство звезды раскрывало нам свое истинное значение, свидетельствовало о ничтожестве наших начинаний, равнодушии пустоты, Вселенной, к которой никто никогда не сумеет при-выкнуть.

Но сейчас, пытаясь услышать между двумя ударами Тихого океана дыхание Эри, я почти не верил, что был там. Я мог повторять про себя: «Действительно, действительно был там», — но слова не ослабляли моего бесконечного удивления. Эри вздохнула. Я хотел подвинуться, чтобы освободить ей побольше места, но тут почувствовал ее взгляд.

— Ты не спишь? — прошептал я. Наклонился поцеловать ее, но она остановила меня, приложив пальцы к моим губам. Поддержала их так недолго, потом скользнула рукой вдоль шеи к груди, провела по твердому углублению между ребрами и прижала к нему ладонь.

— Что это? — прошептала она.

— Шрам.

— Откуда?

— Так, случайно.

Она замолчала. Я чувствовал на себе ее взгляд. Она подняла голову. Темное пятно глаз без блеска; я различал лишь белые контуры ее плеча, приподнимавшегося в такт дыханию.

— Почему ты мне ничего не рассказываешь? — шепотом спросила она.

— Эри?..

— Почему не хочешь?

— О звездах? — вдруг понял я. Она не ответила. Я не знал, что сказать.

— Ты думаешь, что я не пойму?

Она была рядом со мной, я вглядывался в нее во мраке, шум океана то заполнял, то покидал нашу комнату, и я не представлял, как ей все объяснить.

— Эри...

Я хотел ее обнять, но она остановила меня и села на кровати.

— Если не хочешь, можешь не рассказывать. Но скажи, почему.

— Ты не знаешь? Правда, не знаешь?

— Теперь уже понимаю. Ты хотел меня... пожалеть?

— Не в этом дело. Просто я боюсь.

— Чего?

— Сам толком не ведаю. Не хочется в этом копаться. Я ничего не перечеркиваю. Впрочем, это невозможно. Но говорить — значит, как мне кажется, заклинить на этом. Уйти от всего, от всего, что происходит... сейчас...

— Понимаю, — тихо произнесла она. Бледное пятно — ее лицо — исчезло; Эри опустила голову. — Думаешь, я считаю это ничтожным...

— Нет, я так не думаю, — перебил я ее.

— Подожди, теперь я скажу. Мои размышления об астронавтике, мое нежелание покидать Землю — это одно. Но оно никак не связано ни с тобой, ни со мной. Не то говорю, связано, ведь мы вместе. Иначе мы не были бы вместе, никогда. Астронавтика для меня — это ты. Поэтому мне так хотелось бы... но ты не должен... Если все так, как ты говоришь, если ты так чувствуешь.

— Расскажу.

— Но не сегодня.

— Сегодня.

— Ложись.

Я лег на подушку. Она, белея в темноте, подошла на цыпочках к окну и задвинула занавеску. Звезды исчезли, остался только протяжный, с непреодолимым упорством повторяющийся шум Тихого океана. Стало совершенно темно. По движению воздуха я почувствовал ее приближение, постель прогнулась.

— Ты когда-нибудь видела корабль класса «Прометей»?

— Никогда.

— Он очень большой. На Земле весил бы свыше трехсот тысяч тонн.

— А вас было всего несколько человек.

— Двенадцать. Том Ардер, Олаф, Арне, Томас — пилоты. Ну и я. И семеро ученых. Но, поверь мне, нам было тесно. Девять десятых массы корабля было занято под горючее. Фотоагрегаты. Склады, запасы, резервные системы; жилое помещение небольшое. У каждого по кабине, не считая общих. В центральной части корпуса — пункт управления, и маленькие ракеты для посадки, и зонды-ракеты — еще меньше — для сбора проб короны...

— Над Арктуром ты был в такой?

— Да. С Ардером.

— Почему вы не полетели вместе?

— В одной ракете? Тогда было бы меньше шансов.

— Почему?

— Зонд предназначен для охлаждения, понимаешь? Такой летающий холодильник. Там можно только сидеть. Сидишь себе в холодной скорлупе. Лед тает со стороны обшивки и скапливается в трубах. Компрессоры могут испортиться. Минута — и все, ведь снаружи восемь, десять или двенадцать тысяч градусов. Если компрессоры откажут в двухместной кабине, то погибнут двое. А так — только один. Понимаешь?

— Да.

Она держала руки на омертвевшей части моей груди.

— Это... случилось там?

— Нет. Эри, может, я расскажу что-нибудь другое.

— Хорошо.

— Ты только не думай... этого никто не знает.

— Этого?

Шрам выделялся, словно оживал под ее теплыми пальцами.

— Да.

— Как же так? А Олаф?

— Олаф тоже не знает. Никто. Я обманул их, Эри. Тебе я должен сказать, я далеко зашел. Эри... это случилось на шестой год. Мы уже возвращались, но внутри тучи нельзя было быстро лететь. Прекрасный вид — чем с большей скоростью летит корабль, тем сильнее люминесцирует облако — за нами тянулся хвост, не как хвост кометы, скорее, как полярное сияние, развеянное по сторонам, в глубь неба, к альфе Эридана, на тысячи и тысячи миль... Ардера и Эннессона уже не было в живых. Вентури тоже. Я всегда просыпался в шесть утра, голубой свет переходил тогда в белый. Я услышал Олафа, он говорил из рубки управления. Он увидел что-то интересное. Я спустился вниз. Радар показывал пятнышко, немного в стороне от курса. Пришел Томас, и мы стали размышлять, что это? Для метеора — великовато, впрочем, метеоры никогда не летают одни. На всякий случай мы еще сбавили скорость. Это разбудило остальных. Когда все собрались, Томас, помню, шутил, что это корабль. Не раз мы так говорили. В пространстве должны быть корабли других цивилизаций, но легче встретиться двум комарам, выпущенным с двух сторон земного шара. Мы уже выходили из холодной небулярной тучи, пыль настолько рассеялась, что я мог невооруженным глазом видеть звезды шестой величины. Это пятно оказалось планетой. Что-то типа Весты. Четверть биллиона тонн, может, больше. Исключительно правильной, почти круглой формы. Такое случается редко. Он находился по курсу, на расстоянии два миллипарсека. Шел космической скоростью, а мы за ним. Турбер спросил у меня, не можем ли подойти поближе. Я ответил, что можем, на четверть микропарсека.

Мы сблизились. В телескопе он выглядел, как дикообраз, — шар с торчащими иголками. Диковинка. Хоть в музей. Турбер заспорил с Билем, тектонического

происхождения планетоид или нет. Томас вставил, что это можно проверить. Энергию мы не потеряли, так как еще не успели набрать большой скорости. Полети, возьми пробы и вернись. Джимма колебался. Время в резерве у нас было. В конце концов он согласился. Наверное, потому, что я был рядом. Я молчал. Может, это его и подтолкнуло. Ведь у нас сложились с ним такие отношения — но о них когда-нибудь в другой раз. Мы остановились; такой маневр требует времени; планетка отдалилась, мы видели ее на радаре. Я волновался, ведь с тех пор как мы начали возвращаться, постоянно сыпались несчастья. Аварии, глупые, как бы без всяких причин, но трудно устранимые. Я не суеверный, но верю в закон рядов. Однако аргументов у меня не было. Выглядело это все, как детская забава, — я тем не менее сам проверил двигатель Томаса и сказал ему, чтобы был внимателен. Следил за пылью.

— За чем?

— За пылью. В пределах холодной туши планетоид действует, как пылесос, понимаешь? Всасывает ее из пространства, в котором вращается, для этого времени у него много. Пыль оседает пластами, она даже может увеличить его вдвое. Но достаточно дунуть выхлопными газами или резко ступить, как тут же поднимается пыльная буря и зависает над ним. Казалось бы, ерунда, но вокруг ничего не видно. Поэтому я ему сказал. Впрочем, он сам об этом знал не хуже меня. Олаф выстрелил его ракету с боковой катапульты, я поднялся вверх в пеленгаторскую и повел Томаса. Я видел, как он приближался, как маневрировал, как повернул ракету и точно, как по ниточке, опустился на поверхность планетоида. Тогда, конечно, я потерял его из виду. Однако это было, по земному подсчету, милях в трех...

— Ты видел его на радаре?

— Нет, в телескоп. Инфракрасный. Но разговаривал с ним все время. По радио. В тот момент, когда я подумал, что давно не видел, чтобы Томас так аккуратно садился — с момента нашего возвращения мы все стали более осторожными... — я заметил короткую вспышку, и темное пятно стало расплзаться

по диску планетоида. Стоявший рядом со мной Джимма вскрикнул. Он подумал, что Томас в последнюю секунду, желая затормозить падение, ударил огнем. Это так говорится, знаешь. Дается один резкий удар, конечно, не в таких условиях. Я знал, что Томас так никогда не сделал бы. Это молния.

— Молния? Там?

— Да. Понимаешь, каждое тело, двигаясь в туче с большой скоростью, заряжается от трения статическим электричеством. Между «Прометеем» и этой планеткой образовалась разница потенциалов. Может, миллиарды вольт. Даже больше. Когда Томас садился, проскочила искра. Произошла вспышка, от неожиданного огня поднялась пыль, и через минуту весь диск был закрыт тучей. Мы его не слышали, его радио только трещало. Я был в ярости, злился больше всего на себя за то, что не оценил ситуацию. Ракета оснащена специальными кольцевыми громоотводами, и заряд должен был тихо уйти в огни Эльма. Но не ушел. Впрочем, разряды случаются, но не такой силы. Этот был исключительной силы. Джимма спросил у меня, как я думаю, когда туча опустится? Турбер ничего не спрашивал, ясно, что через несколько дней. Суток.

— Суток?

— Конечно. Ведь сила тяжести там чрезвычайно мала. Брошенный камень падает порой несколько часов. Что тут говорить о пыли, выброшенной на сотни метров... Я посоветовал Джимма заняться собственными делами. Надо было ждать.

— И ничего нельзя было сделать?

— Ничего. Я мог бы, конечно, рискнуть, если бы был уверен, что Томас находится в ракете. Развернул бы «Прометей», подошел бы и дунул с небольшого расстояния со всей силой двигателей, чтобы эта мерзость разлетелась по всей Галактике, но у меня не было такой уверенности. А искать его?.. Планетка была размером с Корсику. Кроме того, в пыльной туче я мог бы пройти мимо него на расстоянии вытянутой руки и не заметил бы. Выход был один. Он был у Томаса в руках. Он мог стартовать и вернуться.

— И не сделал этого?

— Нет.

— Ты не знаешь, почему?

— Догадываюсь. Он должен был стартовать вслепую.

Я видел, что эта туча поднимается над поверхностью на полмили, а Томас этого не видел. Он боялся удариться о какой-нибудь уступ, скалу. Он мог сесть на дно глубокой расщелины. Вот мы и висели один день, второй — у него был запас кислорода и еды на шесть дней. Железная логика. Безусловно, никто не мог работать. Мы ходили и придумывали, как вытянуть Томаса из этого кошмара. Излучатели. Волны различной длины. Мы даже бросали осветительные бомбы. Ни проблеска, эта черная туча, как могила. Третий день — третья ночь. Замеры показали, что туча опускается, но я не был уверен, что она оседет полностью за оставшиеся у Томаса семьдесят часов. Без пищи он мог в конце концов просидеть и больше, но без воздуха — нет. Вдруг мне в голову пришла мысль. Я рассуждал так. Ракета Томаса состоит в основном из стали. Если на проклятом планетоиде нет железной руды, то, может, удастся найти ракету с помощью ферроискателя. Это такой специальный аппарат для поиска железных предметов. У нас был очень чувствительный. Он реагировал на гвоздь на расстоянии трех четвертей километра. Ракеты он обнаружил бы за много миль. Мы с Олафом еще кое-что проверили в аппарате. Потом я сообщил Джимме что и как — и полетел.

— Один.

— Да.

— Почему?

— Ведь без Томаса нас, пилотов, оставалось только двое, а на «Прометее» должен быть пилот.

— И они согласились?

Я улыбнулся в темноте.

— Я был первым пилотом. Джимма не мог мне приказывать, только советовал, а я оценивал ситуацию и соглашался с ним или нет. Короче, в аварийных ситуациях решение принимал я.

— А Олаф?

— Ну, ты знаешь уже немного Олафа. Понятно, что полетел я не сразу. Но в конце концов это именно я послал Томаса. Ну, я полетел. Конечно, не в ракете.

— Не в ракете?..

— В скафандре с газовым пистолетом. На это потребовалось какое-то время, но не так много, как показалось. Мне доставил немало хлопот ферроискатель, это был прямо сундук, ужасно неудобный. Там он, конечно, ничего не весил, но входя в тучу, я должен был внимательно следить за тем, чтобы им случайно не стукнуть. Войдя в тучу, я перестал ее видеть, только звезды стали исчезать, сначала по краям, потом чернота заполнила полнеба. Я огляделся, «Прометей» светился издалека, у него было особое приспособление для люминесценции обшивки. «Прометей» казался белым длинным карандашом с грибком на конце — это был фотонный прожектор. Неожиданно все исчезло. Переход был резким. Может, одна секунда черной мглы, потом — ничего. Радио я выключил, вместо него в наушниках напевал ферроискатель. До края тучи я летел всего-то несколько минут, но спускался на поверхность больше двух часов — приходилось быть осторожным. Электрический фонарь мне не мог помочь, впрочем, я так и думал. Стал искать. Знаешь, как выглядят высокие сталактиты в пещерах...

— Знаю.

— Что-то в этом роде, только более злое. Но это я рассмотрел позднее, когда туча уже осела, а во время поисков я не мог ничего разглядеть, словно кто-то смолой залил стекла скафандра. Сундучок висел на лямках. Я направлял антенну, прислушивался, шел, вытянув руки, — никогда в жизни я столько раз не падал, сколько там. Благодаря слабому притяжению, падать было безопасно и, конечно, если бы не мрак, можно было бы легко сохранить равновесие. Но описать это тому, кто не видел, трудно. Планета представляла нагромождение остроконечных вершин и балансирующих скал — я ставил ногу и начинал куда-то валиться, конечно, с пьяной медлительностью; резко оттолкнуться я не мог, ведь тогда я бы минут пятнадцать поднимался вверх. Я должен был просто ждать, я пытался идти дальше, у меня под ногами осыпалось все — щебень, столбы, обломки камней, их

соединяло необыкновенно малое притяжение, но это не значит, что огромный камень, упав на человека, не мог его убить — не силой тяжести, а своей массой; правда, время отскочить было, если, конечно, видишь, что на тебя рушится или по крайней мере слышишь. Но там не было даже воздуха, и только по дрожанию скалы под ногами я понимал, что снова вывел из равновесия огромную скальную массу и должен ждать, не выпрыгнет ли из этой смолы обломок, который может меня придавить... Короче, я блуждал так долгие часы и давно перестал считать свою идею с ферроискателем гениальной... Каждый шаг приходилось делать с осторожностью, ведь я по неосмотрительности уже несколько раз оказывался в воздухе, то есть повисал, как в дурацком сне. В конце концов я поймал сигнал. Я терял его раз восемь, точно не помню сколько, только когда я разыскал ракету Томаса, на «Прометее» была уже ночь.

Ракета стояла боком, наполовину погрузившись в эту чертову пыль. Эта пыль — самое мягкое, самое нежное, что только можно себе представить, понимаешь? Субстанция почти неосязаемая... самая легкая пушинка на Земле весит больше. Так невероятно малы частицы. Я заглянул в ракету, Томаса там не было. Я уже сказал, что ракета стояла боком, но в этом я не совсем уверен; без специального аппарата определить вертикаль там невозможно, да и потребовалось бы на это несколько часов, ведь обыкновенный отвес там почти ничего не весит, он летал бы на конце веревки, как муха, не натягивая ее... Я не удивился, что он не пытался стартовать. Я забрался в ракету. Сразу же заметил, что он пробовал смастерить точный отвес из подручных средств, но у него ничего не получилось. Еды осталось порядочно, а вот кислорода не было. Он, видимо, все, что у него оставалось, перекачал в баллон скафандра и вышел.

— Зачем?

— Да, я тоже себя спрашивал, зачем? Он находился там три дня. В такой ракете есть только кресло, экран, рычаги и люк за спиной. Я немного посидел там. Понимал, что его уже не найду. В какой-то момент я

подумал, что, может, он вышел как раз тогда, когда я прилетел, воспользовался газовым пистолетом, чтобы вернуться на «Прометей» и сидит уже там, а я барахтаюсь по этим пьяным скалам... Я выскочил из ракеты так энергично, что меня подбросило вверх, и я полетел, не ощущая ни направления, ничего. Знаешь, как бывает, когда в полнейшей темноте вдруг увидишь искорку? Как начинаешь фантазировать? Какие из нее выводишь лучи, какие рисуешь картины... вот с чувством равновесия происходит... тоже нечто подобное. Там, где нет силы притяжения, еще полбеды, к этому человек привыкает. Но когда появляется чрезвычайно слабое притяжение, как на той скорлупе... то внутреннее ухо раздражено, реагирует неверно, чтобы не сказать по-сумасшедшему. То тебе кажется, что ты свечей мчишься в гору, то, что ты летишь в пропасть, и так все время. А то ощущаешь, что руки, ноги, туловище вращаются, перемещаются, словно все поменялось местами, и голова уже растет в другом месте.

Вот так я летел, пока не треснул о какую-то стену, оттолкнулся от нее, зацепился за что-то, меня перевернуло, но я успел зацепиться за выступающую глыбу... Кто-то лежал. Томас.

Эри молчала. В темноте шумел Тихий океан.

— Нет, не волнуйся. Он был жив. Сразу сел. Я включил радио. С такого короткого расстояния мы очень хорошо слышали друг друга.

— Это ты? — отозвался Томас.

— Да, я, — ответил я. Сцена, как из дурацкой комедии, глупая сцена. Но так было. Мы встали.

— Как ты себя чувствуешь?.. — спросил я.

— Прекрасно. А ты?

Такой вопрос меня немного удивил, но я проговорил:

— Спасибо тебе, очень хорошо. Дома тоже все здоровы.

Идиотский разговор, но я думал, что он специально так говорит, чтобы показать, что он прекрасно держится, понимаешь?

— Понимаю.

Когда Томас подошел ко мне, я ощупал его скафандр. Он был цел.

— У тебя есть кислород? — спросил я. Это было самое главное.

— Э, глупость, — ответил он.

Я задумался, что делать. Взлететь его ракетой? Пожалуй, не стоит, слишком рискованно. Правду говоря, я не очень обрадовался. Боялся, а, вернее, не был уверен... трудно объяснить. Ситуация была нереальной, я чувствовал в ней нечто необычное, хотя точно не знал, что творится, даже слабо ориентировался в ней. Честно скажу, меня не обрадовала эта чудесная находка. Я размышлял, как спасти ракету. В конце концов я решил, что это не самое важное. Сначала я должен понять, что с Томасом. Мы стояли в черной ночи без звезд.

— Что ты делал все это время? — спросил я. Мне было важно это знать. Если он пытался что-то делать, хотя бы отбивать минералы, это был бы хороший знак.

— Всякое, — ответил он. — А что ты делал, Том?

— Какой Том? — спросил я и мне стало немного не по себе, ведь Ардер погиб год назад и Томас хорошо знал об этом.

— Ведь ты Том. Нет? Я узнаю твой голос.

Я промолчал, а он дотронулся рукавицей до моего скафандра, тот звякнул, Томас проговорил:

— Чертов мир, правда? Ничего не видно, ничего нет. Я представлял себе все совсем иначе. А ты?

Я подумал, что Ардер ему просто померещился, в конце концов... такое случалось не с ним одним.

— Да. Неинтересно здесь, — заметил я. — Тронемся, а, Томас?

— Тронемся? — удивился он. — Как это... Том?

Я перестал обращать внимание на этого Тома.

— А что, ты хочешь здесь остаться? — спросил я.

— А ты не хочешь?

Он разыгрывает меня, подумал я, но с меня хватит этих дурацких шуток.

— Не хочу, — проговорил я. — Мы должны возвращаться. Где твой пистолет?

— Я потерял его, когда умер.

— Что?!

— Но я не огорчился, — продолжал он. — Мертвому пистолет не нужен.

— Ну-ну, — сказал я. — Давай, я тебя пристегну, и мы полетим.

— Ты с ума сошел, Том? Куда?

— На «Прометей».

— Ведь его здесь нет...

— Он там, дальше. Ну, давай, я тебя пристегну.

— Подожди.

Он оттолкнул меня.

— Ты как-то странно говоришь. Ты не Том!

— Конечно, нет. Я Гэл.

— Ты тоже умер? Когда?

Я немного уже стал кое-что понимать и стал ему поддырывать.

— Ну... — сказал я, — несколько дней назад. Давай я тебя пристегну...

Но он не разрешал. И мы стали препираться, сначала как бы шутливо, потом более серьезно, я попытался его ухватить, но в скафандре не сумел. Что делать? Я не мог оставить его ни на минуту, ведь второй раз я бы его не нашел. Чудеса дважды не случаются. А он думал, что он умер, и хотел остаться там. И так слово за слово; когда мне показалось, что я его убедил, и он вроде бы согласился — я дал ему подержать свой газовый пистолет. Он приблизил свое лицо к моему, я почти его разглядел, и Томас через двойные стекла крикнул: «Негодяй! Ты обманул меня! Ты живой!» — и выстрелил в меня.

Эри уже давно уткнулась в мое плечо. При последних словах она вздрогнула, словно по ней прошел ток, и закрыла рукой мой шрам. Мы немного помолчали.

— Скафандр был очень хороший, — сказал я. — Он остался цел, понимаешь? Он весь вжался в меня, сломал основание ребер, сдавил их, разорвал мышцы, но не лопнул. Я даже сознания не потерял, только какое-то время был не в состоянии двигать правой рукой и чувствовал, как по телу течет теплая кровь.

Вероятно, все же в какой-то момент я потерял сознание, потому что, когда я очнулся, Томаса не было, и я не знал когда и как он исчез. Я искал его на ощупь, на четвереньках, но вместо него нашел пистолет. Он, видно, бросил его сразу же после выстрела. Ну, и с помощью

пистолета я выбрался. Они заметили меня, как только я появился над тучей. Олаф подвел корабль поближе, и меня втянули внутрь. Я сказал им, что не нашел его. Что наткнулся только на пустую ракету, а когда я споткнулся, пистолет выпал у меня из руки и выстрелил. Скафандр двойной. Кусочек железа отскочил. Он у меня здесь, под ребром.

Снова молчание, и гул волны, нарастающий, протяжный, словно она собиралась перескочить все пляжи, не сраженная неудачами серии своих предшественниц. Уменьшалась, разрушалась, разламывалась, слышался ее мягкий пульс, все ближе и тише — до полного безмолвия.

— Вы улетели?

— Нет. Ждали. Через два дня туча опустилась, и я полетел снова. Один. Понимаешь, почему?

— Понимаю.

— Я нашел его быстро, ведь скафандр светился в темноте. Он лежал под каменной иглой. Лица не было видно, так как стекла изнутри покрылись инеем, и поднимая его, я подумал сначала, что держу в руках лишь пустую скорлупу... он почти ничего не весил. Но это был он. Я оставил Томаса и вернулся на его ракету. Потом я внимательно исследовал ее и понял, почему так все случилось. У Томаса остановились часы, обыкновенные часы — он потерял чувство времени. Они отсчитывали часы и дни. Я исправил их и перевел, чтобы никто не догадался.

Я обнял Эри. Я ощущал, как мое дыхание еле-еле шевелит ее волосы. Она ласково прикоснулась к рубцу, потом замерла, словно спрашивая:

— У него такая форма...

— Странная, правда? Его сшивали два раза, после первого швы разошлись... сшивал Турбер. Вентури, нашего врача, уже не было в живых.

— Это тот, кто дал тебе красную книгу?

— Да. Откуда тебе известно, Эри? Я говорил тебе? Вряд ли, это невозможно.

— Ты говорил Олафу, тогда, помнишь...

— Действительно. А ты запомнила! Такую мелочь! Я на самом деле свинья. Книга осталась на «Прометее» с другими вещами.

— У тебя там вещи? На Луне?

— Да. Но не стоит их забирать.

— Надо, Гэл.

— Любимая, мы устроили бы тут же музей воспоминаний. Не выношу этого. Если притащу вещи сюда, то только для того, чтобы сразу же сжечь их, сохраню лишь пару мелочей, оставшихся от них. Тот камешек...

— Какой камешек?

— У меня много всяких камней. Один с Керенеи, есть с планетоида Томаса — только ты не думай, что я занимался коллекционированием! Просто они остались в нарезках подошв, Олаф достал их и спрятал, сделав соответствующие надписи. Я не мог этого выбить у него из головы. Глупость, но... Я должен тебе об этом сказать. Да, даже обязан, чтобы ты не думала, что там все было страшно и что, кроме смерти, ничего не случилось. Представь себе... сосуществование миров. Сначала розовый, наилегчайший, сверхтонкий, бесконечность розового, а в ней другая, пронизывающая ее, темнее, а дальше красное, почти синее, но это очень далеко, а вокруг самосвечение, невесомое, не похожее ни на облако, ни на туман — нечто иное. У меня не хватает слов. Мы вышли вдвоем из ракеты и смотрели. Эри, я этого не понимаю. Знаешь, у меня и сейчас перехватывает горло, так это было великолепно. Подумай, там нет жизни. Там нет ни растений, ни животных, ни птиц, ничего, никаких глаз, которые могли бы это увидеть. Я уверен — пожалуй, никто от сотворения мира на это не смотрел, мы с Ардером были первыми. И если бы у нас не испортился гравипеленгатор и мы не высадились, чтобы исправить его — лопнул кварц и выпилась ртуть, — никто до конца света там не побывал бы и не увидел бы всего этого. Разве это не странно? Мы были готовы — ну, не знаю. Мы не могли оттуда уйти. Забыли, зачем сели, только стояли, стояли и смотрели.

— Что это было, Гэл?

— Не знаю. Когда мы вернулись и рассказали обо всем, Биль хотел обязательно полететь, но не удалось. У нас оставалось мало резервной мощности. Мы сделали массу снимков, но ничего не получилось — только

розовое молоко с лиловым частоколом, и Биль бредил о флуоресценции кремниеводородных испарений, во что сам он, по-моему, вряд ли верил, но от отчаяния, что не удастся исследовать, пытался все объяснить именно так. Это было как... как, собственно, ничто. Ничего подобного мы не знаем. Оно не похоже ни на что. Представляешь — огромная поверхность, но не ландшафт. Я говорил тебе — просто оттенки, чем дальше, тем темнее, прямо в глазах рябило. Движение — в то же время никакого движения. Плыло и стояло. Изменялось, словно отдыхало, и оставалось таким же, кто знает, может, самое главное — безмерное пространство. Будто за этой ужасной, черной вечностью существовала другая бесконечность, сконцентрированная и сильная, такая светлая, что, закрывая глаза, человек переставал в нее верить. Когда мы посмотрели друг на друга... Надо было знать Ардера. Я покажу тебе его фотографию. Он был выше меня, выглядел так, словно мог пройти сквозь стену и даже не заметить ее. Говорил всегда медленно. Ты слышала о той... дыре на Керенее?

— Слышала.

— Он торчал там, в скале, а под ним кипело горячее болото, в любую секунду оно могло подняться вверх и заполнить дыру, в которой он застрял, а он говорил: «Гэл, подожди. Я еще осмотрюсь. Может, удастся снять баллон, нет. Не могу снять, ремни перекрутились. Но ты еще подожди». И так далее. Можно было подумать, что он говорит по телефону из гостиничного номера. И это не поза, он был просто таким. Самый трезвый из нас, всегда все просчитывал. Поэтому он полетел со мной, а не с Олафом, своим другом, но об этом ты слышала...

— Да.

— Ведь... Ардер. Когда я на него посмотрел, то увидел слезы у него на глазах. Том Ардер. Он не стыдился своих слез ни тогда, ни потом. Когда мы вспоминали об этом, и не раз, другие сердились. Они думали, что мы делаем это нарочно, притворяемся или что-то в этом роде. Таким образом мы становились... небожителями. Смешно, не правда ли? Ну, к делу. Мы посмотрели тогда друг на друга, и нам пришлось в голову одно и то же. Хотя мы не знали, исправлен ли гравипеленг, без него мы не нашли

бы «Прометей», мы подумали, что все же хорошо, что сюда попали и увидели такое радостное великолепие.

— Вы стояли на горе?

— Не знаю. Эри, там совсем другая перспектива. Мы смотрели как бы с высоты, но там не было склона. Подожди. Ты видела большой каньон в Колорадо?

— Видела.

— Представь себе каньон, но в тысячу раз больше. Или в миллион. И он состоит из красного или розового золота, почти совершенно прозрачный, сквозь него видны все слои, дуги, седловины его геологических формаций, все это невесомо и плывет и как бы улыбается тебе. Нет, не то. Любимая, мы очень старались с Ардером описать это, но у нас ничего не получилось. Этот камешек — оттуда... Ардер взял его на счастье. Он носил его всегда. Хранил в коробочке из-под витаминов. Когда камешек стал рассыпаться, Ардер обернул его ватой. Потом — когда я вернулся один — я нашел камешек под койкой в его кабине. Наверное, он выпал. Олаф, мне кажется, думал, что все случилось из-за того, что Ардер забыл камешек, но не осмеливался мне это сказать, как это слишком глупо... Что может быть общего между каким-то камешком и тем проводком, из-за которого у Ардера отказало радио?..

VIII

Олаф по-прежнему не давал знать о себе. Мое беспокойство перешло в угрызение совести. Я волновался, не решился ли он на какой-нибудь безумный поступок. Ведь он был одинок, еще больше, чем я до сих пор. Мне не хотелось втягивать Эри в непредвиденные неприятности, связанные с моими поисками, поэтому я решил сначала поехать к Турберу. Я еще не знал, попрошу ли я у него совета, — мне хотелось просто его увидеть. Адрес мне дал Олаф. Турбер находился в университетском центре Малголан. Я уведомил его о своем прибытии и впервые расстался с Эри. В последние дни она стала молчаливой и беспокойной, вероятно, она тоже волновалась за судьбу Олафа. Я обещал ей

вернуться поскорее, дня через два, а после разговора с Турбером не предпринимать никаких шагов, не посоветовавшись с ней.

Эри проводила меня до Хоулу, где я пересел на прямой ульдер. Пляжи Тихого океана уже опустели, приближались осенние штормы, и из окрестных городков исчезли разноцветные толпы молодежи. Я не удивился тому, что оказался чуть ли не единственным пассажиром серебряного снаряда. Полет в тучах, закрывающих все вокруг, продолжался меньше часа и закончился в сумерках. Город выплыл из наступающей темноты разноцветными огнями — высочайшие строения, «фужеры» светились во мгле, как тонкие, неподвижные языки пламени, их силуэты горели среди белых опор, как гигантские бабочки, связанные воздушными дугами самого высокого уровня коммуникаций; нижние этажи улиц образовывали извилистые цветные реки. Возможно, такое впечатление создавал туман, а, может, это был эффект от стеклянных строительных материалов, достаточно сказать, что с высоты центр выглядел, как сгусток драгоценного стекла с различными прослойками, как хрустальный остров, осыпанный драгоценностями и возвышающийся в океане, зеркальная поверхность которого отражала все слабее светящиеся ярусы, вплоть до последних, уже еле видимых, словно из подземелий города пробивался его рубиновый раскаленный скелет. Трудно было поверить, что эта феерия переливающихся огней и красок — просто жилище нескольких миллионов людей.

Университетский комплекс располагался за городом. Там, внутри огромного парка, на бетонное покрытие опустился мой ульдер. О близости города можно было догадаться только по светло-серебристому зареву, покрывающему небо над черной стеной старых деревьев. Длинная аллея привела меня к зданию, темному, словно вымершему.

Я лишь приоткрыл огромные стеклянные двери, как тут же в середине загорелся свет. Я очутился в куполообразном холле, выложенным светло-голубой интарсией. Система переходов со звуконепроницаемой

изоляция привела меня в другой коридор, прямой и строгий. Я открывал одну дверь за другой, но все помещения были пусты и, казалось, будто они давно покинуты. Я поднялся наверх по обыкновенной лестнице, то есть с неподвижными ступенями. Вероятно, где-то был лифт, но мне не хотелось его искать. Наверху в обе стороны тянулся такой же коридор и такие же пустые комнаты; на двери одной из них я заметил небольшую карточку с четкой надписью: «Здесь, Брегг». Я постучал и тут же услышал голос Турбера.

Я вошел. Он сидел, согнувшись, на фоне темного во всю стену окна. На письменном столе, за которым он работал, горела лампа. Стол был завален бумагами и книгами — настоящими книгами, а на втором столе, поменьше, стоявшем рядом, лежали большие горсти кристаллического зерна и различные аппараты. Перед ним возвышалась стопка бумаги, и ручкой — простой ручкой, которая пишет чернилами! — он делал пометки на полях.

— Садись! — предложил он, не поднимая головы. — Я уже заканчиваю.

Я сел в низкое кресло возле письменного стола, но тут же отодвинул кресло немного в сторону, так как свет падал прямо на лицо Турбера, и я не мог его хорошо рассмотреть.

Он работал, как обычно, медленно, наклонив голову, щурясь от яркого света лампы. Он находился в самой скромной комнате, какую я до сих пор видел, — матовые стены, серые двери, никаких украшений, следов наскучившего золота, по обе стороны двери — квадратные, темные сейчас экраны, стену возле окна занимали металлические шкафчики, возле одного стоял высокий рулон карт или технических чертежей. Вот собственно и все. Я посмотрел на Турбера. Лысый, крупный, грузный, он писал, время от времени смахивая слезу с глаз. Они всегда у него слезились, а Джимма (он любил выдавать чужие секреты, особенно те, которые люди тщательно скрывали) как-то сказал мне, что Турбер боится за свое зрение. Тогда я понял, почему Турбер всегда ложится первым, когда мы меняем ускорение, и почему — в последующие годы — разрешал другим выполнять работу, которую раньше делал сам.

Турбер собрал листы бумаги, постучал ими о стол, выравнивая края, спрятал их в папку, закрыл ее и только тогда, опуская большие руки с толстыми с трудом сгибающимися пальцами, проговорил:

— Приветствую тебя, Гэл. Как идут дела?

— Не жалуюсь. Разве... ты один?

— Ты хочешь узнать, здесь ли Джимма? Его нет, он уехал вчера. В Европу.

— Ты работаешь?

— Да.

Наступило короткое молчание. Я не представлял, как он отнесется к моим словам, поэтому хотел сначала узнать, что он думает о мире, который мы застали, вернувшись сюда. Правда, зная его, я не рассчитывал на откровенность. Он скрывал обычно свои мысли.

— Ты давно уже здесь?

— Брегг, — сказал он, по-прежнему сохраняя спокойствие. — Я сомневаюсь, что тебя это интересует. Не хитри.

— Возможно, ты прав, — проговорил я. — Ну, что мне говорить?

Меня раздирало внутреннее противоречие — что-то среднее между раздражением и робостью, какое всегда охватывало меня в его присутствии. То же испытывали и другие. Я никогда не знал, шутит он, насмехается или говорит серьезно; при всем спокойствии, при всем внимании к собеседнику он оставался совершенно неуловимым.

— Не надо, — проронил он. — Может, позднее. Откуда ты прибыл?

— Из Хоулу.

— Прямо оттуда?

— Да... а почему ты спрашиваешь?

— Это хорошо, — сказал он, словно не слышал моих последних слов. Секунд пять он смотрел на меня неподвижно, будто желал убедиться в моем присутствии; его взгляд не выражал ничего, но я уже догадался — что-то случилось. Я не был только уверен, скажет ли он мне. Предугадать его поведение я не мог. Я размышлял, с чего мне начать, а он тем временем разглядывал меня все внимательнее, словно я предстал перед ним в новом образе.

— Что делает Вабах? — спросил я, когда это молчаливое наблюдение, по моему мнению, затянулось сверх меры.

— Он поехал с Джиммой.

Я спрашивал его не об этом, и он знал, что я имел в виду, ведь в конце концов я приехал сюда не из-за Вабаха. Снова наступило молчание. Я уже стал раскаиваться в своем решении.

— Я слышал, что ты женился, — вдруг сказал он, как бы нехотя.

— Да, — ответил я, может, слишком сухо.

— Ты доволен?

Я пытался любой ценой найти другую тему. В голову приходил только Олаф, но о нем пока не хотел спрашивать. Я боялся усмешки Турбера — я помнил, как она приводила в отчаяние Джимму, да и не только его. Турбер чуть приподнял брови и спросил:

— Какие у тебя планы?

— Никаких, — ответил я искренне.

— А ты хотел бы что-нибудь делать?

— Да. Но смотря что.

— Ты ничего до сих пор не делал?

Сейчас я, наверное, покраснел. Я разозлился.

— Почти ничего... Турбер... я пришел... не по своему делу.

— Знаю, — проворчал он спокойно. -- Стаамс, а?

— Да.

— Был в этом определенный риск, — сказал он и слегка оттолкнулся от письменного стола. Кресло послушно повернулось в мою сторону.

— Освамм ожидал самого худшего, особенно после того, как Ставс выбросил свой гипног... ты его тоже выбросил, а?

— Освамм? — удивился я. — Какой Освамм... подожди, тот из Адапта?

— Да. Он больше всего беспокоился за Ставса. Я разубедил его.

— Как это — разубедил?

— Ну, Джимма поручился за вас обоих... — проговорил Турбер, словно все это время не слышал меня.

— Что?! — вскричал я, вскакивая с места. — Джимма?!

— Конечно, он сам ничего не знал, — продолжал Турбер. — И сказал мне об этом.

— Какого черта он ручался! — взорвался я, ошеломленный его словами.

— Он считал, что должен, — лаконично объяснил Турбер. — Ведь начальник экспедиции должен знать своих людей...

— Глупости...

— Я повторяю только то, что он сказал Освамму.

— Да? — возмутился я. — А чего Освамм в конце концов боялся? Что мы взбунтуемся или что?

— А у тебя не было желания? — спокойно спросил Турбер.

Я задумался.

— Нет, — наконец ответил я. — Seriously никогда.

— И ты будешь бетризировать своих детей?

— А ты? — медленно спросил я.

Он первый раз улыбнулся, кончики бескровных губ дрогнули. Промолчал.

— Послушай, Турбер... ты помнишь тот вечер, после последнего разведывательного полета над Бетой... когда я тебе сказал...

Он равнодушно кивнул. Неожиданно мое терпение лопнуло.

— Тогда я тебе не сказал всего, знаешь. Мы были там вместе, но не на равных правах. Я слушался вас, тебя, Джимму, так как сам этого хотел. Все хотели — Вентури, Томас, Эннессон и Ардер, которому Джимма не дал запасной детали — прятал ее на всякий случай. Хорошо. Только какое ты имеешь право так говорить со мной, словно все время сидел на этом стуле? Ведь на Керенее ты послал Ардера вниз, во имя науки послал, ты, Турбер, а я вытянул его во имя его чертовых потрохов, а после того, как мы вернулись, оказывается, что осталось только право потрохов. Только они теперь принимаются во внимание, а все остальное — нет. А может, это я должен сейчас спрашивать тебя о твоём здоровье и ручаться за тебя, а не наоборот? Как думаешь? Я знаю, что ты думаешь. Ты привез горы

материалов, и у тебя есть во что спрятаться до конца жизни, и знаешь, что никто из этих любезнейших не скажет тебе: сколько жизней ты заплатил за этот спектральный анализ: одну? две? Не считаете ли вы, профессор Турбер, что это немного дороговато? Никто тебе такого не скажет, потому что у них нет к ним претензий. Но у Вентури есть. И у Ардера, и у Эннессона, и у Томаса. Чем ты станешь теперь расплачиваться, Турбер? Выводить из заблуждения Освамма — плата за меня? А Джимма — ручаться за нас с Олафом? Когда я тебя впервые увидел, ты делал то же, что и сейчас. Так было и в Алппрену. Ты сидел над бумагами и смотрел, как сейчас: в антракте важнейших дел — во имя науки...

Я встал.

— Поблагодари Джимму, что он поручился за нас...

Турбер тоже встал. Может, секунду мы пристально изучали друг друга. Он был ниже меня, но это не ощущалось. Его рост не имел значения. У него был непередаваемо спокойный взгляд.

— Ты предоставишь мне слово, или я уже осужден? — спросил он.

Я пробурчал что-то невразумительное.

— Тогда садись, — сказал он и, не дожидаясь, сам тяжело опустился в кресло.

Я сел.

— Кое-что, ты, однако, сделал, — проговорил он таким тоном, словно мы до сих пор разговаривали о погоде. — Ты прочитал Старка, поверил ему, считая, что тебя обманули, и теперь ищешь виноватых. Если бы тебя это действительно волновало, то я мог бы взять вину на себя. Но речь не об этом. Старк убедил тебя после таких десяти лет? Брегг, я знал, что ты взбалмошный, но не предполагал, что ты глупый.

Он замолчал, а я, странное дело, почувствовал сразу облегчение и освобождение. У меня не было времени разобраться в своих чувствах, он продолжал:

— Контакт цивилизаций Галактик? Кто тебе о нем говорил? Никто из нас, никто из классиков — ни Меркью, ни Сисмониади, ни Радж Нгамели — никто, ни одна экспедиция не рассчитывала на контакт, и поэтому вся эта болтовня о путешествующих в пустоте

археологических находках, об этой вечно опаздывающей галактической почте — просто опровержение положений, которые никто не выдвигал. Какая польза от звезд? А какая польза от экспедиции Амудсена? Андре? Никакой. Единственная временная польза была в том, что доказали — возможность. Доказали — это можно сделать. А точнее говоря, — с этим самым трудным для данного времени делом можно справиться. Не знаю, Брегг, удалось ли это нам. Правда, не знаю. Но мы были там.

Я молчал. Турбер больше не смотрел на меня. Он оперся кулаками о стол.

— В чем тебя убедил Старк — в бесполезности космодромии? Будто мы сами этого не ведали! А полюса? Что было на полюсах? Те, кто их покорял, знали, что там ничего нет. А Луна? Что искала группа Росса в кратере Эратостенеса? Бриллианты? А зачем Банс и Егорин прошли через центр диска Меркурия? Чтобы загореть? А Келлен и Оффшаг — единственно, что они знали точно, тогда летели к холодной туманности Цербера — это то, что там можно погибнуть. Ты отдаешь себе отчет в том, что на самом деле говорит Старк? Человек должен есть, пить и одеваться; все остальное — безумие. У каждого есть свой Старк, Брегг. У каждой эпохи он был. Зачем Джимма послал тебя и Ардера? Чтобы вы взяли пробы Короны с Новой. Кто послал Джимму? Наука. Как это все по-деловому, а? Изучение звезд. Брегг, как ты думаешь, полетели бы мы, если бы их не было? Я думаю, что полетели. Мы захотели бы познать эту пустоту, чтобы как-то оправдать полет, Геонидес или кто-нибудь другой сказал бы нам, какие ценные измерения и исследования можно будет провести по пути. Пойми меня правильно. Я не говорю, что звезды — только предлог. Ведь и полюс им не был. Нансену и Андре он был нужен... Эверест для Меллори и Ирвинга значил больше, чем воздух. Ты говоришь, что я командовал вами во имя науки? И сам знаешь, что это неправда. Ты испытывал мою память. Может, я испытываю твою? Ты помнишь планетоид Томаса?



Я вздрогнул.

— Ты тогда нас обманул. Полетел второй раз, зная, что он уже мертв. Не так ли?

Я молчал.

— Я понял уже тогда. Я не говорил об этом с Джиммой, но предполагаю, что он тоже догадывался. Зачем ты туда полетел, Брегг? Это уже не были ни Арктур, ни Керенея — и некого было спасать. Зачем ты туда полез, человеке?

Я молчал. Турбер слегка усмехался.

— Знаешь, в чем наша незадача, Брегг? В том, что нам повезло и мы сидим здесь. Человек всегда возвращается с пустыми руками...

Он замолчал. Его усмешка перешла в гримасу, почти бессмысленную. С минуту он тяжело дышал, сжимая обеими руками край стола. Я смотрел на него, словно видел его впервые, — подумал, он же уже старый. Это открытие потрясло меня. Такое мне никогда не приходило в голову, будто он вообще был без возраста...

— Турбер, — тихо проговорил я, — послушай... но ведь это... это прощальное слово над могилой тех — беспокойных. Таких уже нет. И больше не будет. Ведь... однако... побеждает Старк...

Он приоткрыл рот, показались кончики плоских желтых зубов.

— Брегг, дай слово, что никому не скажешь то, что сейчас от меня услышишь.

Я колебался.

— Никому, — подчеркнул он.

— Хорошо.

Турбер встал, взял в углу рулон бумаги и вернулся с ним к письменному столу.

Он развернул рулон. Я заметил красную, словно начертанную кровью, распластанную рыбу.

— Турбер!

— Да, — спокойно ответил он, скатывая рулон.

— Новая экспедиция?

— Да, — повторил он, ставя рулон в угол, где он торчал, как оружие.

— Когда? Куда?

— Не скоро. До Центра

— Туманность Стрельца... — прошептал я.

— Да. Приготовления затянутся. Но, благодаря анабиозу...

Он продолжал говорить, но до меня доходили только отдельные слова: «полет в петле», «акселерация безгравитационная», а возбуждение, которое охватило меня, когда я увидел начертанный конструкторами силуэт огромной ракеты, сменилось неожиданной апатией, и я вяло, будто сквозь сгущающийся туман, рассматривал свои руки на коленях. Турбер замолчал, поглядел на меня исподлобья, подошел к письменному столу и стал складывать папки с бумагами, словно желая дать мне время осознать невероятное известие. Я должен был забросать его вопросами — кто из нас, старых, полетит, сколько будет продолжаться экспедиция, какие у нее цели, не спросил ни о чем. Даже о том, почему это держится в секрете. Я посмотрел на его погрубевшие огромные руки, на которых прошедшие годы оставили больше следов, чем на лице, и в мое оцепеневшее сознание проникла частица удовлетворения, столь же неожиданная, сколь и низкая — он тоже, наверное, не полетит. Я не доживу до их возвращения, даже если поставлю рекорд Мафусаила, подумал я. Все равно. Это не имеет уже никакого значения. Я встал. Турбер шелестел бумагами.

— Брегг, — проговорил он, не поднимая глаз, — я еще должен немного поработать, если хочешь мы можем вместе поужинать. Переночевать ты можешь в дортуаре, он сейчас пуст.

Я буркнул «хорошо» и направился к двери. Турбер работал, словно я уже ушел. Я постоял немного у порога и вышел. Какое-то время я даже не понимал, где нахожусь, потом до меня дошел звучный равномерный стук — отзвук собственных шагов. Я приостановился. Я находился посередине длинного коридора между двумя рядами одинаковых дверей. Эхо шагов раздавалось по-прежнему. Кажется? Кто-то идет за мной? Я повернулся и заметил исчезающую в дальних дверях высокую фигуру. Это длилось какое-то мгновение, я не разглядел человека, а увидел только само движение, и закрывающуюся дверь. Я не знал, что мне делать.

Дальше идти не имело смысла — коридор заканчивался тупиком. Я повернул, прошел мимо огромного окна, над черным массивом парка серебрилось зарево города, я снова остановился у дверей с карточкой «Здесь, Брегг», за которым работал Турбер. Мне уже не хотелось его видеть. Мне нечего было сказать — ему тоже. Вообще зачем я сюда приехал? Неожиданно, с удивлением я вспомнил зачем. Следовало войти и спросить про Олафа, но не сейчас. Не в эту минуту. У меня были силы, я чувствовал себя хорошо, но со мной что-то происходило, чего я не понимал. Я направился к лестнице. Напротив нее находилась последняя в ряду дверь, за которой только что исчез неизвестный. Я вспомнил, что заглядывал в эту комнату в самом начале, когда вошел в здание и искал Турбера; узнал кривую полосу ободранной краски. Комната была пуста. Что искал в ней вошедший человек?

Уверенный, что он ничего не искал, а только хотел от меня спрятаться, я долго стоял в нерешительности напротив пустой лестницы, залитой белым неподвижным светом. Медленно-медленно я повернулся. Меня охватило непонятное беспокойство, даже не беспокойство — я ничего не боялся, а чувствовал себя как после анестезирующего укола; напряженный, хотя и спокойный, я сделал два шага, напряг слух, закрыл глаза и тогда мне показалось, что я слышу из двери дыхание. Невероятно. Теперь я пойду, решил я, но не мог — слишком много внимания я уделял этой дурацкой двери, чтобы просто так уйти. Я открыл дверь и заглянул в комнату. Под небольшой лампой посреди пустой комнаты стоял Олаф. Он был в своем старом свитере с подвернутыми рукавами, словно только что бросил инструменты.

Мы смотрели друг на друга. Я упорно молчал, Олаф понимал, что я не произнесу ни слова, и начал первый:

— Как дела, Гэл...

Его голос звучал неуверенно.

Я не хотел притворяться, меня потрясли обстоятельства неожиданной встречи, а может, я еще находился под впечатлением ошущающих слов Турбера, во всяком случае я ничего не ответил. Подошел к окну, из

которого был тот же вид — черный парк и зарево над городом, повернулся и сел на подоконник. Олаф не пошевелился. Он продолжал стоять посередине комнаты; из книги, которую он держал в руках, выскользнул листок бумаги и упал на пол. Мы наклонились одновременно; я поднял листок и увидел схему корабля, того самого, что недавно показывал мне Турбер. Внизу виднелись пометки, сделанные рукой Олафа. Значит, вот в чем дело, подумал я. Он не писал, так как сам летит, и не хотел огорчать меня таким известием. Я должен ему сказать, что он ошибается, ведь я совсем не собираюсь ни в какую экспедицию. Хватит с меня звезд, кроме того, я знаю все от Турбера, поэтому он может говорить со мной с чистой совестью.

Я внимательно рассматривал чертеж, словно испытывал полетные возможности ракеты, потом, ничего не говоря, отдал ему листок, он взял его, немного помедлил, сложив вдвое и спрятал в книгу. Все происходило молча, я уверен, что неумышленно, но эта сцена, может, именно потому, что она разгрызвалась в тишине, приобрела символическое значение, словно я принимал к сведению его предполагаемое участие в экспедиции и, возвращая ему чертеж, одобрял его шаг без энтузиазма, но и без сожаления.

Когда я хотел заглянуть ему в глаза, он опустил их, но тут же зыркнул на меня исподлобья — с чувством неуверенности или смущения. Даже сейчас, когда я уже обо всем знаю? Тишина маленькой комнаты становилась невыносимой. Я слышал немного учащенное дыхание Олафа. У него было усталое лицо и глаза не такие живые, как при последней нашей встрече, словно он много работал и мало спал, но в его глазах появилось какое-то совершенно новое, неизвестное мне выражение.

— У меня все хорошо... — медленно проговорил я, — а у тебя?

Мои слова явно запоздали, надо было задать этот вопрос сразу, как только вошел, а теперь он звучал немного обиженно или даже издевательски.

— Ты был у Турбера? — спросил он.

— Да, был.

— Студенты уехали... сейчас никого нет, нам дали весь дом... — произнес он с видимым усилием.

— Чтобы вы смогли разработать план экспедиции? — добавил я, а он поспешно ответил:

— Да, Гэл. Ну, ты же знаешь, что это за работа. Сейчас нас пока горстка людей, но у нас прекрасные машины, эти автоматы...

— Это хорошо.

Снова наступило молчание. Странно — чем дольше длилось молчание, тем сильнее проявлялось беспокойство Олафа, его неестественная неподвижность — он, в оцепенении, по-прежнему торчал посередине комнаты, под лампой, словно ожидал самого худшего. Я решил это прекратить.

— Послушай, ну..., — тихо проговорил я, — как ты, собственно, все это представлял? Политика страуса никогда не оправдывается, знаешь ли... Ты же не думал, что без тебя я никогда не узнаю?

Он молчал, наклонив набок голову. Я явно переборщил, ведь он ни в чем не был виноват, на его месте я, пожалуй, вел бы себя так же. Я сердился на него не за то, что он месяц молчал, а за то, что он хотел спрятаться от меня в пустой комнате, увидев меня, когда я выходил от Турбера. Но я не мог сказать ему об этом, прозвучало бы глупо и смешно. Я повысил голос, обозвал его дураком, но он даже не попытался защищаться.

— Итак, ты считаешь, что нам не о чем говорить? — разозлился я.

— Это зависит от тебя...

— От меня?

— Да, от тебя, — настойчиво повторил он. — Самым главным было — от кого ты узнаешь...

— Ты действительно так считаешь?

— Так мне казалось...

— Мне все равно... — пробурчал я.

— Что... ты собираешься сделать? — тихо спросил он.

— Ничего.

Олаф недоверчиво посмотрел на меня.

— Гэл, ведь я...

Он не договорил. Я чувствовал, что его тяготит само

мое присутствие, но я не мог простить его неожиданного бегства, а уйти я не решался. Я не знал, что надо говорить, — все, что соединяло нас, было под запретом. Мы одновременно посмотрели друг на друга, — видно, каждый из нас рассчитывал на помощь другого...

Я встал с подоконника.

— Олаф... поздно уже... Я пойду... не думай, что... я обижен на тебя, ничего подобного. Мы еще встретимся, может, ты приедешь к нам, — с трудом выдавил я из себя, каждое слово звучало неестественно, и он это чувствовал.

— А ты... останешься хотя бы на ночь?

— Не могу, знаешь, я обещал...

Я не произнес ее имени; Олаф буркнул:

— Как хочешь. Я провожу тебя.

Мы вместе вышли из комнаты, потом по лестнице спустились вниз; на улице было совершенно темно. Олаф, молча, шел рядом, вдруг остановился, я тоже.

— Останься, — прошептал он робко.

Я слабо различал его лицо.

— Хорошо, — неожиданно согласился я и повернулся.

Олаф не ожидал такого. Он немного постоял, потом обнял меня за плечи и повел к другому зданию пониже; в пустом зале, освещенном несколькими лампами, мы пужинали за стойкой бара. За все время мы перекинулись всего десятком слов. Потом поднялись на второй этаж.

Комната, в которую он меня привел, была почти квадратной и выдержана в матово-белых тонах, с широким окном, выходящим в парк с другой стороны, так как я не видел городского зарева над деревьями; в комнате стояли свежестеленная кровать, три кресла, одно — возле окна. Через узкие приоткрытые двери блеснул кафель ванной комнаты. Олаф, опустив руки, стоял у порога, будто ожидая моих слов, но я молчал, ходил по комнате и машинально прикасался к предметам, словно брал их во временное пользование. Олаф тихо спросил:

— Могу ли... я быть чем-нибудь полезен?

— Да, — ответил я, — оставь меня одного.

Олаф не двинулся с места. Его лицо ожег румянец,

потом оно побледнело, вдруг на нем родилась улыбка — Олаф хотел скрыть оскорбление, ведь мои слова действительно прозвучали оскорбительно. От этой беспомощной жалобной улыбки что-то оборвалось, поспешно пытаюсь сбросить с себя маску равнодушия, которую я надел, так как на большее не был способен, я подбежал к Олафу, когда он поворачивался, собираясь выйти, схватил его за руку и сильно сжал ее, как бы прося этим стремительным пожатием прощение, а он, не глядя на меня, ответил таким же крепким рукопожатием и вышел. Рука у меня еще горела от его пожатия, а он уже закрывал за собой дверь, так осторожно и тихо, словно покидал комнату больного. Я остался один, как хотел.

В здании стояла тишина. Даже шагов удаляющегося Олафа я не слышал; в оконном стекле слабо отражался мой собственный силуэт, из невидимого источника плыл теплый воздух, через контуры своего отражения я видел линии деревьев, утонувших в полной темноте. Я еще раз окинул взглядом комнату и сел в большое кресло у окна.

Осенняя ночь только наступила. Спать совсем не хотелось. Я стоял возле окна. Расстилающийся за ним мрак, наверное, заполнен холодом и шумом голых ветвей — мне вдруг захотелось оказаться там, побродить в темноте, в ее хаосе. Не раздумывая, я вышел. В коридоре — никого. Спустился по лестнице на цыпочках, соблюдая излишнюю осторожность. Олаф, пожалуй, уже отдыхает, а Турбер, если еще и работает, то на другом этаже в дальнем крыле здания. Я сбегал вниз, уже не скрываясь, выбрался на улицу и быстро зашагал вперед. Направления я не выбирал, шел прямо, стараясь, чтобы городское зарево оставалось в стороне. Аллея парка скоро вывела меня на дорогу, я шел по ней, потом неожиданно остановился. Дорога привела бы меня в город, к людям, а мне хотелось побыть одному. Я вспомнил, что говорил мне Олаф еще в Клавестре о Маллеолане, новом городе, возникшем среди гор уже после нашего отлета, шоссе, по которому я прошел несколько километров, постоянно петляло, круто поворачивало, вероятно, обходя возвышенности, но в темноте я не мог их рассмотреть. Дорога, где и везде, не

была освещена, слегка флуоресцировала только сама поверхность, но свет был настолько слабым, что не освещал даже растущие в нескольких шагах от обочины заросли. Я сошел с дороги и, идя на ощупь, очутился в чаще небольшой рощицы, которая вывела меня на крутую, широкую, лишенную растительности возвышенность — я это определил по ветру, который свободно гулял здесь; несколько раз далеко внизу промелькнул бледной змейкой отрезок покинутого мной шоссе, потом это последнее светлое пятно исчезло; я снова остановился, не только ничего не видящими глазами, а всем телом, лицом, подставленным навстречу ветру, я пытался сориентироваться в месте, незнакомом, как чужая планета; я намеревался самым коротким путем забраться на одну из возвышенностей, окружающих долину, в которой расположился город, но как определить нужное направление? Неожиданно, когда затея показалась мне безнадежной, я услышал идущий с высоты, справа, продолжительный далекий звук, напоминающий шум волны, но все же отличающийся от него, — гул, с каким ветер пронесся по лесу, расположенному значительно выше того места, где я стоял. Не раздумывая, я направился в ту сторону. Склон, заросший сухой старой травой, привел меня к опушке леса. Я обходил деревья, вытянув руки, чтобы не поцарапаться о колючие ветки. Вскоре склон стал более пологим, деревья расступились, опять я вынужден был выбирать направление; вслушиваясь в темноту, я терпеливо ждал очередного сильного порыва ветра. В какое-то мгновение пространство отозвалось — с отдаленных вершин поплыло протяжное, свистящее пение — так ветер в эту ночь был моим союзником; я двинулся напрямик, не обращая внимания на то, что сейчас теряю высоту, резко спускаясь в глубь черной балки, которая круто уходила вниз; я начал размеренно подниматься вверх, дорогу мне указывал журчащий где-то ручеек. Я ни разу не увидел его, впрочем, он протекал, вероятно, под валунами; звук журчащей воды становился все тише по мере того, как я поднимался выше, потом совсем затих, и меня опять окружил высокоствольный лес, вероятно, сосновый, совершенно

без подлеска. Земля была покрыта мягким слоем старой хвои, кое-где покрытой скользким мхом. Это блуждание в темноте продолжалось часа три; корни, о которые я спотыкался, все чаще соседствовали с выступающими из-под мягкой земли разбросанными валунами, я немного боялся, что вершина будет покрыта зарослями леса и в его лабиринте закончится, едва начавшись, мое странствие по горам, но мне повезло — по голому перевалу я добрался до расселины, поднимавшейся все круче. Стоило мне на мгновение остановиться — камни тут же с грохотом полетели из под ног; прыжками, падая и вставая, я добрался до боковой гряды сужающегося ущелья и уже пошел быстрее; иногда останавливаясь, я пытался осмотреть местность, но мрак был такой, что не было видно ни города, ни его зарева; от светящейся дороги, с которой я сошел, не осталось и следа; ущелье привело меня на полянку, заросшую сухими травами; я находился уже высоко — я определил по все расширяющемуся надо мной звездному небу — вероятно, заслоняющие его вершины начинали выравниваться с той, по которой я поднимался. Пройдя несколько сотен шагов, я очутился между первыми зарослями горной сосны.

Если бы меня в этой темноте кто-нибудь неожиданно остановил и спросил, зачем и куда я иду, я не смог бы ответить; к счастью, никого не было и мое одинокое ночное путешествие я подсознательно ощущал, так по крайней мере временное облегчение. Слэп становился все круче, идти было все труднее, но я шел все время вперед, заботясь только о том, чтобы не свернуть с пути, будто у меня была какая-то цель. Сердце стучало сильнее, я тяжело дышал, но в забытии ломился вперед, инстинктивно чувствуя, что должен преодолеть именно такие трудности. Я раздвигал ветви горных сосен, порой застревал в их гуще, с силой вырывался и шел дальше. Иглы били меня по лицу, по груди, цеплялись за одежду, пальцы уже склеивались от смолы; на открытом пространстве налетел ветер, начал на меня из темноты, неудержимо бушевал, свистел где-то высоко, и я догадался, что достиг перевала. Затем я снова оказался в зарослях горных сосен. Здесь был теплый

была освещена, слегка флуоресцировала только сама поверхность, но свет был настолько слабым, что не освещал даже растущие в нескольких шагах от обочины заросли. Я сошел с дороги и, идя на ощупь, очутился в чаще небольшой рощицы, которая вывела меня на крутую, широкую, лишенную растительности возвышенность — я это определил по ветру, который свободно гулял здесь; несколько раз далеко внизу промелькнул бледной змейкой отрезок покинутого мной шоссе, потом это последнее светлое пятно исчезло; я снова остановился, не только ничего не видящими глазами, а всем телом, лицом, подставленным навстречу ветру, я пытался сориентироваться в месте, незнакомом, как чужая планета; я намеревался самым коротким путем забраться на одну из возвышенностей, окружающих долину, в которой расположился город, но как определить нужное направление? Неожиданно, когда затея показалась мне безнадежной, я услышал идущий с высоты, справа, продолжительный далекий звук, напоминающий шум волны, но все же отличающийся от него, — гул, с каким ветер пронесся по лесу, расположенному значительно выше того места, где я стоял. Не раздумывая, я направился в ту сторону. Склон, заросший сухой старой травой, привел меня к опушке леса. Я обходил деревья, вытянув руки, чтобы не поцарапаться о колючие ветки. Вскоре склон стал более пологим, деревья расступились, опять я вынужден был выбирать направление; вслушиваясь в темноту, я терпеливо ждал очередного сильного порыва ветра. В какое-то мгновение пространство отозвалось — с отдаленных вершин поплыло протяжное, свистящее пение — так ветер в эту ночь был моим союзником; я двинулся напрямик, не обращая внимания на то, что сейчас теряю высоту, резко спускаясь в глубь черной балки, которая круто уходила вниз; я начал размеренно подниматься вверх, дорогу мне указывал журчащий где-то ручеек. Я ни разу не увидел его, впрочем, он протекал, вероятно, под валунами; звук журчащей воды становился все тише по мере того, как я поднимался выше, потом совсем затих, и меня опять окружил высокоствольный лес, вероятно, сосновый, совершенно

без подлеска. Земля была покрыта мягким слоем старой хвои, кое-где покрытой скользким мхом. Это блуждание в темноте продолжалось часа три; корни, о которые я спотыкался, все чаще соседствовали с выступающими из-под мягкой земли разбросанными валунами, я немного боялся, что вершина будет покрыта зарослями леса и в его лабиринте закончится, едва начавшись, мое странствие по горам, но мне повезло — по голому перевалу я добрался до расселины, поднимавшейся все круче. Стоило мне на мновение остановиться — камни тут же с грохотом полетели из под ног; прыжками, падая и вставая, я добрался до боковой гряды сужающегося ущелья и уже пошел быстрее; иногда останавливаясь, я пытался осмотреть местность, но мрак был такой, что не было видно ни города, ни его зарева; от светящейся дороги, с которой я сошел, не осталось и следа; ущелье привело меня на полянку, заросшую сухими травами; я находился уже высоко — я определил по все расширяющемуся надо мной звездному небу — вероятно, заслоняющие его вершины начинали выравниваться с той, по которой я поднимался. Пройдя несколько сотен шагов, я очутился между первыми зарослями горной сосны.

Если бы меня в этой темноте кто-нибудь неожиданно остановил и спросил, зачем и куда я иду, я не смог бы ответить; к счастью, никого не было и мое одинокое ночное путешествие я подсознательно ощущал, как по крайней мере временное облегчение. Склон становился все круче, идти было все труднее, но я шел все время вперед, заботясь только о том, чтобы не свернуть с пути, будто у меня была какая-то цель. Сердце стучало сильнее, я тяжело дышал, но в забытии ломился вперед, инстинктивно чувствуя, что должен преодолеть именно такие трудности. Я раздвигал ветви горных сосен, порой застревал в их гуще, с силой вырывался и шел дальше. Иглы били меня по лицу, по груди, цеплялись за одежду, пальцы уже склеивались от смолы; на открытом пространстве налетел ветер, напал на меня из темноты, неудержимо бушевал, свистя где-то высоко, и я догадался, что достиг перевала. Затем я снова оказался в зарослях горных сосен, здесь был теплый

неподвижный воздух, насыщенный запахом хвои. На моем пути выросли неожиданные препятствия — разбросанные валуны, небольшой осыпавшийся участок. Я уже шел несколько часов, а все еще чувствовал в себе запас сил, чтобы не впасть в отчаяние; ущелье, ведущее к неизвестному перевалу, а может, к вершине, сузилось так, что на фоне неба я увидел уже две его высокие вершины, закрывающие темными пластами звезды.

Давно уже осталась внизу полоса тумана, но эта холодная ночь была безлунной, а звезды давали мало света. Поэтому я очень удивился, увидев вокруг себя и над собой нечто белое, продолговатой формы, лежавшее во мраке, не рассеивая его, словно за день вобрало в себя его блеск; только когда под ногами раздался хруст, я понял, что это снег.

Он покрывал не очень толстым слоем почти весь крутой склон. Я промерз бы, наверное, до костей, ведь одет я был очень легко, но неожиданно ветер утих, и все отчетливее хрустела снежная корка, которую я пробивал, проваливаясь по щиколотку.

На самом перевале снега почти не было. На осыпи черными силуэтами торчали большие голые валуны. Я остановился с бьющимся сердцем и посмотрел в сторону города. Его закрывал склон, и только темнота, рыжеватая от разреженного света его огней, выдавала место, где он лежал в долине. Надо мной дрожали яркие звезды. Я сделал еще несколько шагов и сел на плоский валун. Под ним скопилось немного снега. Теперь я не видел даже признаков зарева города. Передо мной в темноте выступали горы, призрачные, с вершинами, побеленными снегом. Внимательно взглядевшись в восточный край горизонта, я заметил первую серую полосу, делающую звезды блеклыми — зарождался новый день. На ее фоне вырисовывалась вершина, разламывающая пополам эту полосу. И неожиданно в моем застывшем сознании начало что-то происходить — бесформенная темнота — снаружи или внутри меня? — перемещалась, опускалась, меняя пропорции, я так был сосредоточен на этом, что какое-то время даже ничего не замечал, а когда ко мне снова вернулась способность

видеть, все уже выглядело иначе. На востоке над черной долиной небо слегка посерело, усиливая тем самым черноту скального отрога, но я смог бы указать каждый его излом, найти на ощупь любую выбоину; я знал, какая картина предстанет передо мной днем, ведь она была начертана во мне, навсегда и не напрасно. Было это неизменное, о чем я мечтал, что осталось нетронутым, когда в полуторавековой пасти времени весь мой мир распался и погиб. В этой долине я провел свои детские годы — в старом деревянном летнем домике на противоположном, травянистом, Склоне Ловца Туч. От фундамента развалюхи, наверное, не осталось ни камешка, все балки давно превратились в труху, а горный хребет стоял не изменившись, словно ждал этой встречи — может, неясное, подсознательное воспоминание привело меня ночью именно сюда?

После такого неожиданного открытия я почувствовал огромную слабость, которую раньше успешно заглушал мнимым спокойствием, потом обдуманных, исступленным подъемом в горы. Я наклонился и, не стыдясь, дрожащими пальцами клал в рот кусочки снега, который только обжигал холодом язык, но не утолял жажды. Я постепенно приходил к себе, сидел и ел снег, все еще не совсем доверяя своему открытию, ожидая только первых лучей солнца, чтобы удостовериться в своих догадках. Задолго до восхода солнца с высоты, с потухающих звезд прилетела птица, сложила крылья и стала приближаться ко мне. Я замер, боясь ее спугнуть. Она обошла вокруг меня, я подумал, что птица меня не заметила, но она вернулась с другой стороны, обошла валун, на котором я сидел. Мы смотрели какое-то время друг на друга, потом я негромко спросил:

— Откуда ты взялась?

Видя, что птица не боится меня, я снова стал есть снег. Птица наклонила голову и приглядывалась ко мне черными бусинками глаз, неожиданно, словно насмотревшись на меня досыта, расправила крылья и улетела. Опершись на шершавый валун, скорчившись, с замерзшими от снега руками, я ожидал рассвет, а прошедшая ночь быстро прокручивалась в коротких

сценках — Турбер, его слова, молчание — мое с Олафом, вид города, красный туман и просветы в нем, образованные воронками света, горячие потоки воздуха, вдох и выдох миллионного распада, висящие площади и аллеи, высокие башни с огненными крыльями, краски, доминирующие на разных уровнях, перевал, не совсем сознательный разговор с птицей, я ем снег — все эти картинки вспыхивали вместе и отдельно, как бывает во сне; это было воспоминанием и забвением того, над чем я не решался задумываться, ведь все время я пытался найти в себе согласие с тем, с чем не мог согласиться. Но это было раньше именно, как во сне. Теперь я, разумный и чуткий, ожидал наступления дня, воздух был серебрист от серого рассвета, я вглядывался, как медленно проступают из ночи суровые стены гор, ущелья, осыпи, словно молчаливо подтверждая реальность моего возвращения; впервые я чувствовал себя не чужим на Земле, подданный ее и ее законам и мог — без бунта и печали — думать об улетающих за золотым руном звездах...

Снежная вершина зажглась золотом и белизной, она, мощная и вечная, возвышалась над долиной, залитой лиловым светом, а я с глазами, полными слез, преломляющих цвета вершины, медленно поднялся и стал спускаться по осыпи на юг, туда, где был мой дом.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД

**Технический редактор А. Генералова
Корректор В. Ахметьева**

Сдано в набор 17.10.91. Подписано в печать 10.12.91. Формат 70×100/32.
Бумага тип. № 2. Гарнитура "Сенчури". Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,32.
Уч.-изд. л. 11,25. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1184.

Издательство ДО "Глаголь", 117418, Москва, ул. Цюрупы, 10.

Малое инновационное предприятие по оказанию полиграфических услуг
"ИН-ФОЛИО", 107005, Москва, Денисовский пер., 30.

Отпечатано с оригинал-макета на Можайском полиграфическом комбинате
Министерства печати и массовой информации Российской Федерации.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

***Московский городской клуб «Компьютер» —
ровесник Перестройки***

**Благодаря возрожденной российской традиции меценатства
клуб ежегодно принимает в свои ряды несколько сот
ребятишек**

**Среди основателей и попечителей клуба Гарри Каспаров
и академик А. Г. Аганбегян, Академия наук СССР
и Академия народного хозяйства**

**От самого основания помогает клубу и «заграница»
Так, совсем недавно, в мае 1991 года
одна из известнейших
фирм Америки — НСР — подарила
клубу 5 современных
профессиональных компьютеров**

***В клуб принимаются все дети.
Ведут же бесплатно
занятия — лучшие
программисты — сотрудники СП
«ПараГраф»***

Уважаемые господа!

Малое инновационное предприятие «ИН-ФОЛИО» оказывает широкий спектр полиграфических услуг предприятиям, организациям и частным лицам.

Мы будем рады, если Вы решите разместить заказы на подготовку оригинал-макетов Ваших изданий, изготовление красочных рекламных проспектов Вашей продукции, ярлыков, этикеток, бланков и другой акцидентной продукции, а также Ваших визитных карточек.

Мы надеемся, что минимальные сроки выполнения заказа и высокое качество нашей продукции не позволит Вам усомниться в правильности выбора партнера.

Оплата в свободно конвертируемой валюте и в рублях.

***Наш адрес: 107005, Москва,
Денисовский пер., 30
Тел. 265-37-79***

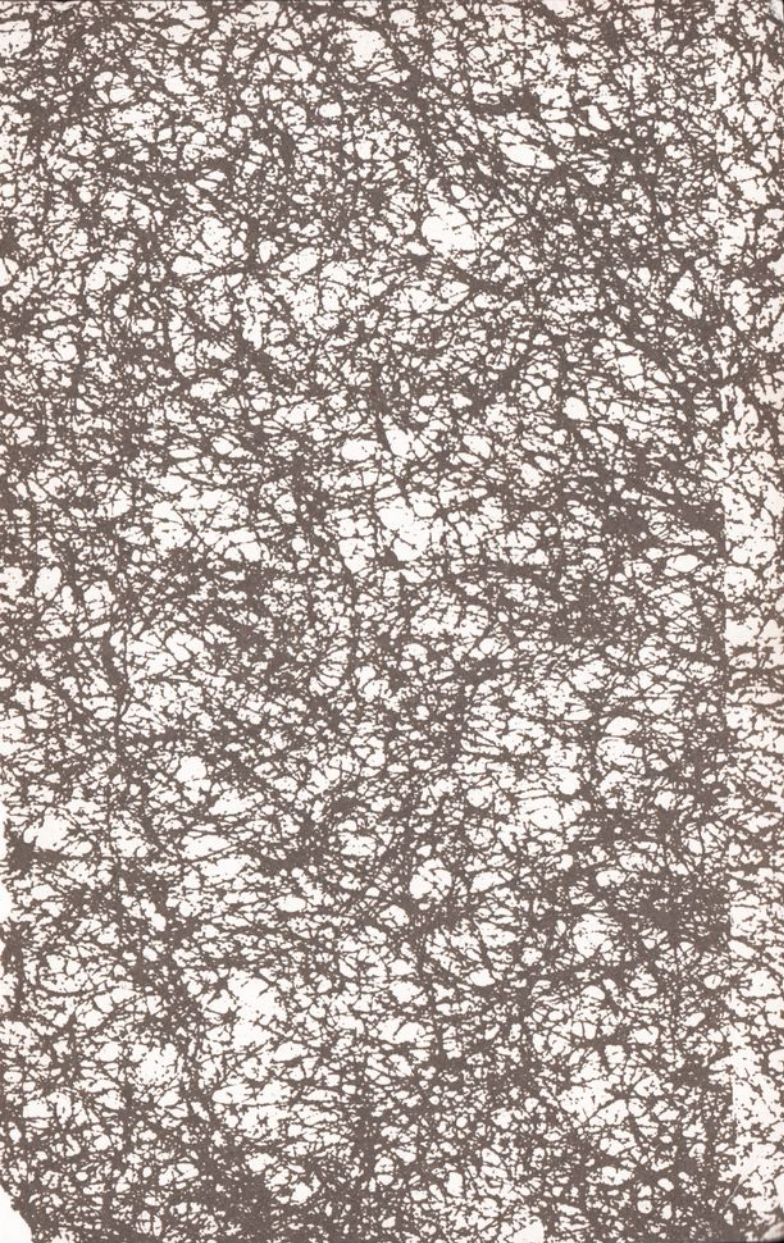
*Вы уже не верите в чудеса?
Мы докажем, что они существуют.
Вы уже не верите в свои способности?
Мы докажем, что
они у вас есть.*

**Фирма Московского педагогического
университета "ГЛОССА LTD" поможет
вам.**

**Всего два месяца — и вы свободно
говорите на любую тему на английском,
немецком и французском языках.
К вашим услугам специальный Бизнес-
курс, апробированный зарубежом.**

*Вы хотите учиться или работать в
США и Канаде?
К вашим услугам справочный и
методический материал по TOEFL, GRE.*

*Наш адрес: Москва, 107082, 1-й
Переведеновский пер., 5/7. Тел. 304-41-19,
142-71-92.*



Станислав
ЛЕМ



ВОЗВРАЩЕНИЕ СО ЗВЕЗД

Описание сводилось к следующему:
в раннем детстве, с помощью ферментов,
воздействовали на лобные доли... и человек не
убивал просто потому, что это „не могло прийти
ему в голову”...

Я отложил книгу со смешанным чувством...
Ликвидировали ад страстей, а оказалось, что
и небо перестало существовать.
Все теперь чуть тепленькое...

